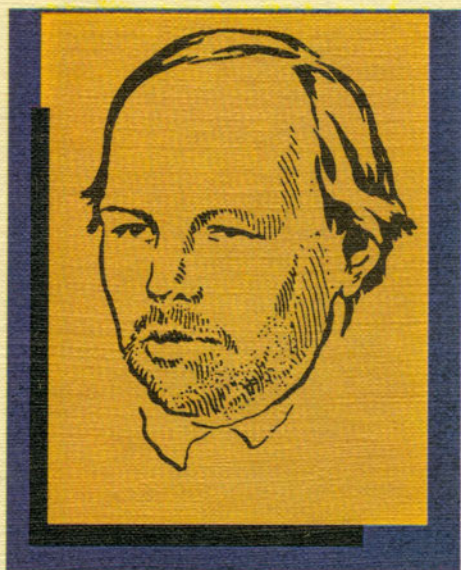


Oscar von Schoultz



Оскар фон Шульц

СВЕТЛЫЙ,
ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ
ДОСТОЕВСКИЙ

Oskar von Schoultz
(1872–1997)



Оскар фон Шульц
(1930-е годы)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Оскар фон Шульц

СВЕТЛЫЙ,
ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ
ДОСТОЕВСКИЙ

Петрозаводск
Издательство Петрозаводского университета
1999

ББК 83.3 (2=Рус) 5-8
Ш 959

Курс лекций лектора Хельсинкского университета Оскара фон Шульца (1872–1947), прочитанный им в 1931–1932 гг., является оригинальной и адекватной концепцией творчества великого русского писателя, имеющей актуальное современное значение.

Предназначается для преподавателей высших учебных заведений, студентов, учителей, школьников, всех любителей творчества Достоевского.

Ответственный редактор
В. Н. Захаров

*Печатается по решению
редакционно-издательского совета
Петрозаводского государственного университета*

Подготовка текста:
О. И. Гурина, О. В. Захарова, А. Е. Кунильский
Сверка цитат: *Г. В. Борисова*
Комментарии:
В. Н. Захаров, А. Е. Кунильский

В оформлении обложки использован
графический портрет «Достоевский в молодые годы»,
выполненный предположительно самим О. фон Шульцем
для демонстрации на заключительной лекции

Ш 4603020101
Д26(03) - 99 159 - 99
ISBN 5-8021-0051-6

© О. фон Шульц, 1999
© Н. В. Башмакова, статья, 1999
© В. Н. Захаров, статья,
комментарии, 1999
© А. Е. Кунильский, статья,
комментарии, 1999
© Издательство Петрозаводского
университета, 1999

ПАСХАЛЬНЫЙ ДОСТОЕВСКИЙ

В каждом открытии есть своя неизбежность: все, что достойно, остается в памяти людей.

К марту 1997 года, накануне пятидесятой годовщины со дня смерти исследователя, об О. фон Шульце забыли коллеги, не помнили дальние родственники, не осталось потомков, умерли ученики, но неизбежное случилось. Именно в это время на мой вопрос, нет ли в библиотеке Хельсинкского университета рукописи работы О. фон Шульца «Ein Dostojewskij-Fund» или других его работ по атрибуции Достоевского, сотрудники Славянской библиотеки, дав отрицательный ответ, выкатили на тележке восемь объемных папок его лекций по русской литературе. Увлеченно, в поисках аргументации ученого, я просматривал эти папки, но вместо одного нашел другое. Уже беглое знакомство с их содержанием не оставляло сомнений: лекции писал глубокий и оригинальный знаток русской литературы, у которого и сегодня есть чему поучиться.

Исследователям творчества Достоевского Оскар фон Шульц известен своей публикацией «Ein Dostojewskij-Fund»¹, в которой он рассматривал проблему атрибуции анонимных статей в журналах «Время» и «Эпоха», назвав Достоевского автором семи статей и высказав предположение о принадлежности Достоевскому девяти статей. С его мнением считались редакторы всех научных собраний сочинений Достоевского, но высказывались и претензии, вызванные рядом ошибок. Так, среди приписанных писателю статей одна безусловно принадлежала Страхову, некоторые атрибуции были дискуссионны, упрекали Оскара фон Шульца и за

¹ *Oskar von Schoultz. Ein Dostojewskij-Fund. Helsingfors, 1924.*

SOCIETAS SCIENTIARUM FENNICA.
COMMENTATIONES HUMANARUM LITTERARUM I. 4.

*Kanslern
Prof. emer. Anders Severin Donner
mit utmärkt högaaktning
från förf.*

EIN DOSTOJEWSKIJ-FUND

VON

OSKAR VON SCHOULTZ

(Am 19. November 1923 durch J. J. Mikkola und G. Castrén mitgeteilt.)

HELSINGFORS 1924
HELSINGFORS CENTRALTRYCKERI

Титульный лист книги О. фон Шульца с автографом
(дар Петрозаводскому университету Н. В. Башмаковой)

недостаточность аргументации. И в самом деле, исследователь подробно аргументировал принадлежность Достоевскому лишь статьи «Выставка в Академии Художеств за 1860–61 г.», привел некоторые соображения по поводу других, остальные дал списком. Скорее всего отсутствие аргументации вызвано условиями публикации: даже в этом виде его работа занимала почти весь объем сборника трудов Финляндской Академии наук. У исследователя не было недостатка в аргументах, но они остались на полях журналов «Время» и «Эпоха».

Не на эти, но другие и чьи-то в высшей степени квалифицированные маргиналии в некоторых книгах Славянской библиотеки я обратил внимание в конце семидесятых годов — кто-то неведомый трудился над изучением критической литературы о Достоевском, и его пометы свидетельствовали о высокой культуре работы с книгой и вызывали уважение к неизвестному коллеге. Жалею, что тогда не взял в руки журналы братьев Достоевских! Двадцать лет спустя журнальные маргиналии стали подлинным откровением для меня — там было уже иное качество помет: в них была своя система отсылок, логичная и лаконичная система доказательств. И чтобы не было сомнений, кому эти маргиналии принадлежат, для тех, кто не догадается, Оскар фон Шульц несколько раз оставил свои инициалы под маргиналиями: *“О. Ш.”*

Так интерес к давней работе по атрибуции Достоевского привел к открытию самого Оскара фон Шульца.

Он родился в Хельсинки 25 октября 1872 г. в семье генерал-майора Карла Лоренца Адалберга фон Шульца. По семейной традиции он был определен на военную службу. В 1883 году поступил в Киевский кадетский корпус, в котором состоял до 1889 года, а заканчивал кадетское учение уже в Петербурге.

Кстати, курсом младше в Киевском кадетском корпусе учился будущий философ Н. Бердяев (1884–1894), который сразу после окончания корпуса поступил в Киевский университет на естественный факультет, затем перешел на юридический, связался с марксистами, участвовал в студенческих волнениях, в 1897 году был исключен из числа студентов и отправлен в ссылку в Вологду. (О. фон Шульц высоко ценил труды Бердяева — вот характерный отзыв в лекции от 31 января 1928 года: «...книга Бердяева должна быть названа “Апология того понимания христианства, которое вновь воскрешено к жизни Достоевским”».)

В отличие от него, Оскар фон Шульц получил систематическое военное образование в Павловском юнкерском училище (1890–1892) и филологическое в Киевском университете (1896–1898). Одно образование было необходимо для военной карьеры, второе — для души, что и привело в конце концов к тому, что, женившись в Хельсинки на дочери известного университетского профессора физиолога Р. А. А. Тигерштедта, он предпочел карьере военного инженера службу переводчика и преподавателя, вышел в отставку и почти тридцать пять прослужил в скромном звании лектора русского языка в Хельсинкском университете.

Это был человек высоких принципов и поступков. Когда началась первая мировая война и его призвали в армию, он из христианских убеждений отказался от оружия и несколько лет провел в заточении в петербургских Крестах. Как и Достоевский, он вспоминал об этом уроке жизни с благодарностью, причисляя себя к известным русским страдальцам — «несчастливым». Об этом он говорил в своем введении в курс лекций «Учителя Достоевского: Пушкин, Лермонтов, Гоголь» (заглавие введения знаменательно «Русский Христос»²).

² Шульц О., фон. Русский Христос // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков. Петрозаводск, 1998. С. 31–41.

Когда в 1919 году по политическим причинам закрыли кафедру русского языка, на нем 25 лет держалось обучение русскому языку и литературе в сложный период истории Финляндии, и это был уровень преподавания, достойный русской культуры. Лучшее и бесспорное свидетельство — университетские лекции ученого.

В разгар второй мировой войны весной 1941 года отставной лектор русского языка обратился к своим слушателям с докладом «Гитлер и Христос Достоевского», в котором все сказано уже самим противопоставлением в названии темы. Помню, как дрогнуло мое сердце, когда в раскрытой тетрадке я прочитал название доклада (как много русских эмигрантов ошиблось в то время, приняв желанное за сущее!): «Неужели и он?» Нет, и в этом случае гражданская честность и христианские убеждения ученого безупречны. Мы публикуем в нашей книге эту, вероятно, последнюю лекцию университетского преподавателя, которая больше, чем лекция, — это *поступок*.

Жизнь О. фон Шульца насыщена яркими духовными переживаниями, они отразились в еженедельных лекциях о русской литературе, которые он читал с 1926 по 1939 годы: семь лет — о Достоевском, четыре года — об «учителях Достоевского» Пушкине, Лермонтове, Гоголе, в остальное время о его современниках — Н. Лескове, Л. Толстом, Ф. Тютчеве, Н. Некрасове, В. Соловьеве, Н. Федорове и А. Чехове.

Каждую неделю он готовился к лекции и представлял перед аудиторией. Лекция была главным жанром жизни и учительства исследователя. Она была его духовным призванием и служением русской литературе. Он явно был лишен возможности печатать свои исследования о Достоевском на русском языке — все, что Оскар фон Шульц думал о романах русского гения, он говорил в лекциях. То, что он говорил о рус-

ской литературе по-русски, он излагал потом на шведском языке, писал статьи в газетах и журналах, но главное было сказано в русских лекциях ученого.

К своей работе Оскар фон Шульц относился тщательно и профессионально. По старой академической традиции он писал и читал лекции, размечая акценты и интонацию своих записей. Он декламировал написанное. Благодаря этой традиции, у нас есть возможность опубликовать его лекции как свидетельство незаурядных возможностей старого жанра.

В октябре 1926 года он начал чтение лекций по русской литературе циклом о романе «Идиот», затем в течение четырех лет, не повторяя ни одной лекции, прочитал девяносто лекций о романе «Братья Карамазовы» и наконец обобщил свои занятия годовым курсом лекций «Светлый, жизнерадостный Достоевский», который мы и публикуем.

От последнего романа к предыстории литературного дебюта — таков путь его познания наследия великого русского писателя. Впрочем, уже в первой работе Оскара фон Шульца «Ein Dostojewskij-Fund» есть понимание Достоевского как светлого христианского гения. Вот как это звучит на немецком языке: «Die Sache ist die, dass man, je tiefer man in Dostojewskijs Werke eindringt, umsomehr bemerkt, wie *das Schwere, Düstere, Quälerische*, ja bisweilen *pathologisch Krankhafte*, das sie zu kennzeichnen scheint, nur an der Oberfläche seines Geisteslebens haftet und dass der innerste Gehalt seiner Schöpfungen eine Freuden- und Heilsbotschaft war» («Суть дела в том, что, чем глубже проникаешь в произведения Достоевского, тем яснее сознаешь: *тяжелое, мрачное, мучительное*, и даже порой *патологически болезненное*, что ему якобы присуще, лежит только на поверхности его духовной жизни, а внутренним содержанием его творений была Радостная и Благая Весть». — Перевод В. В. Дудкина).

но многие из них 16.
~~уже~~ многие слышат
 и многие эти уже
 многие видят
 и мечтающие по
 доброго мира подполки
любви и надежды
 развивающиеся все шире
 и глубже
~~разные~~ захватывают
 все "навы" ^{подласть}
 и все новых людей ~~и старых~~
 Таковы органические
 ни перед чем не останавливаются
 массы силы развивающиеся
 с добрым миром
~~и~~ смирением любви
 и надежды,
 (И) поруганные, втянутые и растоптанные
 Христос с учениками
 и апостол Его
 Д-и
 не спешат ни на что
 подпадают и стремятся
 к "Excelsior"
 всё выше и выше
 всё ближе к ~~небесам~~ ^{Боготворению}
 Ибо, Иисус, ~~принимает~~ ^{многие}

Вопреки расхожим мнениям и социальным предрассудкам Оскар фон Шульц отверг и доказательно опроверг многие мифы и общие места в критической литературе о Достоевском — и прежде всего главный из них: миф о его якобы «жестоком таланте», который объединил в извращенном непонимании писателя Н. Михайловского, М. Горького («злой гений»), Б. Бурсова («опасный гений»). Таким предстал Достоевский в атеистическом, нехристианском и антихристианском понимании.

С другой, с христианской точки зрения тот же «страшный» и «жестокий» мир предстает *светлым* и *жизнерадостным*. Это мир, в котором был Искупитель; этот мир ждет Спасителя. Это мир подлинного Достоевского, «горнило сомнений» которого разрешилось «осанной», для которого *Христос*, а не кто-либо другой *был мерой всех вещей*.

Об этом Достоевском писали В. Соловьев, С. Булгаков, Н. Бердяев, другие изгнанные из России поэты и философы.

О. фон Шульц дал критическое обоснование своего понимания Достоевского как христианского писателя.

Он назвал Достоевского апостолом Христа и в этом совпал с поздним суждением сербского Святого Преподобного Иустина: «Достоевский — апостол, ибо он — всечеловек. В новейшее время никто так, как он, не свидетельствовал о Богочеловеке Христе. В течение веков не было человека, который с такой силой исповедовал, что Богочеловек есть все и вся для человека во всех мирах. Трагедия человека окончательна и безнадежна. Если его не возродит и не преобразит Богочеловек. Достоевский — апостол в своей безграничной вере во Христа, в своем евангельском сострадании к людям, в своей всечеловеческой любви ко всей твари Божьей. Разве не апостол тот, кто, ведомый божественным вдохновением, опаленный божественным

пламенем, просвещенный божественным светом, вдохновлял, опалял и просвещал людские сердца Христовым светом. Да, да, без сомнения, он — апостол, ибо все ценности неба и земли он сводил ко Христу и выводил из Христа. Притом настолько, что предпочитал Христа Истине, если бы ему даже с математической точностью доказали, что Истина вне Христа! Он — апостол, ибо как-то незаметно, чудотворным образом вселяет чудесного Христа в наши души, делает его современным нам, близким, родным»³.

Оригинальное и глубокое понимание Достоевского легло в основание общей концепции русской литературы в лекциях Оскара фон Шульца. Сегодня некоторые суждения ученого могут показаться повторением достигнутого современным литературоведением (так, уже состоялась переоценка литературной репутации Лескова, наконец отказались от противопоставления «раннего» и «позднего» Гоголя, внимательно отнеслись к религиозным настроениям Чехова), но следует помнить, что когда-то и значительно раньше это утверждал О. фон Шульц: он писал о Лескове как значительном художественном явлении в русской литературе, говорил о том, что нет двух Гоголей — Гоголь един в своем творческом и духовном развитии, и т. д.

И все же его концепция русской литературы имеет и неповторимую и недостигнутую современным литературоведением черту. Оригинальность историко-литературной концепции О. фон Шульца определяется сквозной темой его лекций о Пушкине, Гоголе, Лермонтове, Достоевском, Лескове, Чехове, которую сам лектор вслед за Достоевским назвал «Русским Христом». Он увидел и раскрыл присутствие и явление в русской литературе Того, Кто «исходил, благословляя», бедную и беспутную в двадцатом веке Россию.

³ *Иустин (Попович)*. Достоевский о Европе и славянстве. СПб., 1998. С. 258.

Его забыли. Его трудов нет в библиографиях по русской литературе и о Достоевском на русском языке. Его имя отсутствует в различных биографических словарях и справочниках. Вероятно, только мы в октябре 1997 года отметили юбилей ученого и педагога — 125 лет со дня его рождения: накануне 25 октября прошло торжественное заседание кафедры русской литературы Петрозаводского государственного университета, на котором с докладами об О. фон Шульце выступили те, кто уже читал его рукописи в Славянской библиотеке Хельсинкского университета. В его лице мы обрели предшественника и соратника в разработке христианских традиций в русской литературе. Так, объявив тему «Русский Христос» в программе наших двух предыдущих конференций «Евангельский текст в русской литературе» 1993 и 1996 гг., мы дождались статью на эту тему не от современных критиков, а от О. фон Шульца, и это была первая посмертная публикация ученого. Мы намерены продолжить издание его педагогических и научных трудов.

Теперь у нас всех есть повод вспомнить и запомнить это имя: его опровержение критических мифов о Достоевском и его концепция «светлого, жизнерадостного Достоевского» займут достойное место в научной критике, как и его представление русской литературы как выражение идеи «русского Христа».

Истинное слово, как Евангельское Зерно, если умрет — то воскреснет.

В. Захаров

СВЕТЛЫЙ, ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ ДОСТОЕВСКИЙ

1-я лекция, 29 сентября 1931 года

Уже много раз на моих лекциях мне приходилось сравнивать время после Наполеоновских войн, 20-е, 30-е, 40-е годы прошлого столетия, с переживаемым теперь временем. Экономический кризис в 20-х и 30-х годах XIX века повел к краху целого ряда банкирских контор, тяжелой безработице, падению мировой торговли, понижению цен и к искусственным приемам поднятия их, вызвал июльскую революцию 1830 года и в самом конце этого периода февральскую 1848 года.

На наших глазах подобный же и еще худший экономический кризис развивается все дальше и дальше и в наше время ведет в общем к тем же последствиям, как 100 лет тому назад.

Банковые крахи в больших странах вам известны. Известны вам также крахи в Финляндии, но не все может быть знают, что происходит за границей в малых странах. Как пример приведу Норвегию, где государство приняло на себя администрацию *всех* частных банков, так как они *все* разорились. Мировая торговля везде сильно пала. Даже в самых больших странах, как Соединенные Штаты Северной Америки и Великобритания, и ввоз и вывоз за полугодие январь – июль текущего года уменьшились приблизительно на 30%.

Знаменитый Фурье стал социалистом, когда хозяин той торговой фирмы, в которой он служил, приказал ему потопить огромный груз рису, чтобы поднять цену на этот товар. Теперь с той же целью — искусственного поднятия цен — потоплены огромные грузы кофе и маиса, и поговаривают о необходимости сжечь

большие запасы пшеницы и хлопка, чтобы поднять мировые цены на них.

Безработица все растет. В Соединенных Штатах число безработных уже достигает 10.000.000, причем даже миллиардер Форд принужден был отпустить 100.000 из своих рабочих. В Германии число безработных достигает 7 миллионов, в Англии 3 миллионов, у нас в Финляндии оно поднялось до 50.000, причем одна только компания «Машин и Бру» принуждена была уменьшить число рабочих от 1800 до 500.

Отказ Великобритании и всех стран Скандинавии от золотой валюты только один из более заметных признаков все растущего кризиса, который, судя по всем признакам, на днях заставит и Финляндию последовать их примеру. Таким же признаком является всем вам известный советский демпинг. В иное время он был бы совершенно невозможен.

В то же время всюду обостряются отношения между отдельными людьми, классами и народами.

В Советской России антирелигиозные преследования порою напоминают о преследовании язычниками первых христиан. В Италии, Испании, Германии религиозная атмосфера обострилась. Ненависть большевиков и коммунистов к так называемым «буржуям» все растет. С другой стороны, растет и ненависть буржуев к большевикам, и у нас в Финляндии она все больше переходит и на социал-демократов, а с них перейдет на так называемые левые элементы в буржуйных партиях.

В этой междуклассовой ненависти заветы Христа все более забываются и «око за око, зуб за зуб» все больше становится лозунгом дня.

Международное положение непрочно, несмотря на то, что глубокие массы народов жаждут мира.

В общем настроение везде тяжелое, и будущее вызывает серьезные опасения, вплоть до возможности новых революций и, может быть, даже войн.

В такие времена более обыкновенного хочется отдохнуть душою по крайней мере здесь, в аудитории, хочется убедиться, что высшие духовные ценности сохранили еще всю свою силу, что лучшие заветы величайших людей мира еще не забыты, что любовь между людьми все больше завоевывает себе места, хотя по обыкновению это на поверхности жизни мало заметно; хочется почерпнуть новые силы, чтобы легче вынести все невзгоды окружающей нас повседневной жизни, легче сохранить «душу живу» среди мрачных перспектив ожидающего нас будущего.

Для этой-то цели я в своих лекциях о Достоевском избрал в нынешнем году подзаголовком их «Светлый, жизнерадостный Достоевский» и решил сосредоточиться главным образом на этой стороне его жизни и деятельности.

Но здесь сейчас же возникает вопрос, имеем ли мы право говорить о жизнерадостном, светлом Достоевском. Слова эти в применении к Достоевскому кажутся в высшей степени парадоксальными.

Ведь, по так называемому «общему» мнению, ни один из мировых писателей не был таким мрачным, жизнь отрицающим писателем, как именно Достоевский. «Он постоянно лишь мучает себя и своих читателей, он изображает такие тяжелые стороны жизни, такие жестокие душевные страдания, что после чтения его произведений остается самое *тягостное*, самое *безотрадное* настроение; кто устал и утомлен, тому никогда не советую браться за Достоевского: читая его, никогда не отдыхаешь душою, как делаешь это, читая, например, рождественские рассказы или анекдоты Лескова или народные рассказы Льва Толстого. Нет более пессимистически настроенного писателя в мире. Главные лица его произведений или психически расстроенные люди, или преступники, или просто больные, страдающие чем-нибудь и от чего-нибудь

люди». Вот что обыкновенно приходится слышать уже при первом разговоре о Достоевском.

Справедливы ли такие суждения и взгляды?

До некоторой степени да!

Достоевский дает нам глубоко реальное, жизненное изображение души человека девятнадцатого века и показывает нам эту душу до яркости выпукло в мельчайших ее деталях, как бы в увеличительное стекло, под микроскопом. При этом он, один из первых в мире писателей, показывает нам не только то, что видно на поверхности души, то, что заметно уже на первый беглый взгляд, но и то, что скрывается глубоко в так называемом подсознательном, то есть то, что способен обнаружить лишь подробный психоанализ врачей-специалистов последователей Фрейда при изучении сновидений и иных несознательных проявлений души.

В результате пред нами раскрываются скрытые в обыкновенные времена бездны падений и мучительных душевных страданий, какие мы видим, например, у Кириллова и Ставрогина «Бесов», Ивана и Дмитрия Карамазовых, Свидригайлова и Раскольникова «Преступления и наказания», Версилова и Долгорукова «Подростка», Катерины и Ордынова «Хозяйки», Ипполита «Идиота» и главного героя «Вечного мужа», чтобы только назвать более яркие личности, припоминаемые при беглом обзоре произведений Достоевского.

Но если такой микроскопический психоанализ раскрывает пред нами бездны зла и страданий, то он с другой стороны открывает нам и бездны добра и радости, хотя бы в душах Алеши Карамазова, князя Мышкина, Макара Деушкина, старца Зосимы и того же Дмитрия Карамазова, совмещающего в одной душе две бездны.

И всего замечательнее то, что чем глубже вдумываешься и вникаешь в самую суть произведений Досто-

евского, тем все больше и больше открываешь в нем положительных сторон, проявлений глубокой человеческой любви, сострадания, милосердия, самоотвержения и «светлой», «тихой» радости и мира даже там, где раньше замечал лишь страдание, муки, горе и зло.

И чем больше подобным образом знакомишься с Достоевским, тем яснее перед нами встает образ именно светлого, жизнь благословляющего, жизнерадостного Достоевского, и все яснее понимаешь тогда всю ошибочность обыкновенного, столь широко распространенного, почти общего взгляда на Достоевского.

Чем же объяснить возникновение и повсеместное распространение обыкновенного мрачного представления о Достоевском и его произведениях?

С одной стороны, конечно, тем, что микроскопический детальный, проникающий в глубочайшие слои подсознательного психоанализ Достоевского для неподготовленной читающей публики был так же неожидан и ошеломляющ, как для людей науки был психоанализ Фрейда. Те бездны почти сатанинской злобы и злорачества, которые ранее, например, в произведениях Гофмана, казались чем-то слишком исключительным, невероятным, из ряда вон выходящим, при глубоко жизненном реалистическом анализе Достоевского впервые предстали во всей своей ужасной правде, как что-то общечеловеческое, большинству людей свойственное, что-то такое, что при исключительных обстоятельствах может из глубины души вырваться наружу, проявиться, как оно проявилось в бессмысленном уничтожении крестьянами помещичьих усадеб или в вопиющих мучительствах Чека и ГПУ в России и в ряде более или менее возмутительных преступлений в Западной Европе.

Человечество ужаснулось, увидев себя впервые в таком ярком безотрадном зеркале, и, ошеломленное

этим ужасом, не заметило всего хорошего, положительного и радостного, что Достоевский обнаружил ему наряду с этим ужасом.

Если, таким образом, представление о Достоевском как о мрачном, жизнь отрицающем мучителе, с одной стороны, объясняется ошеломляющей жизненной силой его реального психоанализа, то, с другой стороны, мрачное представление о писателе сознательно усилено и преувеличено политическими врагами Достоевского.

Человек, к сожалению, почти никогда не бывает вполне объективен и беспристрастен! Раз дело касается его самого, его семьи, его сословия, его народа, его политических взглядов и религиозных верований, он почти всегда, чаще всего незаметно для самого себя является в том или ином отношении сильно пристрастным.

Такая пристрастность, такое отсутствие необходимого объективизма проявляется во всем и везде, даже в такой сравнительно совершенно безразличной науке, как семасиология, то есть о первоначальном значении или возникновении слов.

Известен в этом отношении анекдот о Ломоносове, этом талантливом поэте и многостороннем ученом XVIII века. Почти единственный русский среди академиков-немцев в Петербургской Академии Наук, он неоднократно подвергался более или менее открытым шпилькам и нападкам товарищей академиков, нередко старавшихся унизить не только его лично, но и его народ и все славянское племя, к которому народ его принадлежал. Добродушный в общем Ломоносов однажды не выдержал, вышел из себя и воскликнул: «Если вы утверждаете, что наш *князь* и болгарский и сербский *кнѣз* происходит из вашего немецкого Knecht, то я на таком же основании утверждаю, что ваш *konung* происходит из нашего *конюх*».

И подобное желание унижить чужой народ и чужое племя, которое в ломоносовское время проявили немцы-академики Петербургской Академии Наук, проявляется до наших дней в самых, казалось бы, научно-беспристрастных этимологических словарях и других научных трудах.

Тем более пристрастны представители разных политических партий, и это пристрастие по отношению к Достоевскому проявлялось очень и очень часто.

Вызывалось оно отчасти самим Достоевским. Максималист во всем, даже в языке, кишащем уменьшительными и увеличительными формами, усиливавшими все оттенки его мыслей, он в особенности был максималистом в тех случаях, когда при нем позволяли себе нападать на то, что было самым дорогим для него: Христа и Россию. Конечно, он тогда нападал не на лицо, позволявшее себе подобное выступление, но на явление, и сам это неоднократно подчеркивал, например, в письме к Страхову из Дрездена от 18/30 мая 1871 года, где прямо говорит: «Я обругал Белинского более как явление русской жизни, нежели лицо»¹⁾. Но, обличая Белинского как *явление* русской жизни за то, что Белинский перед ним самым подлым образом («по-матерну»²⁾) ругал Христа, Достоевский позволял себе об этом величайшем русском критике, имевшем огромные заслуги перед Россией, употреблять такие выражения, как: «Это было самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни... Он был доволен собой в высшей степени, и это была уже личная, смрадная, позорная тупость»³⁾.

Точно так же, в высшей степени негодуя на тех, кто, по его мнению, оторвался от России, не знал ее народа и его верований и как «скиталец» (чужой,

¹⁾ Достоевский Ф. М. Письма. М.; Л., 1930. Т. II. С. 364.

²⁾ *Иб.*

³⁾ *Иб.*

посторонний) говорил и писал о ней, Достоевский, чтобы ярче выразить свою мысль, выводил представителями скитальчества Грановского и Тургенева и выставлял их в «Бесах», как в самом беспощадном злом памфлете.

Негодую на революционеров за то, что они всем своим поведением и учением губили, по его мнению, Россию и должны были довести ее до большевизма, он и их выставил в самом непривлекательном виде в «Записках из подполья», «Легенде о Великом Инквизиторе» в «Братьях Карамазовых» и особенно в Шигалеве, Петре Верховенском и других лицах «Бесов».

Кумира русской революционной молодежи Чернышевского он чрезвычайно зло осмеял, говоря о хрустальном дворце в «Записках из подполья» и, как утверждали друзья Чернышевского, хотя Достоевский это сам и отрицает, в шуточном рассказе «Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже»⁴⁾.

Враги Достоевского отвечали ему тем же. Но в то время как Достоевский старался все время иметь в виду лишь отрицаемые им *явления* русской жизни, враги его главное внимание обращали на *личность* самого Достоевского, стараясь выставить его в самом смешном, позорном и, во всяком случае, пристрастно неверном виде.

Такие нападки на Достоевского начались очень рано. Достоевскому едва исполнилось 25 лет, когда Тургенев и Некрасов в 40-х годах написали о нем шуточные стихи «Рыцарь горестной фигуры», распеваемые потом чуть ли не всем Петербургом, а Некрасов написал о нем шуточный роман «Каменное сердце». Возвратившись из каторги и ссылки, он в 60-х годах подвергался неоднократным насмешкам и нападкам своих политических врагов из «Современника» и чрез-

⁴⁾ См. об этом в № 3 «Гражданина» за 1873 г.

вычайно пристрастным нападкам их же в критических статьях о его больших романах.

Одно время враждебная ему критика пыталась его замолчать, но слава его росла все более, число его читателей увеличивалось с каждым днем, значение его в литературе становилось все влиятельнее, и политические его враги поняли, что замолчать его невозможно и что, наоборот, нужно сильно с ним бороться, чтобы подорвать его сильное влияние на молодежь, начавшую было под влиянием Достоевского терять интерес к конституции, революции и готовившим переворот политическим партиям.

Одно из наиболее влиятельных в партии переворота лиц и, бесспорно, наиболее влиятельный в то время русский критик Николай Константинович Михайловский решил, может быть и сам не вполне это сознавая, раз навсегда прекратить влияние Достоевского на молодежь, так сказать, убить его литературное и политическое значение и с этой целью написал о нем в ряде статей самую убедительную критику.

Не прошло и месяца со дня смерти Достоевского, и в № 2 «Отечественных записок» появилась первая статья Михайловского «Записки современника». Приведу вам несколько выдержек из этой статьи для того, чтобы показать, в каком тоне была написана эта критика о Достоевском, признаваемом теперь во всем мире одним из величайших писателей, мыслителей и художников слова.

Михайловский начинает словами молодого талантливого критика своего политического направления Добролюбова, писавшего в 1861 году, что у Достоевского «слабое», но все же «здорово направленное» художественное чутье.

Но, продолжает Михайловский, «...для своего времени [то есть 60-х годов] этот приговор был верен или почти верен. Но Достоевский продолжал писать и

писать. При этом общая манера его писания осталась та же самая: та же беспричинная неровность изложения; те же нехудожественные длинноты и урезки; та же невероподобность действующих лиц, которые все, даже самые глупые, необыкновенно проницательны, все говорят одним и тем же языком и притом языком автора...» (Последними словами Михайловский повторяет сказанные 35 лет ранее совершенно ошибочные слова Белинского⁵⁾.) «Всякий [пишет Михайловский], принимаясь за новое произведение Достоевского, знал, что найдет там много недоделанного, переделанного и невероподобного <...> [Достоевский в этом смысле остался] самым слабым из наших крупных художников <...> художественное чутье <...> [его] <...> было <...> вместе с тем, чрезвычайно неровно и условно: оно покидало его сплошь и рядом на десятки, на целые сотни страниц, чтобы потом вдруг блеснуть драгоценным перлом и опять исчезнуть <...> [Господствовавшая у него ранее, по словам Добролюбова] <...> боль об униженном стала осложняться [с течением времени] чувством совершенно противоположным, каким-то жестоким чувством почти радости, что человек унижен <...> В его таланте была какая-то жестокая, мучительная складка, которая, разумеется, ему самому дорого стоила, но которая тем не менее побуждала его с наслаждением растягивать утонченнейшие описания мучений и страданий, растягивать до нехудожественной длинноты и часто совсем без нужды <...> скудно и односторонне было в Достоевском понимание народной души».

Через полтора года Михайловский посвящает Достоевскому новую статью, которую так и озаглавливает «Жестокий талант». Здесь он еще усиливает свои обвинения против Достоевского, говоря в самом на-

⁵⁾ Критический комментарий к сочинениям Ф. М. Достоевского / Собр. В. Зелинский. М., 1907. Ч. 1. С. 401.

чале статьи, что «жестокость и мучительство всегда занимали Достоевского и именно со стороны их привлекательности, со стороны как бы заключающегося в мучительстве сладострастия».

Последними словами Михайловский прямо превращает мирового гения в какого-то маркиза де Сада (de Sade), этого известного французского порнографического писателя, страдавшего половым сумасшествием и соединявшего в своей жизни и произведениях самую грубую чувственность с утонченною жестокостью. И Михайловский старается найти в произведениях Достоевского «образчики того <...> интереса, которые он вкладывал в свои изображения *мучительских* поступков и жестоких чувств».

«Никто [говорит Михайловский] в русской литературе не анализировал ощущений волка, пожирающего овцу, с такою тщательностью, глубиною, с такою, можно сказать, любовью, как Достоевский <...> он рылся в самой глубокой глубине волчьей души, разыскивая там вещи тонкие, сложные [как] <...> сладострастие злобы и жестокости <...> он просто любил травить овцу волком...»

Второй и третий тома сочинений Достоевского — «целый тщательно содержимый зверинец, целый питомник волков разнообразных пород <...> [причем Достоевский] нарочно дразнит своих зверей, показывает им овцу, кусок кровавого мяса, бьет их хлыстом и каленым железом, чтобы посмотреть на ту или другую подробность их злобы и жестокости — самому посмотреть и, разумеется, публике показать. <...>

[Например, герой “Записок из подполья”] выматывает из себя перед читателем душу, стараясь дорыться до самого ее дна и показать это дно во всей его грязи и гадости. Разоблачение происходит жестокое и именно в том направлении, чтобы предъявить публике “все изгибы сладострастия” злобы. Это уже само по

себе производит впечатление чего-то душного, смрадного, затхлого; истинно, точно в подполье сидишь, или точно какой-нибудь неряха прокаженный снимает перед тобой одну за другой грязные тряпки с своих гноящихся, вонючих язвин. Затем разоблачение постепенно переходит из словесного в фактическое, то есть идет рассказ о некоторых подвигах героя».

И таким же тоном Михайловский говорит о Голядкине в «Двойнике», о Полине в «Игроке», о Настасье Филипповне в «Идиоте», о Грушеньке в «Братьях Карамазовых», о Ежовикине и Фоме Опискине в «Селе Степанчикове», о «Вечном муже», о «Крокодиле», везде стараясь доказать, что Достоевский смакует страдания своих героев, наслаждается их муками и заставляет таким образом страдать и своих действующих лиц и читателей, заставляет этих действующих лиц «совершить самые вычурные преступления и терпеть за них соответственные угрызения совести, проволочит их сквозь тысячи бед и оскорблений, самых фантастических, самых невозможных», и «навалит на них невероятную гору несчастий».

Михайловский сравнивает в этом отношении Достоевского с Нероном и Иваном Грозным и продолжает: «Вся политика и публицистика Достоевского представляет сплошное шатание и сумбур, в котором есть однако одна самостоятельная, оригинальная черта: ненужная, беспричинная, безрезультатная жестокость».

Переходя к позднейшим романам Достоевского, Михайловский утверждает, что все они, начиная с «Преступления и наказания», особенно «Бесы» и «Братья Карамазовы», «переполнены ненужною жестокостью через край».

Сделанных мною выписок более чем достаточно, чтобы показать желание Михайловского на веки вечные развенчать Достоевского, превратив его в настоя-

щего маркиза де Сада, сладострастно наслаждающегося страданиями и муками других.

Развенчать Достоевского Михайловскому, несмотря на все старания, не удалось, и теперь, 50 лет спустя, просто недоумеваешь, как мог недюжинный ум и несомненный талант хотя на минуту надеяться достичь своей цели, таким гигантом представляется современному читателю развенчиваемый Михайловским писатель.

Но Достоевский недаром в своей статье о «Крокодиле», защищаясь от обвинений в том, будто бы он хотел выставить Чернышевского в смешном виде, приводит слова Бомарше из его «Севильского цирюльника»: «Calomniez, calomniez, il en reste toujours quelque chose» (Клеветайте, клеветайте, всегда что-нибудь от этого останется), слова, которые Goethe в своем «Dichtung und Wahrheit» передает словами: «Immer bleibt etwas hängen», а народная русская пословица словами: «Клевета, что уголь: не обожжет, так замарает».

Старания Михайловского не прошли бесследно.

Немедленно же по появлении его второй статьи «Жестокий талант» Тургенев, тоже политический противник Достоевского, 24 сентября 1882 года написал знаменитому русскому сатирику, соредактору Михайловского Салтыкову-Щедрину: «Прочел я <...> статью Михайловского о Достоевском. Он верно подметил основную черту его творчества. Он мог бы вспомнить, что и во французской литературе было схожее явление — а именно пресловутый маркиз де Сад. Этот даже книгу написал: “Tourments et surprises” [“Муки и пытки”], в которой он с особенным наслаждением настаивает на *развратной неге*, доставляемой нанесением *изысканных мук и страданий*. Достоевский тоже в одном из своих романов тщательно расписывает удовольствие одного любителя... И как

подумаешь, что по этом нашем де Саде все российские архиереи свершали панихиды и даже проповеди читали о вселюбви этого всечеловека! Поистине в странное живем мы время!»

И вот с легкой руки Михайловского и Тургенева (а за ними последовали ряд критиков, для которых Михайловский и Тургенев были высшими авторитетами) в результате уже 50 лет господствует общее представление о том, что Достоевский действительно «жесточайший талант», мучающий себя и других и дающий самые мрачные и тяжелые изображения людей и их жизни.

В следующий раз я приведу вам пример того, как распространено это мнение до самых наших времен и как влиянию его подпадает даже такой знаток Достоевского, как биограф его Леонид Гроссман.

2-я лекция, 6 октября 1931 года

Прошлый раз, говоря о статьях Михайловского, я почти исключительно остановился на той стороне их, где Михайловский изображает Достоевского мучителем, каким-то маркизом де Садом, сладострастно наслаждающимся страданиями и муками других.

Мне необходимо было подробно остановиться именно на этой стороне статей Михайловского, чтобы объяснить, как возникла легенда об исключительной мрачности произведений Достоевского, о том, что его тяжело, мучительно больно читать, что чтение его оставляет лишь неприятное впечатление. Но мне придется здесь мимоходом и совершенно вкратце остановиться еще и на другой стороне статей Михайловского. Желая на веки вечные подорвать все значение Достоевского, обнаруживавшееся уже тогда сильное религиозное влияние его на русскую молодежь,

Михайловский прибегает и к другому не менее сильно действующему приему.

Все мы знаем, как убийственно действует теперь на репутацию человека, если о нем в обществе начнут распространять мнение, что он большевик или коммунист. Если тот, кто высказывает такое мнение, пользуется авторитетом и влиянием, то человек, о котором оно высказано, в общественном отношении погиб — все его чуждаются, все его подозревают, все от него отворачиваются. Во всякую данную эпоху таким политическим клеймом является то или иное политическое мнение.

Во времена Михайловского политически заклеянным являлся тот, кто не протестовал против существовавшего тогда государственного порядка, кто не желал сбросить самодержавие, не мечтал о введении конституции, не приветствовал революционных выступлений молодежи и профессиональных революционеров, кто не высказывал подобных, как это тогда называлось, *либеральных идей*.

Надо было иметь и высказывать именно такие мысли, какие высказывались тогда соредакторами «Отечественных записок» — самим Михайловским и Салтыковым-Щедриным или же такими лицами, как Шелгунов, Лавров, Елисеев, Тургенев, критик Скабичевский и др., для того чтобы пользоваться уважением и любовью общества.

Грубо говоря, эти лица полагали, что все то, что мучило тогда Россию — недовольство огромной массы крестьянского населения, получившего при освобождении крепостных недостаточно земли, катастрофическое падение русского рубля, потеря Россией международного влияния, выразившаяся в том, что Бисмарк на Берлинском конгрессе обращался с Россией как с «Quantite négligeable», как с чем-то, с чем вовсе

не приходилось считаться, что все это, одним словом, стало бы сразу гораздо лучше и было бы коренным образом изменено, если бы только «существующий порядок вещей» был отменен, введена была конституция — парламент, ответственное перед парламентом правительство, полная свобода печати и т. п.

Обвинить в это время кого-нибудь в том, что он был против введения парламента, что он вообще желал оставления существующего порядка без изменения, было так же губительно для репутации человека, как обвинить в наши дни кого-либо в большевизме и коммунизме.

Справедливо ли было обвинять Достоевского именно в этом? И да и нет.

Да, в том смысле, что Достоевский никогда не верил, чтобы чисто внешнее изменение существующего порядка повело бы к чему-либо. Для него было самое главное, чтобы изменились люди, чтобы они стали в лучшем смысле этого слова *христианами*. В перемену одних учреждений он никогда не верил. Он как бы говорил: «введите среди диких жестоких негров парламент, свободу слова, свободу веры и т. п., и ничто не только не изменится к лучшему, но, наоборот, все эти учреждения подадут повод лишь к новым более сильным злоупотреблениям».

Но из того, что Достоевский во главу угла ставил внутреннее изменение людей, вовсе не следовало, чтобы он противился всякому изменению существовавшего при нем государственного порядка.

Можно сказать, что последнюю его мечтою, последним страстным желанием его сознательной жизни, мучившим его, когда он уже лежал на смертном одре, было желание, чтобы цензура без изменения пропустила последний номер его «Дневника писателя», а там он как раз говорит, что правительство вполне может довериться мнению представителей народа, что надо

спросить этих представителей, то есть, другими словами, Достоевский советовал правительству созвать совещательный «Земский собор» и сделать первый шаг к созыву того самого парламента, о котором так мечтали «либералы».

Точно так же теперь отлично известно, что Достоевский горячо приветствовал все реформы Александра II: освобождение крепостных, введение новых судов, земство и т. д., то есть как раз такие реформы, которые коренным образом меняли существовавший при Николае I государственный порядок.

Поэтому со стороны Михайловского является грубой подтасовкой то, что он в этом отношении говорит о политических взглядах Достоевского. Каким образом Михайловский делает такую подтасовку, мы лучше всего видим из следующего примера.

Под свежим впечатлением от романа «Дым» и своего собственного разговора с Тургеневым в Баден-Бадене в 1867 году, во время которого, как пишет о том Достоевский Майкову 16/28 августа 1867 года, Тургенев «сам говорил, что главная мысль, основная точка его книги [“Дыма”] состоит в фразе [Потугина]: “Если б провалилась Россия, то *не было бы* никакого ни убытка, ни волнения в человечестве”, <...> что это его основное убеждение»¹⁾. Тургенев, по словам того же письма, «ругал Россию и русских безобразно, ужасно»²⁾, говорил, что «мы должны ползать перед немцами», и прибавил: «я здесь поселился окончательно, <...> я сам считаю себя за немца, а не за русского, и горжусь *этим!*»³⁾

Так вот, под свежим впечатлением всего этого Достоевский в «Идиоте» годом позже, в июле 1868 года, влагает в уста одного из менее значительных дейст-

¹⁾ Достоевский Ф. М. Письма. Т. II. С. 31.

²⁾ Иб.

³⁾ Иб.

вующих лиц этого романа Евгения Павловича следующие слова: «Я вамъ, господа, скажу фактъ <...> наблюдение и даже открытіе <...> [в котором] выражается вся сущность русскаго либерализма того рода, о которомъ я говорю»⁴⁾. (Достоевский здесь, как вы видите, подчеркивает, что он говорит не *о всем русском либерализме*, а лишь об известной его категории.)

«Вопервыхъ, что же и есть либерализмъ, если говорить вообще, какъ не нападение (разумное или ошибочное, это другой вопросъ) на существующіе порядки вещей? Вѣдь такъ? [Опять обращаю ваше внимание на то, что Достоевский подчеркивает, что он в данной связи не останавливается на том, разумно ли или неразумно такое нападение.] Ну, такъ фактъ мой состоитъ въ томъ, что русскій либерализмъ не есть нападение на существующіе порядки вещей, а есть нападение на самую сущность нашихъ вещей, на самыя вещи, а не на одинъ только порядокъ, не на русскіе порядки, а на самую Россію. Мой либераль дошелъ до того, что отрицаетъ самую Россію, то—есть ненавидитъ и бьетъ свою мать. <...> Онъ ненавидитъ народные обычаи, русскую исторію, все. <...> Чѣмъ же это все объяснить у насъ? Тѣмъ <...> что русскій либераль есть покамѣстъ еще не—русскій либераль»⁵⁾.

Так вот это, чуть не единственное в своем роде, место у Достоевского, где Достоевский положительно оговаривается, что он имеет в виду не всех русских либералов и что он не желает в данном случае останавливаться на вопросе, разумно ли вообще или неразумно нападение на существующие порядки, Михайлов-

⁴⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. СПб.: Изд. А. Ф. Маркса, 1894–1895. Т. VI. С. 360. В дальнейшем (кроме особо указанных случаев) тексты Достоевского цитируются по этому изданию (Ред.).

⁵⁾ Иб. С. 361.

ский излагает буквально таким образом: «В “Идиоте” некто Евгений Павлович доказывает, что кто у нас нападает “на существующие порядки вещей”, тот нападает “на самую сущность наших вещей, на самые вещи, и не на один только порядок, не на русские порядки, а на самую Россию”».

То есть Михайловский приведенный у Достоевского с оговорками частный пример превращает как бы в общий символ веры Достоевского и затем неоднократно говорит, что Достоевский испытывал «уважение к существующему общему порядку», и, сделав огромный скачок мысли, утверждает: одна из заветных мыслей Достоевского та, что существующий «общий порядок <...> представляет собою нечто священное и неприкосновенное, и Достоевский на разнообразные манеры преследовал всех, кто словом, делом или помышлением посягал на этот неприкосновенный общий порядок».

Еще худшую подтасовку позволяет себе Михайловский, говоря о взглядах Достоевского на страдание. Достоевский в своих произведениях неоднократно говорит о том благодатном очищающем значении, какое во многих случаях имеет личное страдание для человека вообще и между прочим и для русских в частности, а Михайловский из этого выводит, что Достоевский считает «коренною чертою русского человека, особливо сохранившейся в народе, <...> неудержимое стремление к страданию» и что поэтому нечего менять существующий порядок, при котором столь многие страдают, — наоборот, «пусть себе страдают» (как Михайловский заставляет Достоевского воскликнуть)⁶⁾.

Сделав эти предпосылки, я теперь приведу несколько относящихся сюда мест из статей Михайловского.

⁶⁾ Критический комментарий к сочинениям Ф. М. Достоевского. Ч. 1. С. 483, 482.

Уже в первой своей статье, вышедшей всего <через> несколько недель после смерти Достоевского, Михайловский пишет: «О Достоевском часто говорят, как о народном писателе или, по крайней мере, как о таком, который глубоко постигал самую суть русского народа, его душу. Это одна из самых странных, по своей неосновательности, репутаций. Из всех блестящих представителей сороковых годов она наименее приличествует именно Достоевскому <...> никогда не понимал он той глубокой черты не только русского, а и всякого народного духа, в силу которой присутствие греха обязывает не только к пассивному подвигу личного страдания, а и к активному подвигу борьбы со злом за то, что оно других заставляет страдать. [Но Достоевский скудно и односторонне понимал народную душу и говорил:] Пусть другие страдают, пусть все страдают! не мешай! сам смирись и страдай — вот все, что ты можешь сделать <...> народ любит и хочет страдать»⁷⁾.

В той же статье Михайловский говорит: «Если есть униженные и оскорбленные, то, значит, есть унижающие и оскорбляющие. А если есть боль за униженных и оскорбленных, то как следует относиться к унижающим и оскорбляющим? На этот вопрос разные люди отвечают разное, т. е. или прямо словами отвечают, или своею деятельностью, даже, может быть, не задавая себе точно формулированного вопроса. [1] Можно, во имя возмездия, потребовать для унижающих кары, такого же унижения и оскорбления, какое они сами раздают направо и налево. [2] Можно обратиться к ним с проповедью добра и правды, развернув перед ними яркую картину причиняемого ими страдания, пригрозив им муками ада или укорами совести.

⁷⁾ Иб. С. 53–54, 55.

[3] Можно, наконец, подняться на очень, по-видимому, высокую точку любви и всепрощения и сказать: эти люди творят неправду, но они не ведают, что творят, отпусти им, Боже! Как ни разнородны эти три решения, но все они имеют одну общую черту: все они решают вопрос в пределах одинокой <...> личности. Возможность новых и новых унижений и оскорблений <...> без конца — ни мало ими не колеблется даже в идее, потому что вся операция подобна рубке леса, а не уничтожению корней, вся она состоит в индивидуально-психологическом решении задачи. Но можно перенести вопрос и на общественную почву, которая нисколько не препятствует удовлетворению личных позывов к возмездию и совершенствованию других и себя [и тут Михайловскому представляется, что он излагает свою собственную и своих единомышленников исключительную точку зрения против опять-таки исключительно противоположной точки зрения Достоевского]. Широкая общественная реформа может (по крайней мере, в идее) вырвать самые корни унижения и оскорбления, а затем с выжившими отпрысками поступайте, пожалуй, как хотите: если в вас непреодолимо говорит чувство возмездия — карайте; если вы рассчитываете разбудить в них совесть — будите; если вы склонны к всепрощающей любви — прощайте. Поступая так или иначе, вы удовлетворяете законным требованиям своего темперамента и своих взглядов на личную нравственность. И это прекрасно, коль скоро работа эта происходит не в безвоздушном пространстве, коль скоро рядом с ней идет движение общественной реформы. Но этого-то последнего [торжественно говорит Михайловский] Достоевский никогда не признавал и, кажется, даже просто органически не мог понимать. Чтобы видеть, до какого предела он в этом отрицании или непонимании, наконец, дошел, достаточно вспомнить августовский номер “Дневника

писателя” (единственный номер за 1880 год), в котором он прямо говорил, что помещица Коробочка и ее крепостные могли бы устроить свои отношения в наивысшем нравственном виде, оставаясь помещицей и крепостными, если бы только прониклись идеями христианской морали. Точно так же он в последнее время чрезвычайно горячо и язвительно восставал против новых “учреждений” [Михайловский подразумевал здесь парламент], доказывая их тщету и, напротив, единоспасающее значение личного совершенствования <...> общий порядок вещей был для него неприкосновенен...»⁸⁾

Как несправедлив был Михайловский по отношению к Достоевскому, говоря о его восставании против новых учреждений и всякого рода реформ вообще, мы уже видели. Что же касается слов о Коробочке и ее крепостных, то Михайловский здесь, очевидно, злоупотребляет тем, что у читателей «Отечественных записок», как политических противников Достоевского, вероятно, не было под рукой «Дневника писателя», а если и был, то они, доверяя огромному авторитету Михайловского, вряд ли потрудились бы посмотреть, правильно ли Михайловский цитирует слова Достоевского, потому что если бы они это сделали, то увидели бы, что слова Достоевского в подлиннике, как и в случае со словами Евгения Павловича в «Идиоте», имели совсем другой смысл.

И в самом деле, полемизируя в своем «Дневнике писателя» за 1880 г. с единомышленником Михайловского профессор Градовским, Достоевский говорит: «...если бь только Коробочка стала и могла стать *настоящей* [курсив Достоевского], совершенной <...> христианкой, то крѣпостнаго права въ ея помѣстьи уже не существовало бы вовсе <...> несмотря на то,

⁸⁾ Ib. С. 47–49.

что всѣ крѣпостные акты и купчія оставались бы у ней попрежнему въ сундукѣ. <...> какіе-же тогда рабы и какіе-же господа, помилуйте! Надо же понимать хоть сколько-нибудь христіанство! <...> Пренная барыня и прежній рабъ исчезли бы какъ туманъ отъ солнца и явились бы совсѣмъ новые люди, совсѣмъ въ новыхъ между собою отношеніяхъ, прежде неслыханныхъ»⁹⁾.

В той же статьѣ Михайловскій продолжаетъ дальше: «Все влекло Достоевскаго къ апофеозу страданія: [1] и уваженіе къ общему порядку, [2] и жажда личной проповѣди, [3] и специальная жестокость таланта. Понятно поэтому, съ какою ненавистью долженъ былъ онъ относиться къ темъ, кто самъ не хочетъ страдать и другихъ хочетъ избавить отъ страданій. [Последними словами Михайловскій подразумеваетъ революціонеровъ.] Особенно важно последнее, т. е., что другихъ-то хочетъ избавить <...> [и этимъ] дерзостно покушаются на неприкосновенный общій порядокъ, и потому становятся вдвойнѣ врагами Достоевскаго. <...> онъ делаетъ <...> [ихъ] меднымъ лбомъ и мерзавцемъ ниже самаго низкаго, какою-то гадиной. Таковы многіе действующіе лица “Бесовъ” [Петръ Верховенскій и Шигалевъ] и таковъ Ракитинъ въ “Братьяхъ Карамазовыхъ”. Въ изображеніи этихъ людей и ихъ судьбы злонамеренность Достоевскаго чувствуется особенно сильно, и соответственныхъ страницъ истинно нельзя читать безъ безглаголивости...»¹⁰⁾

Свою вторую статью о Достоевскомъ Михайловскій опять начинаетъ словами: «...къ тому страстному возвеличенію страданія, которымъ кончилъ Достоевскій, его влекли три причины: [1] уваженіе къ существующему [неприкосновенному] общему порядку, [2] жажда

⁹⁾ *Достоевскій Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. XI. С. 488–489.

¹⁰⁾ Критическій комментарий къ сочиненіямъ Ф. М. Достоевскаго. Ч. 1. С. 51–53.

личной проповеди и [3] *жестокость таланта*»¹¹⁾ (курсив Михайловского).

И вот тут-то, говоря о жестокости таланта Достоевского, Михайловский замечает, что Достоевский, описывая страдания униженных и оскорбленных, не только не протестует против унижающих и оскорбляющих, но наслаждается «ощущениями волка, пожирающего овцу», и «любит травить овцу волком»¹²⁾.

В этой же статье Михайловский утверждает, что политическая жизнь Достоевского просто не интересовала¹³⁾. (И это Михайловский говорит о Достоевском, у которого более половины «Дневника писателя» посвящено политической жизни.) «Совсем <...> [она была чужда] ему, всеми своими вкусами влекомому к разбирательству интимнейших личных дел и делишек. Оттого, когда <...> разные случайные обстоятельства толкнули его на путь публицистики, ему случилось проговариваться нелепостями, которые казались бы колоссальными, если бы они не были так комичны. То вдруг брякнет, что крепостное право само по себе нисколько не мешает идеально-нравственным отношениям между господами и крепостными. То изречет [какие-нибудь] пророчества...»¹⁴⁾

У меня нет времени продолжать такие выписки. Сказанного более чем достаточно, чтобы показать, как сильно старался Михайловский замарать политическую репутацию Достоевского.

Но, можете вы мне сказать, вы наверно несправедливы к Михайловскому. Не может быть, чтобы такой недюжинный ум, как Михайловский, не дал ни одного положительного отзыва о Достоевском, которого да-

¹¹⁾ Иб. С. 446.

¹²⁾ Иб. С. 448.

¹³⁾ Иб. С. 480.

¹⁴⁾ Иб.

же его враги должны же были все-таки признавать гениальным.

На это я могу лишь ответить, что свой критический этюд «Жестокий талант» Михайловский действительно начинает словами: «Достоевский крупный и оригинальный писатель, достойный тщательного изучения и представляющий огромный литературный интерес»¹⁵⁾.

И еще в трех, четырех местах он отзывается с похвалой о Достоевском, но или он тут же делает оговорки, сводящие эти похвалы на нет (как, например, когда он в конце статьи признает, что «со времени “Униженных и оскорбленных” талант Достоевского вырос необычайно» и что вы у Достоевского найдете отдельные места необыкновенной яркости и силы, но тут же прибавляет, что Достоевского отличает «архитектурное бессилие, неспособность обойтись без длинных отступлений, нарушающих гармонию целого», и что художественное дарование Достоевского достигло своей наивысшей силы — «в сфере мучительства»¹⁶⁾), или же прямо говорит, что крупный талант только усиливает все недостатки Достоевского и делает все его ошибки еще более непростительными и преступными. Михайловский заключает: «Мы <...> признаем за Достоевским огромное художественное дарование и вместе с тем не только не видим в нем “боли” за оскорбленного и униженного человека, а напротив — видим какое-то инстинктивное стремление причинить боль этому униженному и оскорбленному»¹⁷⁾.

Таким образом, даже на первый взгляд сочувственные отзывы Михайловского на самом деле лишь усиливают его ярко отрицательную критику.

Почти одновременно со статьями Михайловского Вл. Соловьев прочел свои три речи о Достоевском, но

¹⁵⁾ *Иб.* С. 445.

¹⁶⁾ *Иб.* С. 520, 521.

¹⁷⁾ *Иб.* С. 519.

его в большинстве случаев слушали лишь друзья его и Достоевского, огромная же читавшая Михайловского публика лишь случайно появлялась на лекциях Соловьева, и для нее авторитет Михайловского во всяком случае, за небольшими исключениями, был решающим.

Насколько сильным было влияние Михайловского, видно уже из того, что даже некоторые из так называемых «друзей» Достоевского пересмотрели свое отношение к умершему писателю и изменили свое первоначальное суждение о нем.

Характерно в этом отношении поведение Страхова. В то время как Вл. Соловьев, Орест Миллер и Ап. Майков по-прежнему были столь же высокого мнения о своем друге, как и раньше, Страхов, бывший десятки лет постоянно в семье Достоевских (иногда каждое воскресенье обедавший у них), испытывавший со стороны Достоевского сердечное отношение, столь сильное, что Достоевский во время своего четырехлетнего заграничного пребывания почти только с ним и Ап. Майковым переписывался, и написавший о Достоевском в 1882–1883 гг. сравнительно весьма симпатичные воспоминания, в конце 1883 года, судя по всему именно под влиянием Михайловского, Тургенева и их друзей, пересмотрел свои многолетние суждения о Достоевском и отправил Толстому, восхищавшемуся Достоевским, письмо (26 ноября 1883 г.), в котором высказал ряд мнений о Достоевском, как бы списанных со статей Михайловского. Так, в этом письме попадаются такие, например, места: «Он был зол, завистлив <...> В Швейцарии, при мне, он так помыкал слугою, что тот обиделся и выговорил ему: “Я ведь тоже человек!” <...> Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими <...> одну сцену из Ставрогина <...> [по ее порнографичности] Катков [даже] не <...> [напечатал]».

Когда это письмо через тридцать лет было напечатано, оно вызвало везде сильные протесты. Самым луч-

шим ответом на него является протест второй жены Достоевского, в высшей степени счастливо прожившей со своим мужем 14 лет и глубоко его оплакивавшей до самой своей смерти. В этом ответе жены документально опровергаются все измышления Страхова. Я упомянул это письмо лишь как пример того, насколько сильным было тогда влияние Михайловского.

Из своей личной жизни мне припоминается, как я поражен был, когда покойный профессор Арабажин всего двенадцать лет тому назад сильно критиковал Михайловского. Это было в моей жизни первый раз, когда кто-либо в моем присутствии отзывался иначе, чем похвально, о Михайловском. Можно с полным основанием сказать, что он был прямым кумиром революционно настроенной молодежи, да и вообще у всей почти читающей публики считался большим авторитетом.

Только Волинский и Мережковский двадцать лет спустя несколько освободились из-под его влияния. И все же большой труд Мережковского о Достоевском и Толстом во многих местах свидетельствует о том, что Мережковский не совсем еще избавился от этого влияния. В особенности это заметно там, где Мережковский говорит о религиозных верованиях Достоевского и где ему представляется, что Достоевский никогда не победил до конца своих сомнений и вряд ли когда-либо вполне уверовал в Бога и Христа.

Теперь, тридцать лет спустя после выхода в свет сочинения Мережковского, все эти места его книги давно опровергнуты и мы знаем положительно и бесспорно, что Достоевский, хотя его осанна, говоря словами черта в «Братьях Карамазовых», и через большое горнило сомнений прошла, все же в конце концов стал и до самой последней минуты своей жизни был глубоко и горячо верующим человеком!

3-я лекция, 20 октября 1931 года

В предыдущих двух лекциях я остановился на грубо печальном явлении литературной жизни России: лучший критик 80-х и 90-х годов напрягает все свои силы, все свое незаурядное дарование на то, чтобы смешать с грязью и навсегда развенчать наиболее гениального русского писателя.

Явление это, как оно ни грустно, может быть поучительно для всех литератур, всех народов. Оно учит нас, как опасно вмешивать политику в дела литературы, как непростительно с точки зрения господствующего в политике течения судить о достоинстве или недостатках того или иного произведения; и на примере Михайловского и Достоевского хотелось бы обратиться к представителям всех литератур со словами: относитесь бережно и осторожно ко всякому писателю, судите его произведения прежде всего с точки зрения внутренних достоинств, не обращайте внимания на то, к какому политическому лагерю он, по нередко совершенно ошибочному взгляду современников, принадлежит.

К сожалению, люди в этом отношении, по-видимому, неисправимы. То совершенно несправедливое отношение, с которым современная критика встретила «Отцов и детей» Тургенева, то, как отнесся Михайловский к Достоевскому, повторяется, к сожалению, и в наши дни. Даже в трудах серьезных ученых о произведении XII века, жемчужине русской поэзии «Слово о полку Игореве», как в труде академика Перетца, вы встретите чисто политическую оценку, тем более позорную, что академик Перетц вряд ли так искренен, как Михайловский.

И политика, к сожалению, играет главную роль в оценке советской критикой произведений зарубеж-

ной русской печати и в оценке эмигрантскую критику произведений советских писателей.

Можно было бы, конечно, сказать в утешение, что великое произведение в конце концов всегда всплывет на поверхность, несмотря на все старания затопить его, и что беда не велика, если политика навсегда потопит произведения незначительные. Но все дело в том, что великое произведение могло бы оказать наибольшую пользу *как раз в минуту своего появления в печати*, когда каждое слово его глубоко жизненно и касается наиболее животрепещущих и наиболее важных вопросов современности. Даже химический элемент всего сильнее действует «*in statu nascendi*», то есть в ту минуту, когда он только что родился, только что высвободился из-под влияния других элементов; тем более сильно живое, только что появившееся на свет слово.

Достоевский в конце концов, несмотря на все старания Михайловского и его присных, выбился на поверхность мировой литературной мысли, но Боже мой, какая жалость, что он не начал свое действие на умы молодежи тотчас же, когда слова его еще были горячи дыханием его пламенной, горящей любовью и желанием доставить счастье всему миру души!

Бесплодны и бесцельны все вычисления о том, что бы могло быть, если бы да кабы случилось то или иное, но не надо никаких подобных вычислений для того, чтобы понять, что большевистская революция прошла бы совсем иначе, если бы религиозное влияние Достоевского на русскую молодежь не было на долгое время подавлено и подорвано влиянием Михайловского, а имело бы возможность все время беспрепятственно действовать.

Мне могут возразить, что я преувеличиваю значение Михайловского, но достаточно прочесть хотя бы

статью Русанова о Михайловском, написанную для Энциклопедического словаря Гранат в 1915 году, т. е. одиннадцать лет спустя после смерти Михайловского и тридцать четыре года после смерти Достоевского.

Вот несколько строчек из этой статьи, показывающих, как сильно было значение Михайловского еще в то время.

«Большая эрудиция, оригинальность мысли, огромный талант изложения, живой, образный язык <...> объясняют в достаточной степени, почему М. был в течение довольно значительн[ого] времени “властителем дум” молодого поколения и до сих пор является главою целого направления русской социально-политической мысли»¹⁾. И Русанов добавляет: «Как литературный критик М. *поражал* <...> великой способност[ью] отыскивать у писателей *основную черту* их творчества (его “десница и шуйца” у Толстого, “жестокий талант” у Достоевского...)»²⁾.

Мы видим отсюда, что всего каких-то шестнадцать лет тому назад Энциклопедический словарь сообщает своим читателям как общепризнанную истину, что статья Михайловского «Жестокий талант» выявляет «основную черту творчества» Достоевского.

Я упомянул уже прошлый раз, что лишь через двадцать лет после смерти Достоевского критики начали несколько освобождаться от влияния Михайловского, но и до сего дня Михайловский не вполне преодолен.

Правда, очень немногочисленны те, кто теперь подписался бы под словами Михайловского и Тургенева о Достоевском как о современном маркизе де Саде, но еще в 1923 году Чехихин-Ветринский без всяких комментариев перепечатывает в своем общедоступном и для большой публики предназначенном сборнике

¹⁾ Энциклопедический словарь: В 58 т. / Бр. А. и И. Гранат. 7-е изд. М., 1910–1936. Т. 29. С. 115.

²⁾ Ibid.

письмо Страхова к Толстому с ложным обвинением Достоевского в разврате, и в том же сборнике Чешин-Ветринский пишет от себя, но, очевидно, еще под сильным влиянием Михайловского, что «мир творчества [Достоевского] населен до излишества психопатами [и] переполнен культом страдания».

Однако и многие из тех, кто в этом отношении освободился из-под прямого гипноза Михайловского, все еще под влиянием «властителя дум» 80-х и 90-х годов как бы сохранили какое-то недоверие к Достоевскому. То они, как Мережковский, как мы это видели в прошлый раз, сомневаются в том, преодолел ли Достоевский когда-либо все свои сомнения, уверовал ли он в конце концов вполне в Бога и Христа или же он до последней минуты своей жизни остался Иваном Карамазовым, во всем сомневающимся, все отрицающим; то они, отказавшись от крайностей Михайловского, все же видят в Достоевском почти одно лишь мрачное и, желая обосновать этот свой взгляд, переносят это мрачное и на самую жизнь Достоевского, даже на такие периоды этой жизни, которые заведомо были светлы и жизнерадостны.

К таким, не вполне освободившимся из-под влияния Михайловского, приходится, к сожалению, отнести и Гроссмана, этого, может быть, лучшего знатока Достоевского, во всяком случае, наиболее пристально и детально его изучавшего.

Почему Гроссману так важно сделать самое жизнеописание Достоевского мрачным, лучше всего будет понятно из следующих примеров.

В одном из наиболее интересных писем своих Толстой в 1902 году, отвечая на вопрос о том, имеет ли право человек кончить свою жизнь самоубийством, пишет между прочим следующее: «В Оптиной пύстыни в продолжение более 30-ти лет лежал на полу разбитый параличом монах, владевший только левой

рукой. Доктора говорили, что он должен был сильно страдать, но он не только не жаловался на свое положение, но постоянно, крестясь, глядя на иконы, улыбаясь, выражал свою благодарность Богу и радость за эту искру жизни, которая теплилась в нем. Десятки тысяч посетителей бывали у него, и трудно представить себе все то добро, которое распространялось на мир от этого лишенного всякой возможности деятельности человека. Наверно, этот человек сделал больше добра, чем тысячи и тысячи здоровых людей, воображающих, что они в разных учреждениях служат миру».

И Толстой прибавляет: «Пока есть жизнь в человеке, он может совершенствоваться и служить миру. Но служить миру он может только совершенствуясь, а совершенствоваться — только служа миру»³⁾.

В своем рассказе «Живые мощи» Тургенев описывает, как он, собираясь на охоту, в ожидании экипажа, зашел, гуляя по саду усадьбы, которую давно не посещал, в плетеный сарайчик и увидел там поразившее его человеческое существо.

«Голова совершенно высохшая, <...> бронзовая <...> нос узкий, как лезвие ножа; губ почти не видать — только зубы белеют и глаза, да из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди желтых волос. У подбородка, на складке одеяла, движутся, медленно перебирая пальцами, как палочками, две крошечных руки тоже бронзового цвета».

И она пролежала так почти в параличе шесть, семь лет, почти не принимая никакой пищи. Как и монах Оптиной пύстыни, она в состоянии была действовать только одною рукою.

Когда-то Лукерья была первой красавицей своей деревни, хохотуньей, плясуньей, певуньей, за которой

³⁾ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. / Под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова. М., 1913. Т. XXIII. С. 51.

ухаживали все молодые парни, которая помолвлена была за любимого и любившего ее человека, но потом она все это утратила и редко, редко кого видела, лежа в своем сарайчике летом и в предбаннике зимой. Несмотря на это и на постоянную ноющую боль, она ни на что не роптала и наоборот, как виденный Толстым монах, распространяла вокруг себя радость тем, что всегда была всем довольна, благодарная даже за малейшие улыбки судьбы.

«...иной — слепой или глухой! — говорит она. — А я, слава Богу, вижу прекрасно и все слышу, все. Крот под землею роется — я и то слышу.

И запах я всякий чувствовать могу, самый какой ни на есть слабый! Гречиха в поле зацветет или липа в саду — мне и сказывать не надо: я первая сейчас слышу. Лишь бы ветерком оттуда потянуло <...> Пчелы на пасеке жужжат да гудят; голубь на крышу сядет и заворкует; курочка-наседочка зайдет с цыплятами крошек поклевать; а то воробей залетит или бабочка — мне очень приятно. В позапрошлом году так даже ласточки вон там в углу гнездо себе свили и детей вывели. Уж как же оно было занято! Одна влетит, к гнездышку припадет, деток накормит — и вон. Глядишь — уж на смену ей другая. Иногда не влетит, только мимо раскрытой двери пронесется, а детки тотчас — ну пищать, да клювы разевать <...>

А то раз, — начала опять Лукерья, — вот смеху-то было! Заяц забежал, право! Собаки, что ли, за ним гнались, только он прямо в дверь как прикатит!..

Сел близехонько — и долго так сидел, все носом водил и усами дергал — настоящий офицер! И на меня смотрел. Понял, значит, что я ему не страшна. Наконец, встал, прыг-прыг к двери, на пороге оглянулся — да и был таков! Смешной такой! <...>

— Ну, зимою, конечно, мне хуже: потому — темно; <...> Однако хоть и темно, а все слушать есть

что: сверчок затрещит али мышь где скрестись станет. Вот тут-то хорошо: не думать!

— А то я молитвы читаю, — продолжала, отдохнув немного, Лукерья. — Только немного я знаю их, этих самых молитв. Да и на что я стану Господу Богу на-скучать? О чем я его просить могу? Он лучше меня знает, чего мне надобно. Послал Он мне крест — значит, меня Он любит. Так нам велено это понимать <...> Вы говорите: я одна бываю, всегда одна. Нет, не всегда. Ко мне ходят. Я смиренная — не мешаю. Девушки крестьянские зайдут, погуторят [поговорят, побеседуют], странница забредет, станет про Иерусалим рассказывать, про Киев, про святые города. <...> Вы вот не поверите — а лежу я иногда так-то одна... и словно никого в целом свете, кроме меня, нету. Только одна я — живая! И чудится мне, будто что меня осенит... Возьмет меня размышление — даже удивительно. <...> Придет, словно как тучка, прольется, свежо так, хорошо станет [на душе], а что такое было — не поймешь! <...>

— Как погляжу я, барин, на вас, — начала она снова, — очень вам меня жалко. А вы меня не слишком жалеете, право! Я вам, например, что скажу: я иногда и теперь... Вы ведь помните, какая я была в свое время веселая? Бой-девка!.. так знаете что? Я и теперь песни пою.

— Песни?.. Ты?

— Да, песни, старые песни, хороводные, подблюдные, святочные, всякие! Много я их ведь знала и не забыла. Только вот плясовых не пою. В теперешнем моем звании оно не годится. <...> Громко-то не могу, а все — понять можно. Вот я вам сказывала — девочка ко мне ходит. Сиротка, значит, понятливая. Так вот я ее и выучила; четыре песни она уже у меня переняла. Аль не верите? Постойте, я вам сейчас...

Лукерья собралась с духом... Мысль, что это полумертвое существо готовится запеть, возбудила во мне невольный ужас. Но прежде чем я мог промолвить слово — в ушах моих задрожал протяжный, едва слышный, но чистый и верный звук... за ним последовал другой, третий. “Во лузях” пела Лукерья. Она пела, не изменив выражения своего окаменелого лица, уставив даже глаза. Но так трогательно звенел этот бедный, усиленный, как струйка дыма колебавшийся голосок, так хотелось ей всю душу вылить... Уже не ужас чувствовал я: жалость несказанная стиснула мне сердце.

— Ох, не могу! — проговорила она вдруг, — силушки не хватает... Очень уж я вам обрадовалась. [И у ней показалась слеза на ресницах] <...>

— Вот вы, барин, спрашивали меня, — заговорила опять Лукерья, — сплю ли я? Сплю я, точно, редко, но всякий раз сны вижу, — хорошие сны! Никогда я больной себя не вижу: такая я всегда во сне здоровая да молодая... Одно горе: проснусь я — потянуться хочу хорошенько — ан я вся, как скованная. Раз мне какой чудный сон приснился! Хотите, расскажу вам? — Ну слушайте. — Вижу я, будто стою я в поле, а кругом рожь, такая высокая, спелая, как золотая!.. И будто со мной собачка рыженькая, злющая-презлющая — все укусить меня хочет. И будто в руках у меня серп, и не простой серп, а самый как есть месяц, вот когда он на серп похож бывает. И этим самым месяцем должна я эту самую рожь сжать дóчиста. Только очень меня от жары растомило, и месяц меня слепит, и лень на меня нашла; а кругом васильки растут, да такие крупные! И все ко мне головками повернулись. И думаю я: нарву я этих васильков; Вася [жених мой] прийти обещался — так вот я себе венок сперва совью; жать-то я еще успею. Начинаю я рвать васильки,

а они у меня промеж пальцев тают да тают, хоть ты что! И не могу я себе веноч свить. А между тем я слышу — кто-то уж идет ко мне, близко таково, и зовет: Луша! Луша!.. Ай, думаю, беда — не успела! Все равно, надену я себе на голову этот месяц заместо васильков. Надеваю я месяц, ровно как кокошник, и так сама сейчас вся засияла, все поле кругом осветила. Глядь — по самым верхушкам колосьев катит ко мне скорехонько — только не Вася, а сам Христос! И почему я узнала, что это Христос — сказать не могу, — таким Его не пишут, — а только Он! Безбородый, высокий, молодой, весь в белом, — только пояс золотой, — и ручку мне протягивает. “Не бойся, говорит, невеста Моя разубранная, ступай за Мною, ты у Меня в царстве небесном хороводы водить будешь и песни играть райские”. И я к Его ручке как прильну! Собачка моя сейчас меня за ноги... Но тут мы взвились! Он впереди... Крылья у Него по всему небу развернулись, длинные, как у чайки, — и я за Ним! И собачка должна отстать от меня. Тут только я поняла, что эта собачка — болезнь моя и что в царстве небесном ей уж места не будет.

Лукерья умолкла на минуту.

— А то еще видела я сон, — начала она снова, — а быть может, это было мне видение — я уж и не знаю.

— Почудилось мне, будто я в самой этой плетушке лежу и приходят ко мне мои покойные родители — батюшка да матушка — и кланяются мне низко, а сами ничего не говорят. И спрашиваю я их: зачем вы, батюшка и матушка, мне кланяетесь? А затем, говорят, что так как ты на сем свете много мучишься, то не одну ты свою душеньку облегчила, но и с нас большую тягу сняла. И нам на том свете стало много способнее <...> И, сказавши это, родители мне опять поклонились — и не стало их видно: одни стены видны. Очень я потом сомневалась, что это такое со

мною было. Даже батюшке на духу [на исповеди] рассказала. Только он так полагает, что это было не видение, потому что видения бывают одному духовному чину <...>

Я стал прощаться с нею <...> [и] попросил ее еще раз хорошенько подумать и сказать мне — не нужно ли ей чего?

— Ничего мне не нужно; всем довольна, слава Богу, — с величайшим усилием, но умиленно произнесла она. — Дай Бог всем здоровья! А вот вам бы, барин, матушку вашу уговорить — крестьяне здешние бедные — хоть бы малость оброку с них она сбавила! Земли у них недостаточно, угодий нет... Они бы за вас бы Богу помолились. А мне ничего не нужно — всем довольна. <...>

В тот же день, прежде чем отправиться на охоту, был у меня разговор о Лукерье с хуторским десятским [говорит Тургенев]. Я узнал от него, что ее в деревне прозывали “Живые мощи”, что, впрочем, от нее никакого не видать беспокойства; ни ропота от нее не слышать, ни жалоб. “Сама ничего не требует, а напротив — за все благодарна <...>”

Несколько недель спустя я узнал, что Лукерья скончалась. <...> Рассказывали, что в самый день кончины она все слышала колокольный звон, хотя <...> до церкви считалось пять верст с лишком и день был будничный. Впрочем, Лукерья говорила, что звон шел не от церкви, а “сверху”. Вероятно, она не посмела сказать: с неба».

Я нарочно так подробно изложил вам приводимые Толстым и Тургеневым примеры, чтобы было понятно, что никакие внешние обстоятельства, как бы тягостны и печальны они ни были, не в состоянии сами по себе сделать человека мрачным и жизнь отрицающим.

Лежит ли он, как толстовский монах, тридцать лет на полу Оптинской пύстыни, неподвижный от паралича, лишь двигая левою рукой, или лежит так же неподвижно семь лет в сарайчике или предбаннике, тоже двигая лишь одной рукой, как тургеневская Лукерья, все же они в состоянии без ропота и жалоб переносить свой тридцатилетний или семилетний паралич и даже, как Лукерья, забывая собственную ноющую боль, просить помещика об облегчении тяжелого положения крепостных односельчан своих или, как монах, радостно благодарить Бога за дарованную ему самому искру жизни и, как Лукерья, радоваться за жизнь, данную другим, сверчок ли то, мышь ли, бабочка, ласточки или заяц.

Но, само собой разумеется, такое отношение к страданию возможно лишь при двух чрезвычайно важных условиях.

Во-первых, нужна особенная религиозная настроенность, глубокая вера в то, что, говоря словами Лукерьи, Бог *«лучше [нас] знает, [что нам] надобно. Послал мне крест — значит любит [нас]»*. Так нам велено это понимать». Благодаря такой вере, страдающий не только убежден, что в *будущей* жизни, в царстве небесном, он избавится от своих мук, но его и в этой жизни, как рассказывает о том Лукерья, иногда *«осеняет»*, т. е. *«придет, словно как тучка, прольется, свежо так, хорошо станет [на душе]»*.

Лукерья говорит об этом: *«что такое было — не поймешь»*, но это осенение во всяком случае делает ее глубоко счастливой, такую же счастливой, каким был Достоевский, когда у него, как он описывает это в «Идиоте», перед самым припадком падучей «вдруг, среди грусти, душевного мрака, давления <...> какъ бы воспламенялся его мозгъ <...> Умъ, сердце озарялись необыкновеннымъ свѣтомъ; всѣ волненія, всѣ сомнѣнія <...> всѣ безпокойства какъ бы умиротворялись

разомъ, разрѣшались въ какое-то высшее спокойствіе, полное ясной, гармоничной радости и надежды <...> неслыханное и негаданное дотолѣ чувство полноты, мѣры, примиренія и встревоженного молитвенного слитія съ самымъ высшимъ синтезомъ жизни»⁴⁾ — с Богом — озаряло душу.

Во-вторых, для примиренного, даже радостного отношения к жизни, несмотря на всю боль, все муки и страдания, необходимо, чтобы среди ноющего страдания было что вспомнить, было о чем видеть радостные, веселые сны, то есть, иными словами, нужно счастливое радостное прошлое. Нужно, как то было у Лукерьи, пережить время, когда она была первой красавицей своей деревни, хохотуньей, плясуньей, певуньей, бой-девкой, за которую ухаживали все молодые парни и на которую нередко засматривался молодой помещик. Тогда, несмотря на то, что громко она петь теперь не в состоянии, она все же может научить других пению, озарить жизнь сиротки-девочки радостью пения красивых песен, да и сама пробудить в своей памяти много *радостных счастливых минут*.

И вот Мережковский и Гроссман, как бы не доверяя под влиянием Михайловского тому, что Достоевский сам мог быть полным *сильного внутреннего* счастья и в состоянии был этим счастьем заражать и других, отнимают у Достоевского эти два неотъемлемых условия счастья, возможного при всех обстоятельствах жизни, при самой даже неблагоприятной обстановке: с одной стороны, как Мережковский, они не верят в *глубину религиозного чувства* Достоевского, с другой, как Гроссман, они *отнимают у Достоевского даже счастливое безмятежное детство*.

Мне же, желающему показать, что Достоевский, несмотря ни на что, все же был светлым и жизнерадостным, необходимо будет доказать, что оба ошибаются.

⁴⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. VI. С. 240, 241.

4-я лекция, 27 октября 1931 года

Когда Леонид Гроссман, находясь, может быть бес-
сознательно, под влиянием Михайловского, старается
представить детство Достоевского в возможно мрачном
виде, он применяет к самому Достоевскому слова ру-
кописи одного из позднейших романов Достоевского
«Подросток»:

«Есть дети, с детства уже задумывающиеся над сво-
ею семьею, с детства оскорбленные неблагообразием
отцов своих, отцов и среды своей, а главное — уже
в детстве начинающие понимать беспорядочность и
случайность основ всей их жизни, отсутствие устано-
вившихся форм и родового предания».

Применять слова произведений писателя к самому пи-
сателю мы, конечно, имеем право, а порою даже долж-
ны, потому что писатель в своих произведениях неред-
ко высказывается откровеннее о самом себе, чем даже
в своих дневниках. В частности, в произведениях Досто-
евского можно найти очень много автобиографического.

Но в подобных применениях необходимо быть очень
осторожным и пользоваться выдержками из произве-
дений только тогда, когда они подтверждаются рядом
иных фактических данных. Иначе легко сделать Дос-
тоевского хотя бы убийцей только оттого, что он опи-
сывает в своих произведениях чувства многих убийц.
Достоевский сам в одном из номеров своего «Днев-
ника писателя» упоминает, как некоторые из читате-
лей фактически превратили его в убийцу только от-
того, что он ведет повествование в «Записках из Мерт-
вого дома» от лица убийцы Александра Петровича
Горянчикова.

В данном случае Гроссман как раз не имел права
применить к Достоевскому цитованные мною слова из
рукописи «Подростка».

В конце этого напечатанного в 1875 году романа говорится, что герой «Подростка» член *случайного* семейства, и мы можем сказать, что весь роман написан, чтобы показать, к каким печальным результатам ведет беспорядочность и случайность основ жизни детей шестидесятых и семидесятых годов прошлого века, отсутствие установившихся форм воспитания и родового предания.

В «Дневнике писателя» за 1877 год Достоевский в книжке за июль–август говорит уже прямо от своего имени о случайном семействе последних десятилетий, противопоставляя ему «неслучайные» семейства двадцатых, тридцатых и сороковых годов. Семейства семидесятых годов представляются ему до того расшатанными, разложенными и неоформленными, что серьезные люди, по словам Достоевского, говорят даже, что русского семейства «вовсе нѣтъ» более¹⁾. Этим семействам Достоевский противопоставляет семьи, которые Пушкин хотел изобразить в намеченном им будущем романе «Предания русского семейства»²⁾, где дети получали от своих родителей законченные формы чести и долга, или семьи, изображенные, например, Львом Толстым в «Детстве» и «Отрочестве»³⁾.

И вот, говоря об этих последних образцовых — «неслучайных» — семействах, дети которых выносят из своего детства и отрочества лишь хорошие воспоминания, Достоевский касается своего собственного детства и отрочества, рассказывает о посещении им тех мест, где оно протекло, и подчеркивает, что эти места оставили в нем «самое *глубокое и сильное впечатление* на всю потом жизнь» и что все в этих местах «полно для [него] *самыми дорогими воспоминаниями*».

¹⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. XI. С. 211, 212.

²⁾ Иб. Т. VIII. С. 579.

³⁾ Иб. Т. XI. С. 211, 212.

Для нас отсюда совершенно ясно, что приведенное Гроссманом место в последней своей части совершенно не применимо к Достоевскому.

Но, может быть, Гроссман прав, говоря, что к самому писателю применимы первые слова приведенного им в биографии Достоевского отрывка из рукописи «Подростка»? «Есть дети, с детства <...> оскорбленные неблагообразием отцов своих»⁴⁾. Гроссман в доказательство своей мысли приводит ряд сведений об отце Достоевского. Он говорит, что тот долгое время был военным врачом⁵⁾ (на самом деле он был военным врачом всего лишь восемь лет, от 1 сентября 1812 года и до 16 декабря 1820 года) и с этого времени «сохранил навсегда жестокий закал армейского быта»⁶⁾, утверждает, что работа в госпиталях в 1812 году (в этих госпиталях 25-летний Михаил Андреевич Достоевский был лишь с 16 августа 1812 года⁷⁾) усилила врожденную угрюмость его характера.

«Это был [продолжает Гроссман] человек чрезвычайно раздражительный, крайне вспыльчивый, нервный и подозрительный. Он представлял собою тип упорного и неумолимого работника, угрюмо исполняющего свой жизненный долг, с постоянной нетерпимой требовательностью ко всем окружающим. Вспышки его гнева были ужасны»⁸⁾.

Далее Гроссман пишет: «Энергичный, упорный и властный Михаил Андреевич отличался крайней скупостью, подозрительностью и жестокостью. При этом он страдал алкоголизмом и был особенно зол и недо-

⁴⁾ Гроссман Леонид. Путь Достоевского. Л., 1924. С. 16.

⁵⁾ Гроссман Леонид. Достоевский на жизненном пути. М., 1928. С. 205–206.

⁶⁾ Гроссман Леонид. Путь Достоевского. С. 16.

⁷⁾ Гроссман Леонид. Достоевский на жизненном пути. С. 205.

⁸⁾ Гроссман Леонид. Путь Достоевского. С. 16–17.

верчив в пьяном виде. Близкие жестоко страдали от его скупости»⁹⁾.

В характере Михаила Андреевича Гроссман отмечает «присутствие особой слащавой сентиментальности»¹⁰⁾, в письмах его находит «пространные ламентации [жалобы] в торжественном или униженном стиле. Все это [по словам Гроссмана] осложнялось припадками мнительности и беспричинной тоски»¹¹⁾.

В доказательство справедливости преданий о жестокости отца Достоевского Гроссман приводит штрих его переписки, который он называет «поистине потрясающим»¹²⁾. «В семье Достоевских [пишет Гроссман] долгие годы жила нянюшка Алена Фроловна, предложившая однажды в трудную минуту своим господам все свои сбережения. На службе у Достоевских эта кроткая женщина заболела чахоткой».

«И вот, [восклицает Гроссман] отец семейства, в придачу врач и культурный человек, пишет по этому поводу жене в деревню: “Няньку поблагодари за память, очень жаль, что у нее чахотка, но из этого я усматриваю немаловажную пользу, ибо до поездки в Москву весу у нее убавится до 3 пудов — какая разница!”»¹³⁾

Как вы видите из этого, Гроссман рисует отца Достоевского каким-то чудовищем: у него *врожденная угрюмость*, он навсегда сохранил *жестокый закал* армейского быта, он *чрезвычайно* раздражителен, *крайне* вспыльчивый, нервный и *подозрительный*, нетерпимо *требовательный*, вспышки его гнева *ужасны*, он *крайне скуп* и *жесток*, страдал *алкоголизмом* и был особенно *зол* и *недоверчив* в пьяном виде, к тому же

⁹⁾ Иб. С. 17.

¹⁰⁾ Иб. С. 18.

¹¹⁾ Иб.

¹²⁾ Иб. С. 20.

¹³⁾ Иб.

он неприятно (*слащаво*) *сентиментален* и страдает припадками *мнительности* и *беспричинной тоски*.

Если бы хотя десятая доля всего этого была справедлива, детство Достоевского несомненно было бы чрезвычайно тяжелым и мрачным и слова Гроссмана о том, что «ранние годы Достоевского *охвачены* грустью»¹⁴⁾, были бы вполне уместными.

Но прав ли Гроссман, был ли отец Достоевского таким, как он его рисует?

На первый взгляд, как будто и прав: ведь недаром же Михаил Андреевич был убит своими крепостными, недаром в его бывшем имении до сих пор сохранилось предание о его суровости и строгости, даже зверстве¹⁵⁾.

И все-таки Гроссман не прав, не прав по отношению ко всему тому времени, пока Достоевский жил дома и ежедневно встречался с отцом.

В прошлом году мне пришлось написать исследование об отце Достоевского, и там мной приведены документы, опровергающие заключение Гроссмана. Приводить выписки из этого исследования отняло бы у нас слишком много времени. Остановлюсь только на результатах.

Отчасти слова Гроссмана голословны и ничем не доказаны. Голословно, например, его утверждение о врожденной угрюмости Михаила Андреевича: у нас нет пока никаких данных для того, чтобы судить о характере отца Достоевского — таком, каким он был от рождения.

Отчасти выводы Гроссмана основаны на недоразумении. Так, чистейшим недоразумением объясняется весь «потрясающий штрих жестокости» Михаила Андреевича в его письме о нянюшке Алене Фроловне.

¹⁴⁾ *Иб.* С. 16.

¹⁵⁾ *Гроссман Леонид.* Достоевский на жизненном пути. С. 79, 80.

Алена Фроловна действительно была удивительной нравственной красоты женщина, готовая для других жертвовать всем своим достоянием, и Достоевский восторженно рассказывает о ней в своем «Дневнике писателя», где вспоминает: «Всѣхъ она насъ, дѣтей, взростила и выходила. Была она тогда лѣтъ сорока пяти, характера яснаго, веселаго, и всегда намъ рассказывала такія славныя сказки!»¹⁶⁾, но никогда Алена Фроловна чахоткою не страдала и умерла в глубокой старости в 1850-х годах¹⁷⁾.

В изданных в прошлом году воспоминаниях брата Достоевского Андрея Михайловича говорится по поводу цитированного Гроссманом письма: Алена Фроловна была очень полна и грузна, и Михаил Андреевич часто сам «пускал ей кровь, после чего ей всегда становилось легче и она говорила, что от этой операции она вся “исчезает”». Над ее полнотой и «исчезанием» добродушно посмеивалась вся семья и в шутку называла ее между собой сорокапудовою бочкою¹⁸⁾ и 45-пудовою гирей¹⁹⁾.

«45-пудовая гиря [пишет мать Достоевского мужу из деревни] свидетельствует тебе свое почтение и благодарит за память твою об ней, детям поручает сказать то же, прибавляя, что она исчезает. У нее кашель и она думает, что это чахотка». Михаил Андреевич в ответном письме благодарит няню за память и шутит над ее «чахоткой» (надо знать, что он какую-нибудь неделю перед тем пускал ей кровь и видел, в каком она была тогда состоянии), говоря, что благодаря «чахотке» груза в ней убавится на три пуда и легче будет перевозить ее осенью в Москву, хотя еще и останется, страшно сказать, сорок два пуда.

¹⁶⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. X. С. 140.

¹⁷⁾ Достоевский А. М. Воспоминания. Л., 1930. С. 108.

¹⁸⁾ *Иб.* С. 361.

¹⁹⁾ *Иб.* С. 90.

Недоразумением объясняется и вывод Гроссмана о слащавой сентиментальности Михаила Андреевича.

Отец и мать Достоевского родились и выросли в век расцвета сентиментализма, и он и она были очень сентиментальны. Сентиментальны были и старшие сыновья их, в том числе Федор Михайлович и в своих «Бедных людях» (1845 г.), и «Белых ночах» (1848 г.), и в некоторых своих ранних письмах.

Когда Гроссман писал свой отзыв, не был еще напечатан ряд писем родителей Достоевского. Теперь, когда этот пробел заполнен и мы можем прочесть все эти письма в воспоминаниях брата Достоевского, легко убедиться, что мать и отец Достоевского были одинаково сентиментальны и что у отца Достоевского нельзя найти какого-либо особенно сильного или неприятного проявления чувствительности.

До некоторой степени выводы Гроссмана справедливы, но с оговоркой, что они всецело относятся ко второй половине 1837 года, к 1838 и 1839 годам, то есть к тому времени, когда мать Достоевского умерла, отец отвез Федора Михайловича и его старшего брата в Инженерное училище, вышел в отставку и зажил в деревне. Но тогда Федор Михайлович больше не видел отца, да и детство его уже кончилось, так как отец отвез его шестнадцатилетним в Петербург.

Однако и для последних лет жизни Михаила Андреевича рассказы, например, о скупости отца Достоевского сильно преувеличены. В первые годы жизни Достоевского доходы его отца по службе и частной практике были сравнительно хороши, но в 1831 году он купил село Даровое, и когда он в следующем 1832 году должен был для округления имения и избежания так называемой чересполосицы с чужими землями прикупить деревню Черемошню, то ему для этого пришлось заложить Даровое и занять денег у част-

ных лиц. В следующем 1833 году имение сгорело, и для застройки его вновь пришлось сделать новые долги; хотя дядя Куманин и помог им²⁰⁾, но возник вопрос о том, чтобы заложить и Черемошню²¹⁾, и в 1834 и 1835 годах отец Достоевских испытывал затруднения²²⁾. В 1837 году, когда он вышел в отставку и поселился в деревне, он потерял частную практику и, кроме пенсии, имел лишь небольшие доходы с заложенного имения. В 1838 году его тяготили неурожай и уплата сделанных еще в 1832 году долгов. (Покупка имения обошлась ведь в 12.000 рублей серебром, то есть на наши теперешние деньги 250.000 финских марок²³⁾.) В 1839 году перед смертью денежные дела Михаила Андреевича были тоже расстроены²⁴⁾, так что после смерти на могилу его был положен лишь камень без всякой надписи, окруженный деревянной решеткой²⁵⁾.

Когда он в своих письмах к 16- и 17-летнему Достоевскому пишет, что ему трудно посылать сыну деньги, то это вряд ли можно считать скупостью, тем более что из последнего его письма, отправленного дней за десять до смерти, видно, что он высылал Федору даже больше просимого им²⁶⁾.

Те выдержки из писем отца Достоевского к жене, которые Гроссман приводит в доказательство припадков мнительности и беспричинной тоски, просто объясняются случайной ревностью 48-летнего мужа к 35-летней жене²⁷⁾.

²⁰⁾ *Иб.* С. 51, 53, 59, 60.

²¹⁾ *Иб.* С. 82.

²²⁾ *Иб.* С. 357, 360, 361.

²³⁾ *Иб.* С. 364.

²⁴⁾ *Иб.* С. 87, 88.

²⁵⁾ *Иб.* С. 411.

²⁶⁾ *Иб.* С. 87.

²⁷⁾ *Иб.* С. 361, 91, 92, 93.

Третий сын Михаила Андреевича Андрей Михайлович в своих воспоминаниях, приведя ряд писем своих родителей, говорит: «...я вполне убежден, что кому случится прочесть письма отца, тот верно не назовет его человеком *угрюмым, нервным, подозрительным* <...> Напротив, он в семействе был всегда радушным, а подчас и веселым»²⁸⁾.

Если таким образом пройти один за другим все обвинительные пункты Гроссмана, то в конце концов останется только *вспыльчивость*, о которой Андрей Михайлович рассказывает следующее: «Отец, при всей своей доброте, [во время занятий латинским языком со старшими сыновьями] был чрезвычайно взыскателен и нетерпелив, а главное, очень вспыльчив. Бывало, чуть какой-либо со стороны братьев промах, так сейчас разразится крик. Замечу тут кстати, что, несмотря на вспыльчивость отца, в семействе нашем принято было обходиться с детьми очень гуманно, и <...> нас не только не наказывали телесно, — никогда и никого, — но даже я не помню, чтобы когда-либо старших братьев ставили на колени или в угол. Главнейшим для нас было то, что отец вспылит. Так и при латинских уроках, при малейшем промахе со стороны братьев, отец всегда рассердится, вспылит, обзовет их лентяями, тупицами; в крайних же, более редких случаях, даже бросит занятия, не докончив урока, что считалось уже хуже всякого наказания. Бывало при этих случаях, помню, что маменька только посматривает на меня и дает мне знаками намеки, что вот, мол, и тебе тоже будет!.. Но увы, хотя [латинская] грамматика <...> и перешла ко мне, но начало латинской премудрости мне суждено было узнать не из уроков папеньки, а в пансионе Чермака.

²⁸⁾ Иб. С. 93, 94.

Вероятно, это гуманное отношение к нам, детям, со стороны родителей и было поводом к тому, что при жизни своей они не решались поместить нас в гимназию, хотя это стоило бы гораздо дешевле. Гимназии не пользовались в то время хорошою репутациею, и в них существовало обычное и заурядное, за всякую малейшую провинность, наказание телесное. Вследствие <...> [этого] и были предпочтены [дорогие] частные пансионы».

В такой же дорогой пансион отдана была и сестра Варенька (а именно в школу при лютеранской церкви Петра и Павла, пользовавшуюся с давних пор в Москве «заслуженною славой»²⁹⁾).

Таким образом, от всей постройки Гроссмана остаются только вспыльчивость, нетерпеливость отца во время продолжавшихся полгода или год уроков латинского языка.

Но такая вспыльчивость сама по себе не в состоянии испортить отношение детей к родителям. Хотя детям в минуту вспыльчивости отца и неприятно, но они как-то инстинктивно чувствуют, что отец не зол на них, а сердится одними нервами. Помню из собственного детства, как отец мой бывал вспыльчив, и все же воспоминания мои о детстве самые счастливые и память об отце для меня и очень дорога и священна. Да и Андрей Михайлович, как вы видите, хотя и наблюдал вспышки отца, несмотря на то жалеет, что не отец учил его латинскому языку.

До смерти своей жены, матери Достоевского, Михаил Андреевич был на самом лучшем счету у товарищей и начальства, и когда жена его лежала больною, его коллеги во главе с главным врачом больницы каждый день утром и вечером осматривали больную и

²⁹⁾ *Иб.* С. 66.

делали консилиум³⁰⁾, а по смерти жены начальство предложило Михаилу Андреевичу место старшего врача больницы, но убитый горем отец Достоевского решил уже выйти в отставку и поселиться в деревне и отказался поэтому от места³¹⁾. К такому чудовищу, каким изобразил Михаила Андреевича Гроссман, отношение, конечно, было бы совсем иное.

Внук Михаила Андреевича Андрей Андреевич на основании известных ему данных так изображает своего деда: «Воспоминания [отца моего] Андрея Михайловича рисуют патриархальный быт семьи, где главенствует отец, а мать — добрейшее существо — является лицом, примиряющим детское свободолобие со строгими правилами уклада домашней жизни. <...> Отец <...> [очень добр, и потому, несмотря на строгость и вспыльчивость], отнюдь не внушает детям панического страха перед собой. Они охотно, без всякого стеснения, делятся с ним своими детскими впечатлениями и наблюдениями и абсолютно ничего не скрывают от него. [Даже] в юношеском возрасте [когда он фактически изменился] они относятся к нему как к другу и в письмах своих беседуют с ним совершенно откровенно на разные темы, их волнующие. Старший сын Михаил Михайлович даже пересылает ему для одобрения образцы своих юношеских литературных упражнений, и это именно дружеское отношение к отцу, а [отнюдь] не какое-либо неприязненное или даже просто официальное, проглядывает и в письмах старших братьев между собою».

Судя по его письмам, Михаил Андреевич «первый всегда волнуется тем, когда кто-нибудь из близких нуждается в деньгах; когда надо получать деньги с крестьян, он подходит к этому очень деликатно и

³⁰⁾ *Иб.* С. 77.

³¹⁾ *Иб.* С. 412.

пишет жене 23 августа 1834 года: “Поговори, милая, мужикам, не уплатят ли хотя некоторые из них хоть сколько-нибудь денег”³²⁾.

Когда крестьяне погорели и приказчик приехал рассказать об этом Михаилу Андреевичу, его «...отправили назад с обещанием от родителей, что они последнюю рубашку свою поделят с крестьянами. Это, [рассказывает Андрей Михайлович] помню, были слова папеньки, которые он несколько раз повторял Григорию, — велел передать их крестьянам». И обещания эти не остались пустыми словами. «Маменька каждому хозяину выдала на усадьбу [от папеньки] по пятьдесят рублей. Тогда это деньги были очень большие». Крестьяне все повеселели, и через неделю же закипела работа, «к концу лета деревня наша была обштрое-на с иголки»³³⁾.

Когда сыновья слышали об убийстве отца, это произвело на них потрясающее впечатление. Дочь Достоевского рассказывает в своих воспоминаниях, что, по семейным преданиям, Федор Михайлович перенес свой первый эпилептический припадок, получив известие о насильственной смерти отца³⁴⁾. Первое письмо Достоевского после смерти отца не сохранилось, но в письме своем к старшему брату Михаилу от 16 августа 1839 года он признается: «Милый брат! Я *пролил много слез о кончине отца*», в письме к дяде говорит о «горестной смерти отца моего», и печать на письме черного сургуча³⁵⁾.

А старший сын Михаил Михайлович через три недели после смерти отца пишет дядюшке Куманину:

³²⁾ Ib. С. 6–8.

³³⁾ Ib. С. 60, 61.

³⁴⁾ Dostojewski schildert von seiner Tochter Aimée Dostojewski. München, 1920. S. 44.

³⁵⁾ Достоевский Ф. М. Письма. Т. II. С. 549–552.

«Подивитесь предчувствию души моей: В ночь на 8 июня — я видел во сне покойного папинуку. Вижу, что будто он сидит за письменным столиком и весь как лунь седой; ни одного волоса черного; я долго смотрел на него, и мне стало так грустно, так грустно, что я заплакал; потом я подошел к нему и поцеловал его в плечо, не быв им замеченным, и проснулся. Я тогда же подумал, что это не к добру, и не мало беспокоился, не получая от папинуки <...> письма <...> Боже мой! Боже мой, какую ужасною смертью умер папинука! два дня на поле... может быть, дождь, пыль ругались над бренными останками его; может быть, он звал нас в последние минуты, и мы не подошли к нему, чтобы смежить его очи. Чем он заслужил себе конец такой! Пусть же сыновние слезы утешат его в той жизни! <...> Слезы мешают писать мне далее...» А в приписке к сестре Варваре, жившей у дяди, он пишет: «Бедная Варинька! Ты потеряла лучшего друга и нежнейшего из отцов»³⁶⁾.

Понятно, что такие слова не пишут о своем отце, если он хоть немного напоминает собой портрет Гроссмана.

Андрей Михайлович Достоевский, кончая свой рассказ об отце, говорит: «В заключение не могу не упомянуть о том мнении, какое брат Федор Михайлович высказал мне о наших родителях. Это было не так давно, а именно в конце 70-х годов; я как-то, бывши в Петербурге, разговорился с ним о нашем давно прошедшем и упомянул об отце. Брат мгновенно воодушевился, схватил меня за руку повыше локтя (обыкновенная его привычка, когда он говорил по душе) и горячо высказал: “Да знаешь ли, брат, ведь это были люди передовые... и в настоящую минуту

³⁶⁾ Достоевский А. М. Воспоминания. С. 414.

они были бы передовыми! А уж такими семьянинами, такими отцами... нам с тобою не быть, брат!"»³⁷⁾

А в письме к тому же Андрею Михайловичу Достоевский пишет 10 марта 1876 года (за пять лет до своей смерти): «Я, голубчик брат, хотел бы тебе высказать, что с чрезвычайно радостным чувством смотрю на твою семью. Тебе одному, кажется, досталось с честью вести род наш: твое семейство примерное и образованное, а на детей твоих смотришь с отрадным чувством. По крайней мере, семья твоя не выражает ординарного вида каждой среды и середины, а все члены ее имеют благородный вид выдающихся *лучших* людей. Заметь себе и проникнись тем, брат <...>, что идея неперменного и высшего стремления *в лучшие люди* (в буквальном, самом *высшем* смысле слова) была основной идеей и отца и матери наших, несмотря на все уклонения»³⁸⁾.

5-я лекция, 3 ноября 1931 года

В своей «Истории Государства Российского» Карамзин дает, можно сказать, классический пример того, как не следует писать характеристики исторических лиц. Не справившись «с диаметрально противоположными данными касательно Ивана Грозного (с одной стороны — в летописях, с другой — в сочинениях князя Курбского, самого Грозного и сказаниях иностранцев)», Карамзин «дал двух Иванов IV» — одного до 1560 года (когда 30-летний тогда Иван потерял свою первую жену Анастасию Романовну), изображенного Карамзиным как «*образец добродетели*», и другого *грозного* царя в течение следующих двадцати четырех лет до смерти, представленного Карамзиным как

³⁷⁾ Ib. С. 94.

³⁸⁾ Ib. С. 403.

«чудовище, затмившее своими злодеяниями самых страшных тиранов древности»¹⁾.

Подобная характеристика, понятно, недопустима, и позднейшие историки доказали, что указанных двух диаметрально противоположных Иванов на самом деле вовсе не было, что уже в отроке Иване заметны были «необыкновенная впечатлительность, порывистость, страстность, влекущая к наслаждениям и жестокостям, доставлявшим тоже наслаждение», что «в числе природных свойств его личности» была, между прочим, и «необыкновенно острая чувственность», которая «главным образом и содействовала развитию в нем чрезвычайной психической импульсивности» и необыкновенной неуравновешенности²⁾, что, другими словами, «чудовище» второй половины жизни Иоанна Грозного подготовлено было свойствами, отличавшими его уже в первой половине.

То, что я здесь говорил об Иоанне Грозном, в малом масштабе применимо и к отцу Достоевского.

С моей стороны было бы грубой ошибкой, если бы я представил вам Михаила Андреевича детских и отроческих лет Достоевского ангелом во плоти, страдавшим лишь припадками вспыльчивости, а Михаила Андреевича после смерти жены — деспотом и самодуром, своей жестокостью вызвавшим убийство его крепостными. Понятно, у Михаила Андреевича первого периода были задатки Михаила Андреевича второго периода.

Мы можем даже отметить вероятные причины развития отрицательных сторон второго периода жизни Достоевского—отца. Дело в том, что в роду Достоевских нас поражает множество физических и психических дефектов: старший и самый младший братья

¹⁾ *Фирсов Н.* Карамзин // Энциклопедический словарь: В 58 т. / Бр. А. и И. Гранат. Т. 23. С. 464.

²⁾ *Фирсов Н.* Иван IV // Там же. Т. 21. С. 404.

Достоевского были алкоголиками, старшая из его сестер Варвара страдала болезненной, переходившей в ненормальное, скупостью. Среди сыновей и внуков старшего брата точно так же имелись алкоголики, сын сестры Варвары был почти идиот. Один из собственных детей Достоевского умер в припадке падучей болезни, его дочь Любовь Федоровна отличалась большою нервностью и многими странностями. Во всем роде Достоевских было много чрезвычайно нервных особей, сам Достоевский был эпилептиком.

Все это невольно наводит на мысль, не был ли дед Достоевского, отец Михаила Андреевича, украинский священник Андрей Достоевский, из дома которого 15-летний Михаил Андреевич бежал в Москву³⁾, алкоголиком? Дело в том, что научными исследованиями доказано: как раз в потомстве сильных алкоголиков возникают такие дефекты, какие встречаются в роду Достоевских⁴⁾. Наследственный алкоголизм проявляется иногда очень рано, как у младшего брата Достоевского Николая, иногда значительно позже, как у старшего брата Михаила. У Михаила Андреевича он, по-видимому, дал о себе знать лишь в возрасте пятидесяти лет, после смерти его жены, и тогда же, так как задерживающие центры мозга при алкоголизме сильно ослабляются, проявились в сильной степени и другие недостатки, существовавшие у Михаила Андреевича ранее лишь в зародыше.

Сделав эту оговорку, я опять должен подчеркнуть, что для нас важно не то, каким в конце концов стал Михаил Андреевич, а то, каким он был именно в то время, когда будущий писатель жил дома. И подобно тому, как мы можем сказать, что будущий Иван Грозный, «напуганный» в юношеские годы и «потре-

³⁾ Dostojewski geschildert von seiner Tochter A. Dostojewski. S. 17.

⁴⁾ *Tigerstedt, Robert.* Om spritdryckerna // Skrifter utg. av Samfundet Folkhalsan i Svenska Finland. I. Helsingfors, 1921. S. 56, 57.

сенный до глубины души страшным московским пожаром и народным бунтом» (и смягченный любовью к своей первой жене Анастасии Романовне), «скрепился, подавил в себе бурные порывы и подчинился указаниям опытных советников»⁵⁾, в том числе Сильвестру и Адашеву, и благотворному влиянию своей жены, так и Михаил Андреевич Достоевский под влиянием сильной любви к своей жене, матери Достоевского, любви, о которой свидетельствует чуть ли не каждая строчка его писем, сдержал и проявление алкоголизма и проявления тех свойств своей природы, которые потом проявились в последние два года его жизни.

Смерть жены произвела на него потрясающее впечатление. Первое время он, весь поглощенный заботами о снаряжении старших детей и отвозом их в Петербург, а потом хлопотами по переселению в деревню, еще переносил свое несчастье нормально, но по переезде в деревню, где к тому времени успели уже прекратиться осенние работы, он оказался закупоренным в двух-трех комнатах деревенского помещения без всякого общества. И вот тут горе его ничем более не сдерживалось.

«По рассказам няни Алены Фроловны, он в первое время даже доходил до того, что вслух разговаривал, предполагая, что говорит с покойной женой, и отвечая себе ее обычными словами!.. От такого состояния <...> не далеко и до сумасшествия!»⁶⁾ В это-то время он и начал злоупотреблять спиртными напитками.

Но привычка сдерживать себя в присутствии детей была так сильно в нем укоренена, что 13-летний Андрей Михайлович, несмотря на то, что прожил с отцом все последнее лето его жизни, то есть лето

⁵⁾ Фирсов Н. Иван IV. С. 407.

⁶⁾ Достоевский А. М. Воспоминания. С. 109.

1838 года, «ничего ненормального в жизни отца не заметил»⁷⁾.

Итак, нисколько не желая выставлять отца Достоевского каким-либо образцовым семьянином, я, однако, позволяю себе утверждать, что во все время детства и отрочества Достоевского у отца его, кроме вспыльчивости, не заметно было, не проявилось никаких таких черт характера, которые отразились бы тяжелым образом на детях.

Не видим мы и в портрете отца Достоевского доказательств какой-либо *врожденной угрюмости*, и совершенно несправедливы следующие слова Гроссмана об этом портрете: «Он изображает довольно <...> холодное лицо с <...> строгим взглядом под мефистофельски очерченными бровями. Высокий <...> воротник <...> завершает впечатление холодной и недружелюбной официальности»⁸⁾.

Ничего холодно-официального, а тем более строгого, недружелюбного и мефистофельского в этом портрете не видно. Скорее портрет этот подтверждает утверждение Андрея Михайловича, что отец «был добрым»⁹⁾, «в семействе был всегда радушным, а подчас и веселым»¹⁰⁾.

А теперь мы можем перейти к детству Достоевского.

Вторая жена рассказывает в своих воспоминаниях, что Федор Михайлович «охотно вспоминал о своем счастливом, безмятежном детстве»¹¹⁾.

И чем больше знакомишься с детскими годами Достоевского, тем больше убеждаешься, что писатель, характеризуя сорок лет спустя свое детство словами

⁷⁾ Иб.

⁸⁾ Гроссман Леонид. Путь Достоевского. С. 23.

⁹⁾ Достоевский А. М. Воспоминания. С. 66.

¹⁰⁾ Иб. С. 93, 94.

¹¹⁾ Достоевская А. Г. Воспоминания. Л., 1925. С. 56.

«безмятежное» и «счастливое», нисколько не рисовал его в преувеличенно розовом свете, как иногда рисуются детство долго спустя, но что эти позднейшие слова точно передают впечатления ребенка Достоевского.

Особенно счастливо протекало время в деревне, где дети Достоевские провели шесть лет, а именно в 1832, 1833, 1834, 1835 и 1836 годах¹²⁾.

Уже поездки тогда составляли эпоху в жизни детей. К крыльцу дома подъезжала кибитка величиною чуть ли не с целый дом. Священник служит напутственный молебен. «Мы все [рассказывает Андрей Михайлович в своих воспоминаниях] усаживаемся в кибитку, кроме маменьки, которая едет с папенькой, провожавшим нас в коляске». У заставы «папенька окончательно прощается с нами, маменька, в слезах, усаживается в кибитку», крестьянин Семен Широкий, считавшийся любителем и знатоком лошадей, «отвязывает укрепленный к дуге колокольчик, и мы трогаемся, долго махая платками оставшемуся в Москве папеньке. Колокольчик звенит, бубенчики позвякивают, и мы <...> едем, любуясь деревенскою обстановкою»¹³⁾.

«Совершали эту поездку обыкновенно в двое суток, — на третьи. Во время поездок этих брат Федор бывал [от радости оживления] в каком-то лихорадочном настроении. Он всегда избирал место сидения на облучке [возле кучера]. Не бывало ни одной остановки, хотя бы на минуту, при которой брат не соскочил бы с брички, не обегал бы близ лежащей местности, или не повертелся бы с Семеном Широким около лошадей»¹⁴⁾.

«В деревне [продолжает Андрей Михайлович] мы постоянно почти были на воздухе, и исключая игр,

¹²⁾ Достоевский А. М. Воспоминания. С. 53.

¹³⁾ Иб. С. 52.

¹⁴⁾ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. С. 13 (первая пагинация).

проводили целые дни на полях, присутствуя и приглядываясь к трудным полевым работам. Все крестьяне любили нас очень, в особенности брата Федора. Он по своему живому характеру, — брался за все; то попросит водить лошадь с бороной, то погоняет лошадь, идущую в сохе, и т. п. Любил он также вступать в разговоры с крестьянами, которые всегда охотно с ним говорили; но верхом удовольствия его было исполнить какое-либо поручение, или сделать одолжение, и быть чем-нибудь полезным. Я помню, что одна крестьянка, вышедшая на поле жать, вместе с маленьким ребенком в люльке, пролила нечаянно жбанчик воды, и бедного ребенка нечем было напоить. Брат [Федя] сейчас же взял жбанчик, сбегал в деревню (версты [за] $1\frac{1}{2}$) за водою, и принес к радости матери полный жбан воды. Он сам знал, что его любили [и был счастлив этим]. Сцена, описанная им с такою теплотою в «Дневнике писателя», с крестьянином Мареем <...>, [который так любовно утешал испуганного мальчика] достаточно рисует эту любовь»¹⁵⁾.

Маленький флигелек, в котором Достоевские жили в деревне, состоял всего «из трех небольших комнат»¹⁶⁾, но дети проводили почти все время на открытом воздухе. Домик был расположен в липовой роще, довольно большой и тенистой. Роща эта через небольшое поле примыкала к очень густому березовому лесу. С другой стороны помянутого поля был расположен большой фруктовый сад десятинах на пяти. Березовый лесок с самого начала очень полюбился брату Феде, так что впоследствии в семье его называли «Фединою рощею». Позади фруктового сада и березового леса находилась громадная ложбина, в которой вырыт был довольно глубокий пруд. В этом пруду «...мы летом ежедневно по три, по четыре раза купывались. <...>

¹⁵⁾ *Иб. С. 15.*

¹⁶⁾ *Достоевский А. М. Воспоминания. С. 54.*

На этом же пруду <...> мы часто лавливали удочкою рыбу».

«В липовой роще с перебегами через поле в <...> [Федину рощу] происходили все наши детские игры [продолжает Андрей Михайлович свои воспоминания]. Брат Федя, тогда уже много читавший, вероятно, ознакомился с описанием жизни дикарей. “Игра в диких” и была любимой нашею игрою. Она состояла в том, что, выбравши в липовой роще место более густое, мы строили там шалаш, укрывали хворостом и листьями и делали вход в него незаметным. Шалаш этот делался главным местопребыванием *диких племен*; раздевались донага и расписывали себе тело красками на манер татуировки; делали себе поясные и головные украшения из листьев и выкрашенных гусиных перьев и, вооружившись самодельными луками и стрелами, производили воображаемые набеги на <...> [Федину рощу], где, конечно, были находимы нарочно помещенные там крестьянские мальчики и девочки. Их забирали в плен и держали до приличного выкупа в шалаше. Конечно, брат Федор, как выдумавший эту игру, был всегда главным предводителем племени. <...> Раз, помню, что в отличную сухую погоду, маменька, желая продлить нашу игру и наше удовольствие, решила не звать нас к обеду и велела отнести дикарям обед на воздух в особой посуде и поставить его где-нибудь под кустами. Это доставило нам большое удовольствие, и мы поели без помощи вилок и ножей, а просто руками, как приличествовало диким. <...>

Другая игра, тоже выдуманная братом Федею, была игра в “Робинзона”. В эту игру мы играли с братом вдвоем; и, конечно, брат Федя был Робинзоном, а мне приходилось изображать Пятницу. Мы усиливались воспроизвести в нашей липовой роще все те лишения, которые испытывал Робинзон на необитаемом острове.

Практиковалась также и простая игра в лошадки; но мы умудрялись делать ее более интересною. У каждого из нас была своя тройка лошадей, состоя[вш]ая из крестьянских мальчиков и при нужде из девочек, которые, как кобылки, <...> [допускались] к упряжи впристяжку. Эти тройки были всегдашнею нашею заботою, <...> [так как надо было] получше и посытнее накормить их. А потому всякий день <...> [во время обеда] мы оставляли большую часть порций различных блюд каждый для своей тройки и после обеда отправлялись в свои конюшни под каким-нибудь кустом и выкармливали приносимое. Езда на этих тройках происходила уже не в липовой роще, но по дороге из нашей деревни [Даровое] в деревню Черемошню, и часто бывали устраиваемы пари с каким-нибудь призом для обогнавшей тройки»¹⁷⁾.

Когда братья Михаил и Андрей и сестра Варвара, с которыми Достоевский обыкновенно играл, были заняты чем-либо другим или когда у будущего писателя была потребность помечтать час-другой, он отправлялся один в липовую рощу или в березовый лес и проводил там время, приглядываясь ко всему окружающему.

Вот как он сам описывает более сорока лет спустя свои впечатления от таких одиноких прогулок («Дневник писателя» за 1876 год, февраль): «Мнѣ припо[минает]ся августъ мѣсяцъ въ нашей деревнѣ: день сухой и ясный, но нѣсколько холодный и вѣтранный; лѣто на исходѣ <...> Я прошелъ за гумна и, спустившись въ оврагъ, поднялся въ <...> густой кустарникъ <...> [росший] до самой рощи. <...> и слышу какъ недалеко, шагахъ въ тридцати, на полянѣ, одиноко пашеть мужикъ. <...> [но теперь мне это] все равно, я весь погруженъ въ мое дѣло, я тоже занятъ <...> Занимають меня <...> букашки и жучки, я ихъ собираю, есть

¹⁷⁾ *Иб.* С. 54–57.

очень нарядные; люблю я тоже маленьких, проворных, красно-желтых ящериц, съ черными пятнышками, но змѣекъ боюсь. Впрочемъ змѣйки попадаютъ гораздо рѣже ящерицъ. Грибовъ тутъ мало; за грибами надо идти въ березнякъ и я собираюсь [туда] отправиться. И ничего въ жизни я такъ не любилъ, какъ лѣсъ съ его грибами и дикими ягодами, съ его букашками и птичками, ежиками и бѣлками, съ его столь любимымъ мною сырымъ запахомъ перетлѣвшихъ листьевъ. И теперь даже, когда я пишу это, мнѣ такъ и слышался запахъ нашего деревенскаго березника: впечатлѣнія эти остаются на всю жизнь»¹⁸⁾.

Гораздо ранее — всего десять лет спустя после своего пребывания в деревне — Достоевский рассказывает о том же, но не от собственного имени, а от имени героини своего первого произведения «Бедные люди» Варвары Доброселовой.

Отрывок этот очень понравился современной критике¹⁹⁾, но Достоевский выпустил его в позднейших изданиях романа. Вот он (изменяю здесь женский род на мужской):

«И зачѣмъ, бывало, бѣжишь далеко отъ селенья, гуляешь гдѣ-нибудь од[инъ]-одинешен[екъ], такъ что самыя строжайшія приказанія матушки не уходить одно[му] и безъ позволенія и ограничивать прогулку однимъ садомъ не останавливали меня?... Я и сам[ъ] не знал[ъ]; я съ дѣтства любил[ъ] быть въ уединеніи <...> Я помню, у насъ въ концѣ сада была роща, густая, зеленая, тѣнистая, раскидистая, обросшая тучною опушкой. Эта роща была любимымъ гуляньемъ моимъ <...> Тамъ щебетали такія веселенькія пташки, деревья такъ привѣтно шумѣли, такъ важно качали

¹⁸⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. X. С. 56–57.

¹⁹⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Пг.: Просвещение, 1911–1918. Т. 22 (дополнительный). Забытые и неизвестные страницы. С. 4, 5.

раскидистыми верхушками, кустики, обѣгавшіе опушку, были такіе хорошенькіе, такіе веселенькіе, что, бывало, невольно позабудешь запрещеніе, перебѣжишь лужайку какъ вѣтеръ, задыхаясь отъ быстрого бѣга, боязливо оглядываясь кругомъ, и въ мигъ очутишься въ рощѣ, среди обширнаго, необъятнаго глазомъ моря зелени, среди пышныхъ, густыхъ, тучныхъ, широко-разросшихся кустовъ. Между кустами чернѣютъ кое-гдѣ дикіе порубленные пни, тянутся высокія, неподвижныя сосны, раскидывается березка съ трепещущими говорливыми листочками, стоитъ вѣковой вязъ съ сочными, тучными, далеко-раскидывающимися вѣтвями, — трава такъ гармонически шелеститъ подъ ногой, такъ весело-весело звѣнять хоры вольныхъ, радостныхъ птичекъ — что и само[му], невѣдомо отъ-чего, станетъ такъ хорошо, такъ радостно, — но не рѣзко-радостно, а какъ-то тихо, молчаливо, задумчиво... Осторожно пробираешься въ чащу; — и какъ-будто кто зоветъ туда, какъ-будто кто туда манитъ, туда, гдѣ деревья чаще, гуще, синѣе, чернѣе, гдѣ кустарникъ мельчаетъ; и мрачнѣе становится лѣсъ, чернѣе и гуще пестрятъ гладкіе пни деревъ, гдѣ начинаются овраги, крутые, темные, заросшіе лѣсомъ, глубокіе, такъ что верхушки деревъ наравнѣ съ краями приходятся; — и чѣмъ дальше идешь, тѣмъ тише, темнѣе, беззвучнѣе становится. Сдѣлается и жутко и страшно, кругомъ тишина мертвая; сердце дрожитъ отъ какого-то темнаго чувства, а идешь, все идешь дальше, осторожно, боязливо, тихо; и только и слышишь какъ хруститъ подъ ногами валежникъ, или шелестятъ засохшія листья, или тихій, отрывистый стукъ скачковъ бѣлки съ вѣтки на вѣтку... Рѣзко напечатлѣлся въ памяти моей этотъ лѣсъ, эти прогулки потихоньку, и эти ощущенія — странная смѣсь удовольствія, дѣтскаго любопытства и страха....»²⁰⁾

²⁰⁾ Ib. С. 6, 7.

Вы видите из приведенных цитат, как безмятежно и счастливо протекало детство и отрочество Достоевского в деревне.

В играх с другими детьми, играх, которые он часто сам выдумывал, он находил исход своей прирожденной детской резвости, за которую родители называли его «настоящий огонь»²¹⁾ и о которой младшая сестра его Вера Михайловна, получившая потом в наследство село Даровое, где дети жили летом, рассказывает следующее: «Федор Михайлович ребенком был чрезвычайно резв и слыл в семействе “буяном”. Он придумывал всевозможные шалости, первый же в них попадался, но попавшись, никогда не отрекался»²²⁾.

Исход для своей энергии и для доброго своего сердца находил он в разного рода помощи крестьянам.

Когда же будущий писатель желал предаться своим мечтам, он открыто или потихоньку уединялся в липовую и березовую рощу и там мечтал и наблюдал природу. В скобках сказать, во время этих уединенных прогулок у Достоевского выработалось сильное *чувство природы*, которое критики Достоевского обыкновенно отрицают — только оттого, что описания природы у него менее часты, чем у Толстого и Тургенева. Чтобы убедиться в том, что чувство природы у Достоевского на самом деле было развито очень хорошо, достаточно вспомнить хотя бы описание звездной ночи в монастырском скиту, когда Алексей Карамазов бросается обнимать землю, рассказы старца Зосимы о своем брате или о ночи, проведенной им с крестьянским парнем на берегу реки (в «Братьях Карамазовых»)²³⁾, или рассказ хромой жены Ставрогина Марьи

²¹⁾ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 8 (первая пагинация).

²²⁾ Гроссман Леонид. Достоевский на жизненном пути. С. 27.

²³⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. XII. С. 430, 431, 344, 350.

Тимофеевны о том, как она смотрела с горы на заход солнца (в романе «Бесы»)²⁴⁾, или, наконец, как милый Тришатов в «Подростке» припоминает заход солнца в деревне²⁵⁾.

Отрицать то, что отрок Достоевский в деревне был счастливым веселым мальчиком среди других таких же детей, нельзя.

Гроссман поэтому в своей биографии попросту замалчивает игры Достоевского с братьями и крестьянскими детьми, чтобы этот веселый штрих не нарушал той картины мрачного детства, которую он рисует для Достоевского.

Но ведь восемь месяцев года Достоевский проводил в городе. Мог ли он там быть резвым веселым ребенком среди других детей? На первый взгляд — нет. Даже брат Достоевского Андрей Михайлович говорит, что детям в больничном саду было запрещено играть в шумные игры (вероятно, чтобы не тревожить больных) и что они поэтому играли лишь в лошадки, сверх того он отмечает, что среди детей служащих не было, кроме сына главного врача Петеньки Рихтера, сверстников, так что они должны были довольствоваться играми между собою²⁶⁾. Но, во-первых, их — детей, игравших вместе, — было уже четверо, а с сыном Рихтера пять, во-вторых, мы видим, как разнообразил Федя Достоевский в деревне даже такую простую игру, как в лошадки, в-третьих, тот же Андрей Михайлович в другой связи рассказывает, как они даже у себя в квартире играли в жмурки, в горелки, водили хороводы, а во время Пасхи катали яйца, в особенности, когда родители отсутствовали, причем Андрей Михайлович подчеркивает, что не они,

²⁴⁾ *Иб.* Т. VII. С. 140.

²⁵⁾ *Иб.* Т. VIII. С. 450.

²⁶⁾ *Достоевский А. М.* Воспоминания. С. 49.

дети, стеснялись родителей, а игравшие с ними другие дети или молодая прислуга. Андрей Михайлович прибавляет, что маменька, уезжая из дому, всегда говорила няне: «Уж ты, Алена Фроловна, позаботься, чтобы дети повеселились!»²⁷⁾

В праздничные же дни, в особенности в святки, дети играли вместе с родителями в карты. «И это [говорит Андрей Михайлович] было такое удовольствие, такой праздник, что помнилось об этом долго!»²⁸⁾

Есть, однако, у нас указание и на то, что и в больничном саду и на больничных дворах дети играли не только в лошадки.

Сын известного профессора истории Каченовского (1775–1842) Владимир Каченовский (28. III. 1826–1892) рассказывает в своих воспоминаниях, что мать его была в дружеских отношениях с женою одного из больничных врачей и, посещая свою подругу, нередко брала с собою своих детей. Пока матери разговаривали, «мы, дети, [рассказывает Каченовский] спешили в тенистый сад больницы и вмешивались в группы играющих детей местных медиков и служащих. Как теперь помню, [прибавляет Каченовский] в числе их двух белокурых мальчиков <...> Для игр они выбирали себе более подходящих к ним по возрасту товарищей и становились их руководителями. Авторитет их между играющими был замечен и для меня, ребенка. Эти дети были Федор и Михаил Достоевские»²⁹⁾.

Через некоторое время после того 8-летний Каченовский поступил (в 1834 г.) в тот же пансион Чермака, где учились Достоевские, и пробыл три года в одной школе с ними. Так как Достоевский при этом,

²⁷⁾ Иб. С. 47.

²⁸⁾ Иб. С. 46–47.

²⁹⁾ *Каченовский Вл.* Мои воспоминания о Ф. М. Достоевском // Московские Ведомости. 1881. № 31. С. 4. Стлб. 1–3.

как мы, может быть, увидим дальше, сыграл довольно большую роль в жизни мальчика, можно полагать, что он, несмотря на свой ранний возраст, довольно хорошо запомнил все, что связано с братьями Достоевскими, а в таком случае его воспоминания говорят нам довольно много. Главное, они дополняют воспоминания Андрея Достоевского.

Мы видим из них, что в то время как 6–7–летний Андрюша, как он то рассказывает, чинно прогуливался с няней или, усевшись на скамейке, проводил целые часы, делая различные «кушанья» из песка, смоченного водою³⁰⁾, или же, наконец, с 5–летнею Верою играл в «лошадки», погодки Михаил и Федя Достоевские, которым тогда было 11–12 лет, с детьми других служащих, к которым принадлежал, вероятно, не один только Петенька Рихтер, играли с Каченовскими в иные, более шумные игры и играли, по всей вероятности, довольно часто, а то бы они не были, как помнит то Каченовский, *руководителями* игр, пользовавшимися среди других детей заметным авторитетом.

Как Гроссман замолчал все игры в деревне, так ни словом не упоминает он и о всех играх в городе. Молчит он также и еще об одной стороне детской жизни Достоевского, весьма дорогой для всякого ребенка, а именно о сказках, которые рассказывались детям и которые так важны для развития фантазии будущего писателя.

Андрей Михайлович вот что пишет об этом в своих воспоминаниях: «Из всех детей своих <...> матушка кормила сама только одного старшего брата Михаила <...>, всех же прочих детей кормили наемные кормилицы»³¹⁾.

³⁰⁾ Достоевский А. М. Воспоминания. С. 49.

³¹⁾ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 8 (первая пагинация).

«Эти <...> бывшие кормилицы ежегодно (по преимуществу зимою) приходили к нам в гости раза по два. Приход их для нас, детей, был настоящим праздником. Они приходили из ближайших деревень, всегда на довольно долгое время и гасивали у нас дня по два, по три. Как теперь, рисуется в моих воспоминаниях следующая картина: <...> зимним утром является к маменьке в гостиную няня Алена Фроловна и докладывает: “Кормилица Лукерья пришла”. Мы, мальчишки, из залы вбегаем в гостиную и бьем в ладоши от радости. “Зови ее”, — говорит маменька. И вот является <...> [бывшая кормилица] Лукерья. Первым делом помолится иконам и поздоровается с маменькой; потом перецелует всех нас; мы же буквально повиснем у нее на шее; потом обделит нас всех деревенскими гостинцами <...>; но вслед за тем удаляется опять в кухню: детям некогда, они должны утром учиться. Но вот настают сумерки, приходит вечер... Маменька занимается в гостиной, папенька тоже в гостиной занят выпискою рецептов в скорбные листы (по больнице), которые ежедневно приносились ему массаами, а мы, дети, ожидаем уже в <...> (неосвещенной) зале прихода кормилицы. Она является, усаживаемся все в темноте на стулья, и тут-то начинается рассказывание сказок. Это удовольствие продолжается часа по три, по четыре, рассказы передавались почти шепотом, чтобы не[слишком] мешать родителям. Тишина такая, что слышен скрип отцовского [гусиного] пера. И каких только сказок мы не слыхивали, и названий теперь всех не припомню; тут были и про Жар-птицу, и про Алешу-Поповича, и про Синюю Бороду, и многие другие. Помню только, что некоторые казались <...> [нам] очень страшными. К рассказчицам этим мы относились и критически, замечая, например, что Варина кормилица хотя и больше знает сказок,

но рассказывает их хуже, чем Андриюшина, или что-то подобное»³²⁾.

Рассказывала сказки, но уже не народные, а из «Тысячи и одной ночи» и какая-то часто гостившая у них старушка Александра Николаевна. «Сказка так и лилась у нее за сказкой, и дети не отходили от нее»³³⁾.

Рассказывала, наконец, сказки и Алена Фроловна, хотя не так хорошо, как кормилицы³⁴⁾.

6-я лекция, 10 ноября 1931 года

Прошлый раз я пытался дать вам образ ребенка Достоевского, такого каким он был среди других детей, когда он выдумывал игры и руководил ими, резвился, проказил, как «настоящий огонь», купался 3-4 раза в день, удил рыбу, придумывал всевозможные шалости, но если попадался, то всегда открыто в них сознавался; пытался дать вам образ ребенка, любившего сказки и вместе с братьями и сестрами вбегавшего весело в комнату и бывшего от радости в ладоши, когда приходила кто-нибудь из рассказчиц; но я хотел тоже, чтобы вам запомнился ребенок, так же радостно бежавший полторы версты в одну и столько же в другую сторону, чтобы принести жбан воды для крестьянского младенца, и мальчик, уединявшийся иногда в сад, рощу и лес, наблюдавший жизнь насекомых, ящериц, змеек, белок, любовавшийся природой и любивший мечтать в уединении.

Перед нами ребенок, получающий здоровые, хорошие впечатления для будущей полезной деятельности.

Но этих впечатлений далеко не достаточно для будущего мирового гения, для человека, обладавшего,

³²⁾ *Достоевский А. М.* Воспоминания. С. 44-45.

³³⁾ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 9 (первая пагинация).

³⁴⁾ *Иб.* С. 8.

как он сам неоднократно о том говорил и писал¹⁾, «бездной тягучести и жизненности», такой «жизненностью», что ее «и не вычерпашь», «кошачь[ей] живучесть[ю]», для человека, оставшегося всегда надеющимся на будущее *жизнерадостным оптимистом*, несмотря на невозможные, просто сатанинские условия жизни.

Ему необходимо было уже в детстве обрести из ряда вон выходящие неисчерпаемые источники силы и свежести.

Перейду теперь к этим источникам.

Большинство из вас слышало имя французских писателей Эдмона и Жюль Гонкур (Эдмон, 1822–1896; Жюль, 1830–1870) и знает, что они писали вместе романы, но немногим, вероятно, известны подробности их дружбы. Между тем она началась уже с раннего детства, несмотря на разницу в восемь лет, и эта дружба была так сильна, они так необходимы были друг другу, так дополняли один другого, были такими идеальными сотрудниками, что с 1848 года, когда они вместе написали свое первое произведение, до 1870 года, когда умер младший брат, т. е. в течение двадцати двух лет, они всего один только раз расстались и то лишь на несколько дней. В это время они вместе собирали огромные коллекции редкостей, послуживших им материалом для целого ряда совместных произведений, касавшихся культурной истории XVIII века, и в течение этого времени они совместно же написали ряд романов из современной им жизни. По смерти Жюль Гонкура брат его Эдмон написал роман «*Les frères Zemganno*», где он, изображая братскую дружбу двух клоунов, косвенно прославляет свою дружбу

¹⁾ Письма от 18 июля и 14 сентября 1849 года (из Петропавловской крепости!!), от 1 апреля 1865 г. См.: *Достоевский Ф. М.* Письма. М.; Л., 1928. Т. I. С. 125, 127, 402.

с братом. Несколькими годами позже он издал письма младшего брата и их дневники.

Другим примером братской дружбы является дружба, соединявшая голландцев — братьев Винцента и Теодора ван Хог (van Gogh), из числа коих Винцент ван Хог известен как один из основателей современного экспрессионизма.

В России можно назвать известного анархиста Петра Кропоткина, много получившего от своей братской дружбы.

В жизни Достоевского огромную роль сыграла дружба, соединявшая его с его старшим братом Михаилом Михайловичем.

В отличие от братьев Гонкур, они были погодки, то есть между ними был всего один год разницы, который к тому же в значительной мере восполнялся тем, что старший брат Михаил, любимец матери, которая его, единственного из своих детей, сама выкормила²⁾, был «в детстве менее резв <...> менее горяч», а всю жизнь «менее энергичен»³⁾, чем младший брат Федор Михайлович.

Возникновению дружбы в сильной степени способствовали условия жизни братьев. Остановимся в этом отношении на описании домашней обстановки Достоевских. Жили они в нижнем этаже трехэтажного правого каменного флигеля московской Мариинской больницы⁴⁾. Квартира их все первые годы жизни писателя состояла всего из двух чистых комнат, кроме передней и кухни⁵⁾. «При входе из холодных сеней <...> помещалась *передняя* в одно окно (на чистый двор). В задней части этой довольно глубокой передней отделялось помощью дощатой столярной перегородки,

²⁾ Достоевский А. М. Воспоминания. С. 24.

³⁾ Иб. С. 43.

⁴⁾ Иб. С. 22.

⁵⁾ Иб.

не доход[ивш]ей до потолка, полутемное помещение для <...> [старших мальчиков — Михаила и Федора]. Далее следовал зал — довольно вместительная комната с двух окон на улицу и трех на чистый двор. Потом гостиная с двумя окнами на улицу, от которой тоже столлярною дощатою перегородкою отделялось полусветлое помещение для спальни родителей. Вот и вся квартира! Впоследствии, уже в 30-х годах, когда <...> [число детей достигло семи], была прибавлена к этой квартире еще одна комната с тремя окнами на задний двор, так что образовался и другой черный выход из квартиры, которого прежде не было. Кухня, довольно большая, была расположена особо, через холодные чистые сени; в ней помещалась громадная русская печь и были устроены полати; что же касается до кухонного очага с плитой, то об нем и помину не было. Тогда умудрялись <...> готовить и без плиты вкусные и деликатные кушанья. В холодных чистых сенях, частью под парадною лестницею, была расположена большая кладовая. Вот все помещение и удобства <...> квартиры.

Обстановка квартиры была тоже очень скромная: передняя с <...> [помещением за перегородкой] был[а] окрашен[а] темно-перловою [то есть жемчужною, белую с сизым отливом] клеевою краскою, зал — желто-канареечным цветом, а гостиная со спальней — темно-кобальтовым... Обои <...> тогда <...> [не употреблялись]. Три голландские печи были громадных размеров и сложены из так называемого ленточного изразца (с синими каемками). Обмеблировка тоже была простая. В зале стояли два ломберных стола (между окнами) <...> [Посреди залы] обеденный стол <...> и дюжины полторы стульев березового дерева под светлую политуру и с мягкими подушками из зеленого сафьяна <...> В гостиной помещался диван, несколько кресел, туалет маменьки, шифоньер[ка] и книжный шкаф. В спаль-

не <...> [родителей] кровать <...>, рукомойник и два громадных сундука с гардеробом маменьки <...> Стулья и кресла, по тогдашней моде, были громадных размеров, так что ежели сдвинуть два кресла, то на них легко мог улечься взрослый человек <...> [Диван] мог служить двуспальной кроватью <...> Гардин на окнах и портьер на дверях <...> не было; на окнах <...> были прилажены [лишь] белые коленкоровые шторы без всяких украшений»⁶⁾. «...зала была нашею семейною комнатою, где [мы] <...> учились и играли, обедали и пили чай. Гостиная же была нашею комнатою отдохновения. — Когда мы, дети, оканчивали свои уроки, то приходили в гостиную, и <...> усаживались вместе с родителями. [Отец заполнял скорбные листы] <...> мать работала, а дети читали вслух»⁷⁾.

В полутемном помещении за перегородкой в передней и завязалась та дружба, которая потом продолжалась сорок три года — до самой смерти старшего брата Михаила Михайловича.

Сюда приходили они вместе, помолившись в гостиной перед образами, здесь они вместе радовались и делились впечатлениями дня, вспоминали прочитанное, читали наизусть заученные днем стихи, особенно Пушкина, вместе восхищались ими, вместе обсуждали занятия следующего дня, причем инициатива, вероятно, уже в детстве, как всегда после в юные и зрелые годы, принадлежала младшему брату Феде. Вместе радовались они в ожидании поездок в Троице-Сергиеву Лавру или в деревню. Вместе повторяли они свои латинские уроки, чтобы отличиться перед отцом. Вместе обсуждали поступление в школу Сушара (Драшусова) и пансион Чермака.

⁶⁾ Ib. С. 22–24.

⁷⁾ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 7 (первая пагинация).

Отсюда мальчик Достоевский прислушивался, «рози-ня ротъ и замирая отъ восторга и ужаса какъ родители читали на сонъ грядущій [в гостиной] [страшные] романы Ратклифъ, отъ которыхъ... [он] потомъ бредилъ во снѣ въ лихорадкѣ»⁸⁾.

Отсюда они с братом с тревогой и беспокойством старались понять непонятные, смешанные с латынью разговоры врачей в зале о безнадежном положении любимой матери и делились своими догадками. Отсюда последние ночи жизни матери они с трепетом прислушивались к каждому стону, каждому покашливанию умирающей.

Здесь, в этой окрашенной темно-перловою краской передней, придумывали братья по поручению отца наиболее подходящую надпись на памятнике матери, пока не остановились на одной из карамзинских эпитафий (1792 года): «Покойся, милый прах, до радостного утра»⁹⁾.

Здесь, за перегородкой, братья чуть с ума не сошли, говоря о смерти своего любимца Пушкина, и Федор говорил старшему брату, что если бы они уже не носили семейного траура по матери, то он попросил бы отца надеть траур по Пушкине, и здесь повторяли они то стихотворение на смерть Пушкина, которое ходило тогда по рукам в Москве и которое они заучили наизусть (не Лермонтова, а какого-то неизвестного автора)¹⁰⁾.

Здесь готовились распрощаться с детством и отрочеством и оставить отчий дом, чтобы ехать в отдаленный Петербург, где им предстояла жизнь в полном одиночестве от родных.

⁸⁾ Достоевский Ф. М. Зимние заметки о летних впечатлениях // Полн. собр. соч. Т. III. Ч. 2. С. 4.

⁹⁾ Достоевский А. М. Воспоминания. С. 80.

¹⁰⁾ Там же. С. 78, 79.

Одним словом, здесь в детстве и отрочестве родилась и укоренилась та дружба между братьями, которая, по крайней мере, поскольку то касается Федора Михайловича, выдержала потом самые серьезные испытания и сохранилась у Достоевского до самой его смерти.

В Петербурге целый год братья прожили в подготовительном пансионе Костомарова. Здесь они вместе готовились к поступлению в Инженерное училище, вместе увлекались Шиллером и Бальзаком, вместе наслаждались дружбой с Шидловским, с которым все трое вместе молились час в Казанском соборе перед вступительным экзаменом (6 сентября 1838 года)¹¹⁾.

Потом Михаил Михайлович переехал на службу в Ревель и Свеаборг на целых девять лет, но Достоевский, когда только может, посещает его в Ревеле и проявляет самое заинтересованное внимание ко всей его жизни, помолвке и женитьбе на Эмилии Федоровне Дитмар, к рождению детей, причем по его совету даются детям имена, и он, разумеется, крестный отец первого же ребенка. Он советует брату все, что тому следует перевести из Шиллера и других писателей, и брат следует его советам.

Потом, по возвращении брата из Свеаборга в Петербург, они вместе посещают революционные собрания у Петрашевского.

Когда 23 апреля 1849 года по ошибке вместо старшего брата Михаила арестуют Андрея Михайловича, Достоевский уговаривает последнего не разоблачать до времени ошибки, чтобы брат Михаил имел время уничтожить все компрометирующие его документы и книги, и потом, когда арестованного через некоторое время Михаила освобождают, Достоевский на седьмом небе.

¹¹⁾ *Достоевский Ф. М.* Письма. Т. I. С. 45.

Все его письма к брату за годы разлуки дышат самой нежною заботливостью и любовью. Когда Достоевского отправляют в каторгу, он утешает остающегося на воле брата, и так все время.

Много раз я вам уже рассказывал, как старший брат Михаил оказался не на высоте этой дружбы и из трудности оставил Достоевского без денег и писем во время каторги. Достоевский все это ему простил и по возвращении из Сибири не только стал сотрудником брата по журналу «Время», но взял на себя самую значительную работу и трудился как вол, чтобы журнал, официальным редактором которого значился Михаил Михайлович, всегда был интересен и содержателен.

Много раз также говорил я вам, как Достоевский по смерти брата содержал его семью и заплатил адскую пятнадцатилетнюю работою все его громадные долги.

Когда только нужно было, он вступался при этом за память брата и защищал его от всяких нападок.

Даже в своих произведениях он не раз выражает собственные чувства братской дружбы и любви, описывая, например, отношение Алеши Карамазова к Ивану и Дмитрию.

Если Достоевский, таким образом, очень много дал своему брату, он, конечно, со своей стороны получил очень много от этой дружбы. Как много — легко поймет тот, кто сам испытал счастье иметь близкого друга, тем более если дружеская общность подкреплялась братским родством.

Говоря о совместных интересах друзей-братьев, я коснулся между прочим и влияния на них литературы. Теперь мне придется остановиться несколько на том, что дала ребенку и отроку Достоевскому русская и иностранная литература.

В последний год своей жизни Достоевский отвечает (18 августа 1880 г.) на письма Николая Лукича Озмидова, который просил посоветовать ему, что дать

читать своей дочери. Озмидов писал, что до того времени не давал читать дочери ничего литературного, боясь развить ее фантазию. В ответ на это Достоевский пишет: «Мне <...> кажется, что это не совсем правильно: фантазия есть природная сила в человеке, тем более во всяком ребенке, у которого она, с самых малых лет, преимущественно перед всеми другими способностями, развита и требует утolenия. Не давая ей утolenия, или умертвишь ее, или обратно, — дашь ей развиться, именно чрезмерно (что и вредно) своими собственными уже силами. Такая же натуга лишь истощит духовную сторону ребенка преждевременно. Впечатления же *прекрасного* именно необходимы в детстве».

И Достоевский вспоминает при этом свое собственное детство: «10-ти лет от роду я видел в Москве представление “Разбойников” Шиллера с [тогдашним лучшим актером] Мочаловым, и, уверяю вас, это сильнейшее впечатление, которое я вынес тогда, действовало на мою духовную сторону очень плодотворно. 12-ти лет, я в деревне, во время вакаций, прочел всего [известного тогда] Вальтер-Скотта, и пусть я развил [этим] в себе фантазию и впечатлительность, но зато и направил ее в хорошую сторону и не направил на дурную, тем более, что захватил с собой в жизнь, из этого чтения, столько прекрасных и высоких впечатлений, что, конечно, они составили в душе моей большую силу для борьбы с впечатлениями соблазнительными, страстными и растлевающими».

И Достоевский прибавляет: «Советую и вам дать вашей дочери теперь Вальтер-Скотта <...> [он] имеет высокое воспитательное значение. Диккенса пусть прочтет всего без исключения. Познакомьте ее [и] с литературой прошлых столетий (Дон-Кихот и даже Жиль-Блаз)». Переходя потом к русской литературе,

Достоевский настаивает: «Пушкина она должна прочесть всего, — и стихи, и прозу»¹²⁾.

И как раз Пушкин был, как мы уже видели, первой любовью ребенка Достоевского, любовью, которую Достоевский сохранил до последнего года жизни. Потому нам необходимо несколько остановиться на этой стороне знакомства Достоевского — ребенка и отрока — с литературой.

В своих воспоминаниях брат Достоевского Андрей Михайлович не устает подчеркивать то обстоятельство, что его старшие братья Михаил и Федор увлекались Пушкиным, знали наизусть чуть ли не все Пушкиным в то время напечатанное и горячо протестовали, особенно Федор Достоевский, против предпочтения, отдаваемого их родителями Жуковскому¹³⁾.

А Достоевский сам рассказывает в своем «Дневнике писателя» в январской книжке за 1876 г.¹⁴⁾, как он пятнадцатилетним отроком мечтал вместе с братом после смерти Пушкина посетить место поединка и пробраться в его квартиру, чтобы увидеть хоть ту комнату, в которой Пушкин испустил дух.

Что же, спрашивается, ребенок и отрок Достоевский мог прочесть и полюбить у Пушкина?

Андрей Достоевский отмечает в своих воспоминаниях, что в доме его родителей покупались для детей книжки начавшей выходить в 1834 году «Библиотеки для чтения». В 1835 году в этом журнале как раз были напечатаны «Сказка о золотом петушке» и «Сказка о рыбаке и рыбке». Уже эти два произведения, написанные столь красивым звучным стихом, могли привлечь внимание детей, так любивших слушать народные сказки.

¹²⁾ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 119 (третья пагинация).

¹³⁾ *Иб.* С. 24.

¹⁴⁾ *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. X. С. 32.

Народный дух, прекрасный язык, взятые из живой жизни типы и черты геройства и самопожертвования, которые всегда так привлекают отроков и юношей, должны были привлечь внимание старших детей Достоевских и к повестям Пушкина, из которых «Пиковая дама» напечатана во II томе «Библиотеки для чтения» за 1834 год, а «Капитанская дочка» и «Дубровский» несколько позже.

В этих произведениях отрок Достоевский, сам так любивший общаться с народом, мог восхищаться «любовью Пушкина къ народу русскому» и его *«преклонениемъ передъ правдой народа русскаго»*, о чем Достоевский вспоминает потом в «Дневнике писателя» за 1877 год в своей статье о Некрасове¹⁵⁾.

Баллады Пушкина, из которых он, по словам брата Андрея, постоянно читал наизусть «Песнь о вещем Олеге», декламируя ее неоднократно по просьбе смертельно больной матери¹⁶⁾, также могли привлечь внимание отрока, равно как и напечатанные в IX книжке «Библиотеки для чтения» за 1835 год «Песни западных славян».

Как мы увидим позже, Достоевский—отрок как раз тогда увлекался чтением «Истории Государства Российского» Карамзина. Естественно предположить, что Достоевский поэтому с восхищением прочел и напечатанную в то время драму Пушкина «Борис Годунов», прекрасным языком описывающую именно те события, которые, как мы увидим, более всего интересовали Достоевского у Карамзина.

Возможно также, что Достоевский уже тогда познакомился со стихами Пушкина из истории Англии, Германии и Испании «Скупой рыцарь», «Пир во время чумы», «Сцена из “Фауста”» и «Дон Жуан», которые он в своей Пушкинской речи приводил в доказатель-

¹⁵⁾ Иб. Т. XI. С. 422–423.

¹⁶⁾ Достоевский А. М. Воспоминания. С. 70.

ство того, что Пушкин обладал неслыханной и невиданной до него способностью *всемирной отзывчивости*, свойством *перевоплощаться вполне в чужую национальность*, свойством, которым, по мнению Достоевского, хотя и в менее значительной степени, обладает весь русский народ.

К числу этого рода стихотворений Пушкина не принадлежат, однако, столь любимые Достоевским впоследствии «Египетские ночи», так как с ними он познакомился не в родительском доме, а 16-летним юношей в Петербурге (они напечатаны были в ноябре 1837 года в «Современнике»).

Зато мы можем наверное сказать, что уже ребенком или отроком Достоевский познакомился с «Евгением Онегиным», которым тогда зачитывалась вся Россия и большая часть которого уже была напечатана, когда Достоевскому исполнилось девять лет.

И может быть, тогда уже под влиянием слов пушкинской Татьяны: «Я вас люблю (к чему лукавить?), Но я другому отдана; Я буду век ему верна» — у него впервые пробудилась общая ему и Бальзаку мысль, которой не только посвящена большая часть Пушкинской речи и разговора Ивана и Алеши Карамазовых в трактире, но которая присуща всему мировоззрению Достоевского и которую он, подобно Канту в его «Критике чистого разума», выражает словами:

«А развѣ можетъ человѣкъ основать свое счастье на несчастьи другого?»

«...не хочу быть счастливою, загубивъ другого!»

Нельзя «допустить хоть на минуту идею», что можно «осчастливить людей, дать имъ наконецъ миръ и покой»¹⁷⁾, жертвою хоть одного человеческого существа.

Наконец, вполне возможно, что заинтересованный Вальтером Скоттом и его романами из рыцарской жиз-

¹⁷⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. XI. С. 462–463.

ни мальчик Достоевский мог обратить внимание и на напечатанные уже тогда «Сцены из рыцарской жизни», на ту сцену, в которой рыцарь, увидев во сне поразившую его Деву Марию, мать Иисуса, начертал своей кровью начальные буквы слов «Ave Mater Dei» AMD на своем щите, посвятил свою жизнь подвигам в ее воспоминание, после войны лишь молился перед ее образом и до самого конца своей жизни думал лишь о ней, почему окружающие признали его безумным.

Стих этот так поразил Достоевского, что он потом избрал его символом живущего лишь для высших идеалов князя Мышкина в «Идиоте».

Этим стихотворением я позволю себе закончить настоящую лекцию.

Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой.
Он имел одно виденье,
Непостижное уму,
И глубоко впечатление
В сердце врезалось ему.
С той поры, сгорев душою,
Он на женщин не смотрел,
Он до гроба ни с одною
Молвить слова не хотел.
Он себе на шею четки
Вместо шарфа навязал
И с лица стальной решетки
Ни пред кем не подымал.
Полон чистою любовью,
Верен сладостной мечте,
А. М. Д. своею кровью
Начертал он на щите.
И в пустынях Палестины,
Между тем как по скалам
Мчались в битву паладины,

Именуя громко дам, —
Lumen coelum, Sancta Rosa!
Восклицал он, дик и рьян,
И как гром его угроза
Поражала мусульман.
Возвратясь в свой замок дальный,
Жил он строго заключен;
Все безмолвный, все печальный,
Как безумец умер он.

7-я лекция, 17 ноября 1931 года

Прошлый раз мы познакомились с тем положительным вкладом в жизни ребенка и отрока Достоевского, каким были дружба его со старшим братом и литература, особенно Пушкин, так любимый всегда Достоевским и так много давший ему в его жизни.

Прежде чем идти дальше, мне хотелось показать вам несколько книжек того журнала «Библиотека для чтения», о которых младший брат Достоевского говорит в своих воспоминаниях: «Как теперь помню эти книжки, менявшие <...> цвет своих обложек, на которых изображался загнутый верхний уголок с именами литераторов, поместивших статьи в этой книжке. Эти книги <...> были исключительным достоянием братьев»¹⁾.

Если брат Достоевского прав, что журнал этот был исключительным достоянием его старших братьев, то есть покупался его родителями только для них, то это свидетельствует и о хорошем вкусе родителей и лишний раз подтверждает всю неправильность легенды о «скудости» отца Достоевского.

«Библиотека для чтения» начала выходить в 1834 году, когда Достоевскому было двенадцать лет, и сотрудниками ее состояли лучшие писатели того времени: из поэтов — Пушкин, Жуковский, Батюшков, Бара-

¹⁾ Достоевский А. М. Воспоминания. С. 69.

тынский, Козлов, Языков, из числа других писателей — Гоголь, обещавший свое сотрудничество под псевдонимом «Рудый Панько», то есть тем псевдонимом, под которым были изданы «Вечера на хуторе близ Диканьки», Крылов, Одоевский, историки Грановский и Погодин и, наконец, из менее значительных, но тогда очень читаемых — Даль, писавший под псевдонимом «Казак Луганский», сказки которого, по воспоминаниям Андрея Михайловича, читались в семье Достоевских²⁾, Загоскин (его роман «Юрий Милославский», как и роман Лажечникова «Ледяной дом», хорошо знакомы братьям Достоевским), Масальский, роман которого «Стрельцы» вышел в 1832 году и также был прочитан Михаилом и Федором, Полевой, о произведениях которого «История» и «Уголино» пишет потом юноша Достоевский своему брату в Ревель³⁾ и которого цитирует в «Селе Степанчикове». В этом же журнале писали тогда очень читаемые, хотя и забытые теперь Марлинский, Кукольник, которого Достоевский упоминает в «Селе Степанчикове»⁴⁾, Шаховской.

Журнал выходил каждый месяц толстыми книжками, причем два месяца переплетались потом в один том с общим заглавием. Для нас эти книжки особенно дороги оттого, что с ними ассоциируется два дорогих имени: далеко еще недооцененный литературным миром Пушкин и общепризнанный мировым гением Достоевский.

Для последнего эти книжки с загнутым уголком обложки были источником очень и очень многих наслаждений, оставивших следы на всю его последующую жизнь и отразившихся так или иначе на многих из его последующих произведений. Здесь они с братом

²⁾ *Иб.*

³⁾ *Достоевский Ф. М.* Письма. Т. I. С. 47, 466, 467.

⁴⁾ Достоевский: Однодневная газета Русского библиологического общества. Пг., 1921. 30 октября (12 ноября). С. 14.

прежде всего набрасывались на произведения любимого Пушкина, который потом наперерыв заучивался ими наизусть и повторялся на сон грядущий за перегородкой в передней. Здесь же они впервые читали тех русских и иностранных писателей, мысли которых делались позднее их собственностью и оплодотворяли их собственные мысли.

Для Пушкина это был тот журнал, в котором он как раз тогда более всего *печатался*, так как собственный свой журнал «Современник» он начал издавать лишь в 1836 году, за год до смерти.

В двух из тех трех томов, что у вас теперь в руках, вы найдете из произведений Пушкина, кроме «Сказки о золотом петушке» и баллад «Будрыс и его сыновья» и «Воевода», такие известные вещи, как «Пиковая дама», подписанную тут только латинскою буквою «Р», и «Песни западных славян», из которых во всех школьных хрестоматиях печатаются лишь «Черногорцы» и «Вурдалак», хотя они наименее замечательны из числа этих «Песен».

Из числа других статей в этих томах отметим исторические статьи Погодина об Иоанне Грозном и Несторовых летописях, которые могли интересовать Достоевского как отчасти опровержения любимого им Карамзина, и статью Грановского о судьбах еврейского племени, позднее отражение которой мы находим потом в главе второй мартовской книжки «Дневника писателя» за 1877 год. В 9-м томе (март-апрель 1835 года) мы находим затем одну из сказок Даля, которые читались братьями Достоевскими.

Из иностранной литературы мы, кроме первой «Песни Миньоны» Гете, найдем переводы некоторых стихотворений Виктора Гюго. В то время как Гете остался так же чужд Достоевскому, как он навсегда остался чуждым Толстому, Виктор Гюго всегда производил на него очень сильное впечатление.

Имя Гете, правда, встречается на страницах «Дневника писателя»: например, в январской книжке 1876 года в главке о молитве великого Гете⁵⁾, где говорится о самоубийстве Вертера, и в романе «Подросток», где симпатичный Тришатов рассказывает о музыке к «Фаусту» Гете, которую ему хотелось бы создать⁶⁾. Но Долинин все же прав, когда в своих примечаниях к письмам Достоевского характеризует его упоминания Гете скорее как «дань общепризнанному великому писателю»⁷⁾, чем любовь к человеку, близкому по идеалам.

Совсем иное отношение Достоевского к Виктору Гюго. Долинин в упомянутых выше комментариях отмечает, что «вопрос о связи творчества Достоевского с Гюго научно, в сущности, даже еще не поставлен»⁸⁾, но это не значит, что к этому вопросу вовсе не подходили. Достаточно упомянуть хотя бы книгу Алисы Паниной «Dostojewski als Darsteller von Menschenleiden» (Freiburg i. B., 1923) — «Достоевский как описатель людских страданий», где автор все время проводит параллель между Достоевским и Виктором Гюго.

Начав свое знакомство с Виктором Гюго по книжкам «Библиотеки для чтения» и, может быть, журнала «Московский телеграф», который в конце 20-х и начале 30-х годов (журнал издавался Полевым в 1825–1834 гг.) особенно пропагандировал молодого французского поэта, Достоевский восторженно пишет о нем брату еще 16–17-летним юношей 9 августа 1838 года⁹⁾, в том же году 31 октября¹⁰⁾, защищая его против известного французского критика Низара, и два года спустя в письме от 1 января 1840 г.¹¹⁾, где сравнивает

⁵⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. X. С. 4.

⁶⁾ *Ib.* Т. VIII. С. 449–450.

⁷⁾ Достоевский Ф. М. Письма. Т. I. С. 466.

⁸⁾ *Ib.* С. 467.

⁹⁾ *Ib.* С. 47.

¹⁰⁾ *Ib.* С. 51.

¹¹⁾ *Ib.* С. 58.

Гюго с Гомером. Эти юношеские восторженные отзывы Достоевский нередко возобновлял в своих позднейших произведениях. Так, в 1861 году Достоевский в предисловии к переводу романа Гюго «Собор Парижской Богоматери» говорит, что основная мысль В. Гюго, высказанная им особенно сильно в «*Les misérables*» («Отверженные»), есть основная мысль *всего искусства девятнадцатого века*, чуть ли не первым провозвестником которой был В. Гюго¹²⁾. И Достоевский продолжает: «Это мысль христианская и высоко-нравственная; формула ея — восстановление погибшаго чело-вѣка, задавленнаго несправедливо гнетомъ обстоя-тельствъ, застоя вѣковъ и общественныхъ предразсуд-ковъ. Эта мысль — оправданіе униженныхъ и всѣми отринутыхъ парій общества». И Достоевский кончает словами: «Викторъ Гюго чуть ли не главный про-возвѣстникъ этой идеи “возстановленія” въ литературѣ нашего вѣка».

Не менее восторженно Достоевский говорит через пятнадцать лет, за четыре года до смерти, в предисловии к своему рассказу «Кроткая» в ноябрьской книжке «Дневника писателя» за 1876 год, где он называет «Последний день приговоренного к смертной казни» В. Гюго «шедевромъ» и «самымъ реальнѣйшимъ и самымъ правдивѣйшимъ произведеніемъ»¹³⁾ — похвала особенно сильная в устах Достоевского, самого пережившего чувства приговоренного к смерти.

В однодневной газете «Достоевский», изданной в 1921 году в день столетия со дня рождения Достоевского, Виктор Виноградов в прекрасной статье показал, что результат такого восторженного отношения к «Последнему дню приговоренного к смерти» налицо в написанном Достоевским четыремя годами ранее

¹²⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Пг.: Просвещение, 1911–1918. Т. 22. С. 229–230.

¹³⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. X. С. 372.

романе «Бесы»¹⁴⁾, где смерть Кириллова является лишь гениальной передачей последнего сна «приговоренного к смерти»¹⁵⁾.

Как отразился в творчестве Достоевского роман «Les misérables» («Отверженные»), о котором Достоевский отзывался не менее восторженно, который он, по словам Страхова¹⁶⁾ и Починковской¹⁷⁾, прочитал в подлиннике том за томом в неделю и перечитывал потом много раз в переводе, пока еще не выяснено, хотя намеки на это вы найдете в той же книге Паниной.

Наконец, в 9-м томе «Библиотеки для чтения» за март и апрель 1838 года вы найдете перевод романа Бальзака «Père Goriot» («Старик Горио»). Было ли это первым его произведением, прочитанным 13-14-летним Достоевским, трудно решить, но, во всяком случае, оно произвело на Достоевского огромное впечатление, и Бальзак, которого Достоевский позже увидел в 1843 году, когда тот провел в Петербурге три месяца, заехав в Россию, чтобы посетить графиню Ганскую, урожденную Ржевусскую, на которой потом женился, — Бальзак с этого времени, т. е. с детских лет, остался навсегда любимым писателем Достоевского. Осенью того же 1843 года, когда 22-летний Достоевский увидел в Петербурге Бальзака, он начал переводить его роман «Евгения Гранде», и этот перевод, опубликованный в следующем 1844 году в 6-й и 7-й книжках журнала «Репертуар и Пантеон», издававшегося отцом известного судебного деятеля Кони, является первым печатным трудом Достоевского.

В III выпуске произведений Леонида Гроссмана вы найдете прекрасную статью «Бальзак и Достоевский».

¹⁴⁾ Достоевский: Однодневная газета... С. 14-16.

¹⁵⁾ *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. VII. С. 601-603.

¹⁶⁾ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 244 (первая пагинация).

¹⁷⁾ Исторический вестник. 1904. Кн. II. С. 488-542.

К ней я отсылаю всех, кто пожелал бы ближе ознакомиться с тем, что роднит этих двух писателей. Отмечу только, что уже 16–17-летний Достоевский писал 9 августа 1838 года своему брату: «Бальзак велик! Его характеры — произведения ума вселенной! Не дух времени, но целые тысячелетия приготовили бореньем своим такую развязку в душе человека»¹⁸⁾.

Первой книгой, которую Достоевский перечитал со своей второй женой, был как раз «Père Goriot». В библиотеке Достоевского было в 70-х годах полное собрание сочинений Бальзака в подлиннике.

Гроссман отмечает целый ряд мест в произведениях Достоевского, где можно подметить прямое влияние Бальзака или наличие родственных идей. Уже в одном из первых рассказов Достоевского «Прохарчин» описание клада Прохарчина как бы копирует кошелек «Евгении Гранде». Наваяны, по мнению Гроссмана, влиянием Евгении Гранде Бальзака кроткие женщины в «Маленьком герое», «Неточке Незвановой», «Кроткой», «Подростке». Даже физиономия дома Рогожина в «Идиоте» напоминает читателю «Physionomie d'un logis» в «Евгении Гранде».

Связь угадывается между «Отцом Горио» и «Преступлением и наказанием», между «Гамбарой» и сюжетом музыканта в «Неточке Незвановой», между «Проклятым сыном» Бальзака и «Хозяйкой», «Деревенским священником» и судебным производством и рассуждениями о семье в «Братьях Карамазовых» и «Подростке», между «Феррагюс» и «Преступлением и наказанием», например, сцена подслушивания, расположение комнат, вообще обстановка вдовы Грюжа в «Феррагюс», «настоящий парижский кафернаум» и комната Сони Мармеладовой у «портного Капернаумова» (указание Б. Томашевского).

¹⁸⁾ Достоевский Ф. М. Письма. Т. I. С. 47.

Особенно много общего в теориях и рассуждениях Раскольникова с рассуждениями Растиньяка из «Старика Горио» и Люсьена Рюбампре в «*Illusions perdues*». И как раз этот пример всего лучше показывает нам, что Достоевский нисколько не желал скрыть сходство некоторых своих мыслей с мыслями Бальзака. Именно говоря о теориях Раскольникова, Достоевский в «Преступлении и наказании» подчеркивает, что в них в сущности нет ничего особенно нового, а в первой редакции своей Пушкинской речи он прямо цитирует слова Растиньяка из романа Бальзака «*Père Goriot*», приводя свою любимую мысль о том, что лучше самому лишиться счастья, чем быть счастливым, загубив другого¹⁹⁾.

Мысль Растиньяка в «Старике Горио» так поразила отрока Достоевского именно потому, что совпадала с его собственными мыслями, и в этом объяснение большинства сходных мест у Достоевского и Бальзака. Гениальный отрок, живший в больнице для бедных в Москве, на примере нищеты и страданий русских «униженных и оскорбленных» самостоятельно пришел к тому же выводу, к какому пришел французский гениальный писатель, в отдаленном Париже изучавший однородные явления среди представителей другого народа.

Прежде чем мы расстанемся с книжками «Библиотеки для чтения», я хочу указать вам на небольшую статейку в «Смеси» 13-го тома этого журнала за сентябрь и октябрь 1835 года. Статья эта не имеет ничего общего с тем «светлым и жизнерадостным» Достоевским, о котором мы говорим в этом году, но я хочу отметить ее как пример того, как может отразиться на будущих произведениях писателя небольшая заметка, прочитанная 14-летним мальчиком.

¹⁹⁾ Достоевский: Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Вып. II. Л., 1924. С. 520–521.

Когда читаешь в сентябрьской книжке «Дневника писателя» за 1876 год статью Достоевского «Piccola bestia», где он рассказывает о чрезвычайно неприятном сознании, охватывающем человека, находящегося в одной комнате с исполинским пауком²⁰⁾; или когда в V главе 3-й части «Идиота», написанной летом 1868 года, в исповеди Ипполита²¹⁾ говорится об ужасном животном, каком-то на скорпиона похожем чудовище, наводившем ужас на присутствующих в комнате собаку и людей; или когда в I главе IV части «Преступления и наказания», созданной двумя годами ранее, Свидригайлов рассказывает, что представляет себе пугающую его вечность в виде закоптелой деревенской бани, по всем углам которой пауки²²⁾; или когда Ставрогин в «Бесах», по мнению Лизы, способен завести ее в какое-нибудь место, где живет огромный злой паук, на которого они всю жизнь будут глядеть и бояться; или когда в «Подростке» душа паука берется как символ чего-то грязного и дурного (и то же говорится в «Идиоте»), то спрашиваешь себя, откуда эта навязчивая у Достоевского идея об исполинском пауке, ужасающем своим безобразием, своею грязью, жизнью в чем-то сыром, темном, наводящем жуть и тяжелое дурное чувство.

И вот в 13-м томе «Библиотеки для чтения» за сентябрь и октябрь 1835 года мы находим в «Смеси» на стр. 85 статью, так и озаглавленную: «Исполинский паук».

Там сперва говорится о чрезвычайной прожорливости пауков вообще, которая не позволяет им жить в обществе, потому что они не щадят друг друга и даже со страхом сближаются.

²⁰⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. X. С. 300.

²¹⁾ Ib. Т. VI. С. 420–421.

²²⁾ Ib. Т. V. С. 286.

Затем автор упоминает о том, что в Америке и на Мысе Доброй Надежды водится паук лилово-бурого цвета с короткими и толстыми членами, которые покрыты редкою шерстью; рассказывается о том, что «он гоняется за птицами» и что «укушение его бывает иногда опасно для человека».

«Доктор Моретан [продолжает автор] недавно открыл в лесах Австралии новую породу еще крупнее. Этот паук бывает 9 дюймов в ширину и походит на морского рака; у него шесть лап и шесть глаз; тело его нечистого серого цвета с красными полосами и пятнышками; живот рыжеватый. Этой породы пауки любят места сырые и болотистые; они живут в старых пнях гнилых деревьев... Я не раз видывал, говорит Моретан, как они спускались с деревьев <...> входили в болото и погружались до самого дна, где оставались иногда не менее получаса, и выносили оттуда <...> рыб[ок], личин[ки] или крупны[х] черв[ей]».

«Я не знаю [говорит автор] животного отвратительнее этого; в задней части головы находится с каждой стороны по три глаза, черных в середине, кровавых по краям; от нижней части идут чрезвычайно сильные щупальцы, которыми паук ломает тростник, выдергивает с корнем траву и даже перерезывает древесные ветки».

Конечно, у нас нет никаких доказательств того, что Достоевский читал именно эту статью, но если 14-летний отрок прочел ее, то она, несомненно, должна была произвести на него сильное впечатление, должна была залечь в его подсознательном для того, чтобы потом, по прошествии многих лет, явиться навязчивою идеею, много раз проявившейся в его произведениях.

8-я лекция, 24 ноября 1931 года

Прошлый раз я закончил лекцию сообщением примера того, как одно из тяжелых навязчивых впечатлений, преследовавших Достоевского в его литературном труде, зародилось, может быть, еще в раннем отрочестве при чтении одного из номеров «Библиотеки для чтения». Но я вышел бы этим сообщением из рамок курса, если бы не подчеркнул, что это было как бы исключением, подтверждающим правило, если бы я не прибавил, что в общем литература, прочитанная Достоевским дома, дала ему светлые жизнерадостные впечатления на всю жизнь.

На последних лекциях я коснулся уже того, какого рода литература читалась детьми Достоевскими. Мне остается лишь несколькими словами характеризовать обстановку чтений и остановиться еще на одном писателе, оставившем глубокие следы в жизни Достоевского.

В своих детских воспоминаниях младший брат Достоевского между прочим рассказывает: «Когда мы, дети, оканчивали свои уроки, то приходили в гостиную, и там усаживались вместе с родителями»¹⁾, «...гостиная освещалась двумя сальными свечами. Стеариновых свечей тогда еще не было и в помине; восковые же жглись только при гостях и в торжественные семейные праздники. Ламп у нас не было, отец не любил их <...> [так как они] освещались постным маслом, издававшим неприятный запах. Керосину и других гарных масел тогда не было еще <...> Ежели папенька не был занят [больничными] скорбными листами, то по вечерам читали вслух...»²⁾ Из книжного шкафа в гостиной вынималась очередная книга и начиналось чтение. «Чтения эти существовали, кажется, постоянно

¹⁾ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 7 (первая пагинация).

²⁾ *Достоевский А. М.* Воспоминания. С. 46.

в кругу родителей. С тех пор как я начинаю себя помнить, они уже происходили. Читали попеременно вслух или папенька, или маменька. Я помню, что при чтениях этих всегда находились и старшие братья [Михаил и Федор], еще до поступления их в пансион; впоследствии и они начали читать вслух, когда уставали родители. Читались по преимуществу произведения исторические: “История Государства Российского” Карамзина (у нас был свой экземпляр), из которой чаще читались последние томы IX, X, XI и XII, так что из истории Годунова и Самозванцев нечто осталось и у меня в памяти от этих чтений; биография Мих. Вас. Ломоносова соч[инения] Ксенофонта Полевого и многие другие. Из чисто литературно-беллетристических произведений, помню, читали Державина (в особенности оду “Бог”), Жуковского и его переводные статьи в прозе; Карамзина — “Письма русского путешественника” и повести: “Бедную Лизу”, “Марфу Посадницу” и проч., Пушкина преимущественно прозу. Впоследствии начали читать и романы: “Юрий Милославский” [Загоскина], “Ледяной дом” [Лажечникова], “Стрельцы” [Масальского] и сентиментальный роман “Семейство Холмских” [Бегичева]. Читались также сказки и казака Луганского [то есть Даля]. Все эти произведения остались у меня в памяти не по одному названию, а потому, что чтения эти часто прерывались рассуждениями родителей, которые и были мне более памятливы. Перечитывая впоследствии все эти произведения, я всегда вспоминал наши семейные чтения в гостиной дома родительского. <...> старшие братья [сверх того] читали во всякое свободное время. В руках брата Феди я чаще всего видал Вальтер Скотта: “Квентина Дорварда” и “Ваверлея”; у них были собственные экземпляры, и вот их-то он перечитывал неоднократно, несмотря на тяжелый и старинный перевод. Такому же чтению и перечитыванию подвергались

и все произведения Пушкина. Любил также брат Федор и повести Нарезного, из которых “Бурсак” перечитывал неоднократно <...> “История” же Карамзина была его настольною книгою, и он читал ее всегда, когда не было чего-либо новенького»³⁾.

Из всей помянутой литературы остановлюсь лишь на «Истории» Карамзина. Из остальных можно было бы коснуться многих, которые доказательно имели влияние на будущего писателя, как, например, «Бурсак» Нарезного, но для этого у меня нет здесь времени, упомяну только, что племянник Достоевского Андрей Андреевич совершенно прав, говоря, что «литературные интересы в семье были развиты <...> сильно и [что] отец [Достоевского] внимательно следил за литературой. Такие произведения, как “Юрий Милославский” <...>, “Ледяной дом” <...>, “Стрельцы” <...>, “Семейство Холмских” <...> “Сказки казака Луганского” <...> в то время были литературными новинками»⁴⁾, только что вышедшими из печати, и надо было сильно интересоваться литературой, чтобы тотчас доставать их и, предварительно перед чтением вслух, самому прочитывать их, чтобы знать, годятся ли они для семейного чтения.

Одним из наиболее светлых впечатлений Достоевского, облегчивших ему много тяжелых минут его жизни, позволивших ему оптимистически смотреть на будущие судьбы русского народа, несмотря на тяжелую современную действительность, было его представление о мессианской роли России, о том, что Россия, как ни мрачна и часто невыносима ее современная ему жизнь, в конце концов найдет силы преодолеть все несчастья и невзгоды и не только самой стать счастливой, но и осчастливить весь мир.

³⁾ Ib. С. 68–69.

⁴⁾ Ib. С. 411.

Подобный же мессианизм, который проявился особенно сильно у еврейских пророков, Исаяи и др., свойствен был и итальянцам в эпоху так называемого Risorgimento, то есть «пробуждения», от 1750 до 1870 года, немцам (прочтите хотя бы «Речи к немецкой нации» философа Фихте) и полякам, у которых родоначальником мессианизма признается Гёне-Вронский и где он проповедовался и Мицкевичем и Словацким.

В России особенно много мессианистов было среди славянофилов, мессианские идеи свойственны и Толстому.

У Достоевского мессианство является одною из самых сильных составных частей его жизнерадостности, им полон его «Дневник писателя», и мессианство в сильной степени отличает романы «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы».

Откуда же взялось это представление у Достоевского? Стоит лишь немного вдуматься в содержание чтения отрока Достоевского, чтобы убедиться, что наиболее сильную роль в создании этого представления сыграли впечатления от «Истории Государства Российского» Карамзина. По воспоминаниям брата, это была его настольная книга, которую он читал всегда, когда не было чего-либо новенького, и из которой в семье Достоевских чаще читались последние тома, так что брат Достоевского на всю жизнь запомнил историю Годунова и самозванцев.

Отмечу здесь в скобках, что мы, кроме воспоминаний младшего брата, имеем почти совпадающее со временем чтения свидетельство самого Достоевского о сильном впечатлении, произведенном на него Карамзиным. В письме от 23 июля 1837 года из Петербурга, подписанном обоими старшими братьями Михаилом и Федором, но стиль которого сильно напоминает собственные письма Достоевского, пятнадцатилетний юноша спрашивает отца, прочитывает ли его 14-летняя

сестра Варя «Русскую Историю Карамзина» и прибавляет: «Она нам это обещала»⁵⁾. Ясно, что надобно чрезвычайно ценить эту Историю, чтобы брать обещание от четырнадцатилетней сестры читать довольно сухо написанную огромную книгу.

Не менее ценно для нас свидетельство и более поздних времен. В 1870 году друг Достоевского Страхов, критикуя в журнале «Заря» очерк историка литературы Пыпина, «со слезами умиления и благодарности» описывает то благотворное влияние, которое оказали тогда и на его юный ум сочинения Карамзина, прибавляя, что «именно ему он обязан пробуждением своей души, первыми и высокими умственными наслаждениями». Перечисляя потом различные произведения Карамзина, он говорит, что один из томов его истории он «знал почти наизусть»⁶⁾.

По поводу этой статьи Достоевский 2/14 декабря 1870 года пишет Страхову между прочим: «К статье о Карамзине (Вашей) я пристрастен, ибо такова почти была и моя юность и я возрос на Карамзине. Я <...> [вашу статью] с чувством читал»⁷⁾.

А в одном из своих последних писем (к Николаю Лукичу Озмидову от 18 августа 1880 года), которое я отчасти уже читал вам в выдержках, Достоевский в числе книг, рекомендуемых для чтения дочери Озмидова, упоминает «Историю» Соловьева и прибавляет: «Хорошо не обойти Карамзина»⁸⁾.

Что же давала Достоевскому-отроку эта его настольная книга и особенно последние ее части? Эти части описывали одну из самых тяжелых эпох жизни русского народа, так называемое «Смутное время».

⁵⁾ Достоевский Ф. М. Письма. Т. I. С. 44.

⁶⁾ Достоевский Ф. М. Письма. Т. II. С. 493.

⁷⁾ Ib. С. 300.

⁸⁾ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 119–120 (третья пагинация).

Я принес вам показать последний XII том этого произведения в том первом издании 1829 года, один из экземпляров которого был постоянно в руках Достоевского.

Чтобы дать вам представление о содержании этого тома, я прочту вам несколько выдержек из его оглавления. Уже в самом начале упоминается о происшедших в 1606 году мятежах в Москве против незадолго перед тем избранного царем Василия Шуйского. Дальше рассказывается о бунте Шаховского, о появлении второго Лжедмитрия, о бунте Болотникова, о появлении мнимого сына царя Федора Лжепетра, о новом третьем Лжедмитрии, о победах самозванца, об ужасе, вызванном этими победами в Москве, об измене воевод, об осаде русской святыни Троице-Сергиевой Лавры поляками, об измене городов Суздаля, Переяслава, Владимира, Углича, Костромы, Галича, Вологды, Пскова.

Затем Карамзин останавливается на том ужасном состоянии, в котором Россия находилась в 1609 году, когда свои, русские, терзали ее еще более, нежели иноплеменники.

Далее говорится об официальном объявлении Польшею войны России и о том голоде, который свирепствовал тогда в России, описываются приступы Лжедмитрия к Москве, говорится о появлении в 1609 году трех новых самозванцев, а именно мнимого сына и двух «внуков» Иоанна Грозного, рассказывается о новых мятежах в Москве и о разбоях, терзавших всю Россию, перечисляются злодейства самозванца в Калуге, рассказывается о том, как изменники царем признают Владислава, сына польского короля, описывается бунт Ляпунова и народный ропот, рассказывается о том, как царя Василия Шуйского лишают престола и исконные враги России поляки врываются в Москву, где поляк Владислав провозглашается царем.

Потом Карамзин останавливается на описании большого пожара, вспыхнувшего в Москве, и неистовств поляков в столице России.

В то же время описывается унижение, которому поляки в Варшаве подвергают сверженного русского царя Василия Шуйского, и то, как шведские войска Делагарди врываются в Новгород и заставляют новгородцев признать русским царем шведского принца Филиппа.

Кончается том общим описанием тогдашнего отчаянного положения России.

«И что была тогда Россия? [спрашивает Карамзин и отвечает:] Вся полуденная [то есть южная Россия была] беззащитною жертвою грабителей Ногайских и Крымских [то есть Крымских и Ногайских татар]: [была] пепелищем кровавым, пустынею; вся юго-западная, от Десны до Оки, в руках Ляхов [то есть Поляков], которые, по убиении Лжедмитрия в Калуге, взяли [и] разорили верные ему города: Орел, Болхов, Белев, Карачев, Алексин и другие; Астрахань, гнездо мелких самозванцев, как бы отделилась от России и думала существовать в виде особенного Царства, не слушаясь ни Думы Боярской, ни Воевод Московск[их] <...>; Шведы, [за]хватив Новгород, убеждениями и силою присваивали себе <...> северо-западные владения, где господствовало безначалие, — где явился еще новый, третий или четвертый Лжедмитрий, достойный предшественников, чтобы прибавить новый стыд к стыду Россиян современных и новыми гнусностями обременить Историю, — и где еще держался [польский воевода] Лисовский с своими злодейскими шайками. Высланный наконец жителями из Пскова и не впущенный в крепкий Ивановгород, он [Лисовский] взял Вороночь, Красный, Заволочье; <...> грабил, где и кого мог. Тихвин, Ладога сдалис[ь] генералу Делагарди на условиях Новгородских [то есть должны были признать

русским царем шведского принца Филиппа]; Орешек [или Нотебург, теперешний Шлиссельбург] [пока] не сдавался...»⁹⁾

На этих словах перо выпало из рук Карамзина и перед пылкою фантазиею отрока Достоевского осталась картина раздираемой татарами, поляками и шведами, терзаемой многочисленными самозванцами, насилуемой шайками разбойников, полной безначалием и беспорядками, волнуемой тягостными думами о будущем России — России, бессильной бороться против внешних и внутренних врагов, которой, казалось, оставалось лишь погибнуть среди полной анархии, распасться на мелкие части и быть навсегда завоеванной внешними врагами.

И вновь и вновь перечитывал он последние тома, вновь с волнением и ужасом видел, как полная разруха, казалось, навсегда грозила всей России и той самой Москве, в которой он это читал и где всякая часть города, всякая церковь, почти всякий камень напоминали о событиях Смутного времени, и всегда с чувством живого облегчения вздыхал и думал, что все это было на самом деле, но прошло, что нашлись Ляпуновы, Минины и Пожарские, что народ одумался, что нижегородское ополчение в октябре 1612 года освободило Москву от поляков и созвало выборных всей земли для избрания царя, что с внешними врагами заключен был мир, что внутренних врагов и разбойников постепенно усмирили, переловили и обезопасили, что анархия и смута постепенно сменились все большим и большим порядком, и Москва и Россия наконец были спасены.

Отрок, читающий, перечитывающий и передумывающий все это, не может не уверовать в духовную мощь своего народа, способную справиться даже с таким безнадежным, безвыходным положением, и когда

⁹⁾ Карамзин Н. М. История Государства Российского. СПб., 1829. Т. XII. С. 329–330.

он затем читал, какую великую роль играли в восстановлении России монастыри, патриарх и воспитанный в монастыре молодой царь, он не мог не получить и высокого представления о воодушевляющих его народ высоких идеалах и о той вере, которую его народ исповедовал, то есть о всем том, что потом отразилось в последующем мирозерцании Достоевского и его представлении о высокой духовной миссии русского народа.

На этом мы закончим описание впечатлений, вынесенных ребенком и отроком Достоевским из знакомства с русской и западноевропейской литературой. На том, какую роль в жизни Достоевского играли посещения пансиона Сушара-Драшусова и школы Чермака, я не буду здесь останавливаться. У нас для этого слишком мало данных.

Отмечу только, что, по воспоминаниям младшего Достоевского, старшие братья Михаил и Федор при возвращении домой из пансиона Чермака всегда «с особенным воодушевлением рассказывали про своего учителя русского языка, он просто сделался их идолом, так как на каждом шагу был ими вспоминаем. Вероятно, [прибавляет Андрей Михайлович] это был учитель не заурядный...»¹⁰⁾

Для нас без особых разъяснений понятно, что такой незаурядный учитель должен был еще более углубить и усилить благотворное влияние на них родной литературы.

На одной лишь черте жизни школьника Достоевского я хочу остановиться, так как она рисует нам того Достоевского, которого так любили все знавшие его люди.

Несколько недель спустя после смерти Достоевского в № 31 «Московских Ведомостей» за 1881 год некто Владимир Каченовский, сын довольно известного

¹⁰⁾ Достоевский А. М. Воспоминания. С. 69.

профессора истории и многолетнего редактора первого журнала с именем «Вестник Европы» Михаила Каченовского, напечатал свои воспоминания о Достоевском, из которых видно, что он знал еще ребенка Достоевского и одновременно с ним был три года в пансионе Чермака.

В этих воспоминаниях он подтверждает свидетельство Андрея Михайловича Достоевского о том, что в пансионе Чермака, когда братья Достоевские были там, часть преподавателей принадлежала к числу лучших в Москве, и приводит выписку из письма Достоевского к нему от 16 октября 1880 года, то есть за три с половиной месяца до смерти Достоевского. Там Достоевский говорит, что он в позднейшие годы своей жизни всегда «проезжает с волнением» мимо того дома, в котором помещался когда-то пансион Чермака, из чего мы можем заключить, что у Достоевского сохранились самые лучшие воспоминания об этом учебном заведении.

Каченовский был на четыре с половиной года моложе Достоевского, но поступил в пансион Чермака в том же году, что и братья Достоевские, хотя в младший класс. Вот как он рассказывает о своем вступлении в пансион: «В 1834 году я поступил [в возрасте 8 лет] в учебное заведение Чермака. В первый раз в жизни разлученный от моих родных, окруженный со всех сторон лишь чужими лицами и, как новичок, преследуемый и мучимый новыми товарищами, я предался *полному отчаянию* покинутого ребенка.

Тогда слышался знакомый голос, прогнавший моих мучителей и поздоровавшийся со мною. Это был [тот Федя] Достоевский [с которым я несколько раз раньше играл на больничном дворе]. Он принялся сейчас же утешать меня, что ему очень скоро и удалось.

После того он часто посещал меня в моем классе, помогал мне с моими уроками и развлекал меня

в свободные от занятий часы увлекательными рассказами, помогавшими мне менее грустить по дому.

При этом он всегда относился ко мне очень мило и по-дружески».

То теплое чувство, с которым написаны воспоминания Каченовского, показывает, как любили Достоевского знавшие его ближе люди. А все те детали, которые Каченовский приводит в рассказе о том, как 13-летний отрок Достоевский заступился за преследуемого товарищами мальчика, как он его утешил, помогал ему с уроками, развлекал его и всегда в течение трех лет совместной жизни относился к нему мило и по-дружески, показывают, как рано у Достоевского развилось то сострадание к страдающим и преследуемым, которым проникнуты все его произведения. Каченовский испытал это еще раз в последние годы жизни Достоевского, когда тот в 1874 году сам разыскал его, скромного тогда секретаря благотворительного общества, провел у него два часа, вспоминая разные события из школьной жизни, потом с ним переписывался и в последние месяцы своей жизни, несмотря на болезнь и массу работы, посвятил много времени и забот, чтобы добиться для Каченовского небольшой пенсии. Подобных воспоминаний о Достоевском немало.

Таким отношением к людям Достоевский, понятно, приобрел себе много друзей, и их дружеское отношение к нему, в свою очередь, усиливало в нем черты жизнерадостности и оптимизма.

9-я лекция, 1 декабря 1931 года

Мы уже говорили: для того, чтобы среди тяжелой жизненной обстановки, среди больших страданий, телесных и духовных, разного рода невзгод, забот и нужды оставаться оптимистом, не терять жизненной бодрости, быть самому счастливым и доставлять дру-

гим счастье, у нас должно быть светлое, счастливое прошлое, должно быть что-нибудь, о чем мы с удовольствием вспоминаем, что радостно всплывает в наших сновидениях, о чем мы с теплым чувством мечтаем наяву.

У Достоевского таким счастливым прошлым было его детство: его живые, резвые игры, жизнь на лоне природы в деревне, купанье, рыбная ловля, одинокие мечтания в саду, роще и лесу, слушание сказок, семейное чтение, дружба с братом, совместные с ним мечты о будущем, общие восторги литературой, светлые, сильные впечатления от прочитанного, пробуждающаяся уверенность в духовной *мощи* своего народа и многое другое, что дает ребенку *семья*, с нежно любящей детей матерью, с заботливым, хотя порою и вспыльчивым отцом, с многочисленными братьями и сестрами, с доброю, всегда готовою помочь нянею, с интересными поездками в деревню, с посещением школы, где есть хотя бы один учитель, который нас любит и которого мы любим, как обожаемый старшими братьями Достоевскими учитель русского языка, с школою, которая, несмотря на скучные нередко уроки (в своих воспоминаниях из раннего детства Достоевский припоминает, как не хотелось ему, девятилетнему ребенку, покидать деревню, чтобы «опять скучать всю зиму за французскими уроками»¹⁾), все же оставила на всю жизнь светлые воспоминания.

Достоевский, следовательно, несомненно имел *что* вспомнить и действительно неоднократно вспоминал свое счастливое детство, хотя бы на каторге, как он сам об этом пишет в известном рассказе о мужике Марее (глава 1-й февральской книжки «Дневника писателя» за 1876 год)²⁾. Здесь он прямо говорит: «Во

¹⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. X. С. 56.

²⁾ Ib. С. 54–59.

всѣ мои четыре года каторги, я вспоминалъ непрерывно все мое прошедшее» — и прибавляет: «но я особенно любилъ тогда воспоминанія изъ <...> моего дѣтства»³⁾.

Но хотя счастливое прошлое и играет, таким образом, огромную роль в жизни человека и, в частности, играло эту роль в жизни Достоевского, *одного этого* еще недостаточно.

Чтобы вынести все то, что выносила хотя бы Лукерья из «Живых мощей» Тургенева или разбитый параличом монах Оптиной пустыни, по воспоминаниям Толстого, для того чтобы с покорностью судьбе, как Лиза в «Дворянском гнезде» Тургенева, отказаться от эгоистического счастья всей своей жизни и замкнуться в монастырь, для того чтобы, подобно Дмитрию Карамазову, в «облѣзлыхъ стѣнахъ» тюрьмы мечтать, как он с каторжниками в рудниках под землей будет петь гимн Богу⁴⁾, для того чтобы в положении Сони Мармеладовой из «Преступления и наказания», продавшей себя, дабы спасти мучившую ее мачеху и ее детей, все же не только сохранить веру в жизнь, Бога и людей, но и спасти для жизни убийцу своей подруги Лизаветы, для того, наконец, чтобы самому Достоевскому сохранить свою «кошачью живучесть»⁵⁾ в Петропавловской крепости, на каторге, в солдатской казарме, среди ужасных долгов за границую, после тяжелых припадков падучей, при злобных нападках критиков и т. п., — для этого человеку, говоря словами Чехова, нужно иметь «свой стержень»⁶⁾, свою крепкую ось, которая остается непоколебимой и неизменной во всех невзгодах жизни и вокруг которой постоянно вращается жизнь.

³⁾ Ib. С. 56.

⁴⁾ Ib. Т. XII. С. 700.

⁵⁾ Достоевский Ф. М. Письма. Т. I. С. 402.

⁶⁾ Измайлов А. Чехов: Биографический набросок. М., 1916. С. 550.

Таким крепким стержнем во всех перечисленных случаях была религия, она давала силу и жизнерадостность Лукерье, монаху, Лизе, Дмитрию Карамазову, Соне Мармеладовой и самому Достоевскому.

Без нее Достоевский никогда не вынес бы и половины всех тех страданий, которыми полна была его жизнь, и без нее, главное, Достоевский никогда бы не дал в своих произведениях миру того, что он дал.

Отнимать у Достоевского религию или, как делает это Мережковский в своей книге «Толстой и Достоевский», отнимать уверенность в том, что Достоевский действительно твердо верил в Бога и бессмертие, значит совсем не понимать Достоевского.

У Достоевского религия стала важным фактором жизни уже очень рано. Этому способствовала самая обстановка его жизни.

Я уже много раз говорил на моих лекциях, что двадцатые и тридцатые годы прошлого века во многом напоминали переживаемое нами теперь время.

Страдания, перенесенные человечеством во время французской революции и наполеоновских войн, и тяжелый экономический кризис, поразивший людей по окончании войн и как следствие их, заставил мир серьезнее отнестись к вопросам жизни и смерти. Безверие, рационализм и вольтерьянство предшествовавшей эпохи утратили свое прежнее обаяние, и все более широкие круги населения охватывались религиозным чувством. Религия делалась постепенно потребностью людей, стала чем-то естественным в их жизни. Этим она была и в жизни родителей Достоевского.

В этом огромное отличие детских годов Достоевского от хотя бы, например, детства Чехова. Детство последнего протекало в эпоху господства позитивизма и материализма, когда религия отошла совершенно на задний план жизни, когда над религией смеялись, почти стыдились ее. В семье Чеховых религия поэто-

му не была чем-то естественным — самую жизнью вызываемым, а чем-то навязанным, нудным.

Каждую субботу вся семья Чеховых отправлялась ко всенощной и, возвратившись из церкви, еще долго пела у себя дома каноны. Курилась кадильница, отец или кто-нибудь из сыновей читал икосы и кондаки, и после каждого из них все хором пели стихиры и ирмосы. Утром шли к ранней обедне, после которой опять дома все также хором пели акафист. Кроме того, отец Чехова создал собственный хор певцов, который ходил по церквям и пел обедни, молебны, вечерни и всенощные. Дети-певцы были гордостью отца, и он неупустительно и неумолимо обрекал их на пение, особенно псалма «Да исправится молитва моя» во время так называемых преждеосвященных литургий.

То, что составляло предмет удовлетворения и похвалы отца Чехова, было истинной мукой детей. Чехов положительно не мог равнодушно вспоминать этой поры, когда ему приходилось подневольно выстаивать все службы, выпевая альтовые партии.

Взрослый, говорит его биограф, он совершенно ярко видел антипедагогичность принудительной молитвы и насильного участия в богослужении.

Щеглову он писал однажды: «Я получил в детстве религиозное образование и такое же воспитание — с церковным пением, с чтением апостола и кафизм в церкви, с исправным посещением утрени, с обязанностью помогать в алтаре и звонить на колокольне. И что же? Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, то оно представляется мне довольно мрачным: религии у меня теперь нет. Знаете, когда, бывало, я и два моих брата среди церкви пели трио: “Да исправится [молитва моя]” или же “Архангельский глас”, на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям, мы же в это время чувствовали себя

маленькими каторжниками. <...> [у] меня и братьев <...> детство [поэтому] было страданием».

То, что у ребенка Чехова в век позитивизма, материализма и насмешки над религией среди окружающих вымучивалось строгим отцом и поэтому превращалось в муку и страдание, у Достоевских за сорок лет перед тем, когда религией был полон воздух, когда даже молодой Герцен весь с головою уходил в религию и увлекался ею, — было так же естественно, как есть, спать, дышать.

И отец и мать Достоевского были глубоко религиозны. Это видно уже из их писем, где постоянно попадаются такие выражения, как:

«Боже мой, Заступница милосердная, Царица небесная, сохрани и помилуй тебя, милого моего друга».

«Рано или поздно Бог по милосердию Своему услышит слезные мольбы мои...»

«...я пребуду навсегда в той сладкой надежде на Провидение Божие, которое всегда было опорой моею...»⁷⁾ (из писем матери).

«От всех чувств моих <...> молю всещедрого Творца, чтобы и ты, мой ангел, была здорова и благополучна для моего счастья»⁸⁾.

«Препоручаю тебя Господу Богу...»⁹⁾

«Молю Творца, чтобы ты с малютками была здорова»¹⁰⁾.

«Спаси тебя Царь небесный под всещедрым своим покровом»¹¹⁾.

«...да будет над вами милыми моему сердцу милость Божия <...>, да возлюбит тебя Бог так, как тебя любит и до гроба любить не перестанет М. Достоевский»¹²⁾.

⁷⁾ *Достоевский А. М.* Воспоминания. С. 92.

⁸⁾ *Иб.* С. 356.

⁹⁾ *Иб.* С. 357.

¹⁰⁾ *Иб.* С. 358.

¹¹⁾ *Иб.* С. 360.

¹²⁾ *Иб.* С. 361–362.

«От всей души радуюсь, что Творец небесный хранит вас под всеблагим покровом Своим...»¹³⁾

«День моего ангела <...> я посвящаю Богу — единственному утешителю моему в этой горестной жизни»¹⁴⁾.

«...да благословит вас Господь Бог»¹⁵⁾ (из писем отца).

По всему контексту (по общей связи) писем видно притом, что приведенные выражения не простые фразы, а сами собою вылились из-под пера.

В подобное время и при такой домашней обстановке религиозное чувство детей развивается вполне естественно, и мы сейчас увидим, что уже у ребенка Достоевского религия играет большую роль.

В своих воспоминаниях Андрей Михайлович Достоевский между прочим пишет: «Родители наши были люди весьма религиозные, в особенности маменька. Всякое воскресенье и большой праздник мы обязательно ходили в церковь к обедне, а накануне — ко всенощной», и он прибавляет: «Исполнять это нам было весьма удобно, так как при больнице была очень большая и хорошенькая церковь»¹⁶⁾.

Но религия родителей Достоевского сводилась не только к посещению церквей. Всякий сколько-нибудь значительный шаг их жизни сопровождался молитвою. Покупается имение, сельцо Даровое, и Андрей Михайлович вспоминает: «Покупка имения ознаменовалась тем, как помню, что родители поехали к Иверской Божьей Матери и отслужили благодарственный молебен»¹⁷⁾.

Едут на лето в деревню, и перед отъездом приглашается знакомый священник «отец Иоанн Баршев и служит напутственный молебен»¹⁸⁾.

¹³⁾ Ib. С. 362.

¹⁴⁾ Ib. С. 364.

¹⁵⁾ Ib.

¹⁶⁾ Ib. С. 49.

¹⁷⁾ Ib. С. 51.

¹⁸⁾ Ib. С. 52.

Старшие братья Достоевские отправляются с отцом в Петербург, и перед отъездом тот же «отец Иоанн Баршев отслужил напутственный молебен»¹⁹⁾.

Приезжает из имения приказчик Григорий Васильев и рассказывает, что имение сгорело, и «родители [сейчас] пали на колени и долго молились перед иконами в гостинной, а потом поехали молиться к Иверской Божьей Матери»²⁰⁾.

Перед смертной агонией мать на короткое время «пришла в совершенную память, потребовала икону Спасителя, и сперва благословила всех нас, давая еле слышные благословения и наставления, [вспоминает Андрей Михайлович] а затем захотела благословить и отца. Картина была умилительная, [кончает Андрей Михайлович] и все мы рыдали»²¹⁾.

До покупки имения, то есть до 1831 года, когда Достоевскому исполнилось десять лет, мать ежегодно летом ездила со старшими детьми в лежащую в 70 километрах от Москвы Троице-Сергиеву Лавру.

«Я помню [пишет Андрей Михайлович] только одно такое путешествие к Троице, в котором участвовал и я. Эти путешествия были, конечно, для нас важными происшествиями и, так сказать, эпохами в жизни. Ездили обыкновенно на долгих [то есть на одних и тех же лошадях] и останавливались [чтобы кормить их] по целым часам почти на тех же местах, где ныне поезда жел[езной] дороги останавливаются на 2–3 минуты. У Троицы проводили дня два, посещали все церковные службы и, накупив игрушек, тем же порядком возвращались домой, употребив на все путешествие дней 5–6. Отец по служебным занятиям в этих путешествиях не участвовал, а мы ездили только с маменькой и с кем-нибудь из знакомых»²²⁾.

¹⁹⁾ Ib. С. 80.

²⁰⁾ Ib. С. 60.

²¹⁾ Ib. С. 78.

²²⁾ Ib. С. 48–49.

В 1832, 1833, 1834, 1835 и 1836 годах, когда дети с матерью уезжали на лето в деревню, в Троице-Сергиеву Лавру не ездили, но весной 1837 года после смерти матери и перед отправлением старших братьев Достоевских в Петербург сестра их матери Александра Федоровна Куманина упросила отца Достоевского отпустить с нею двух старших братьев, Михаила и Федора, в Троице-Сергиеву Лавру²³⁾.

Таким образом, Достоевский ребенком много раз был в монастыре, и последний раз 15-летним юношей.

Очевидно, он во время посещения монастыря не только был на церковных службах и присутствовал при покупке игрушек. В течение тех двух-трех дней, которые он с матерью и теткой проводил в Лавре, они жили, вероятно, в монастырской гостинице, где разговаривали с гостинником и его помощником, и вместе с матерью посещали наиболее известных своей святой жизнью монахов. Наблюдательный и чуткий ребенок вынес, вероятно, много сильных впечатлений из этой жизни.

По крайней мере, он сам через сорок лет, в письме к поэту Аполлону Николаевичу Майкову от 25 марта/6 апреля 1870 года, пишет: «В этом мире я знаток и монастырь русский знаю с детства»²⁴⁾.

Как сильны были вообще религиозные впечатления ребенка, лучше всего видно из того, что самые первые впечатления Достоевского связаны с религией.

В своих воспоминаниях Андрей Михайлович рассказывает между прочим: «...поужинав, мы, мальчишки, становились перед образом [в гостинной], прочитывали молитвы и, простившись с родителями, отходили ко сну»²⁵⁾.

И вот характерно, что Орест Миллер рассказывает в своей биографии Достоевского следующее: «Едва ли

²³⁾ *Иб.* С. 79.

²⁴⁾ *Достоевский Ф. М.* Письма. Т. II. С. 264.

²⁵⁾ *Достоевский А. М.* Воспоминания. С. 47.

не самым ранним воспоминанием Ф. М. было, как однажды няня привела его, лет около трех, при гостях в гостиную, заставила стать на колени перед образами и, как это всегда бывало на сон грядущий, прочесть молитву: "Все упование, Господи, на Тебя возлагаю. Матерь Божия, сохрани мя под кровом Своим". Гостям это очень понравилось и они говорили, лаская его: "ах, какой умный мальчик!"

Воспоминание это врезалось в его память, молитву же ту он твердил всю жизнь и ею же напутствовал ко сну своих собственных детей»²⁶⁾. (Последнее вспоминает и вторая жена Достоевского²⁷⁾.)

Другое, может быть, еще более раннее воспоминание (Достоевский, по крайней мере, относил его к двухлетнему своему возрасту), по словам его второй жены, сохранилось у Достоевского «о том, как мать причащала его в деревенской церкви, и [в это время] голубок пролетел через церковь из одного окна в другое»²⁸⁾.

Для нас в этих двух воспоминаниях важно не то, относятся ли они действительно к двух- или трехлетнему возрасту Достоевского и возможны ли вообще такие ранние воспоминания (Толстой вспоминает себя чуть ли не грудным ребенком в пеленках), а то, что оба воспоминания, которые Достоевский считал своими наиболее ранними, имеют то или другое отношение именно к религии.

Мы видим из этого, что религия действительно очень рано играла очень большую роль в жизни Достоевского.

Характерно в этих воспоминаниях между прочим и то, что одно из них связано с посещением церкви.

²⁶⁾ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 5–6 (первая пагинация).

²⁷⁾ *Достоевская А. Г.* Воспоминания. С. 196.

²⁸⁾ *Гроссман Л. П.* Семинарий по Достоевскому. М.; Пг., 1922. С. 66. Ср. в романе «Подросток» (Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 342).

О том, как Достоевский любил в течение всей своей жизни посещать церкви, как он всегда старался селиться по соседству с церквями и в своих адресах всегда упоминал «у, возле, напротив такой-то церкви», я подробно говорил в прошлом году в лекции в память 50-летия со дня смерти писателя и не буду здесь повторять, приведу лишь в этой связи одно из воспоминаний Достоевского.

В 1873 году Достоевский в № 50 журнала «Гражданин», вспоминая о своей молодости, приводит между прочим следующие воспоминания из своего детства, характерные вообще по отношению его к родителям, знакомству с Евангелием, с «Историей» Карамзина, а также и по описанию того чувства, которое он испытывал в детстве при посещении церквей.

Вот эти слова: «Я происходилъ изъ семейства русскаго и благочестиваго. Съ тѣхъ поръ, какъ я себя помню, я помню любовь ко мнѣ родителей. Мы въ семействахъ нашемъ знали Евангеліе чуть не съ перваго дѣтства. Мнѣ было всего лишь десять лѣтъ, когда я уже зналъ почти всѣ главные эпизоды русской исторіи изъ Карамзина, котораго вслухъ по вечерамъ намъ читалъ отецъ. Каждый разъ посещеніе Кремля и соборовъ московскихъ было для меня чѣмъ-то торжественнымъ»²⁹⁾.

Эти детские посещения церквей отразились и на позднейших его воспоминаниях.

В девятой главе 2-й части «Подростка» Достоевский припоминает «приятный, плавный звонъ <...> у Николы <...> старинной московской церкви <...> выстроенной еще при Алексѣѣ Михайловичѣ, узорчатой, многоглавой и “въ столпахъ”»³⁰⁾.

А в одной из своих ранних повестей «Хозяйка» двадцатипятилетний Достоевский дает такое описание

²⁹⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. IX. С. 342.

³⁰⁾ Иб. Т. VIII. С. 342.

приходской церкви: «...церковь была почти совсѣмъ пуста, и только двѣ старухи стояли еще на колѣняхъ у входа. Служитель, сѣдой старичокъ, тушилъ свѣчи. Лучи заходящаго солнца широкою струею лились сверху сквозь узкое окно купола и освѣщали моремъ блеска одинъ изъ придѣловъ; но они слабѣли все болѣе и болѣе, и чѣмъ чернѣе становилась мгла, густѣвшая подъ сводами храма, тѣмъ ярче блистали мѣстами раззолоченныя иконы, озаренныя трепетнымъ заревомъ лампадъ и свѣчей. <...> [В церковь вошли] старикъ и молодая женщина. <...> Старикъ <...> взялъ ее за руку и повелъ къ большому мѣстному образу Богородицы <...> сіявшему у алтаря ослѣпительнымъ блескомъ огней, отражавшихся на горѣвшей золотомъ и драгоценными камнями ризѣ»³¹⁾.

Но церкви дороги Достоевскому не только сами по себе, своей архитектурой, живописью и звоном, дороги они ему, главное, тем, что в них происходит. И в этом отношении для нас очень важно внесенное им в шестую книгу «Братьев Карамазовых» описание впечатлений восьмилетнего мальчика³²⁾, описание, о котором он несколько раз говорил второй жене своей, что это личное его воспоминание из его собственного детства³³⁾.

Вот это важное место: «...помню какъ въ первый разъ посѣтило меня <...> проникновеніе духовное, еще восьми лѣтъ отъ роду. Повела матушка меня одного (не помню гдѣ былъ тогда братъ) во храмъ Господень, въ Страстную недѣлю въ понедѣльникъ къ обѣдни. День былъ ясный и я, вспоминая теперь, точно вижу вновь какъ возносился изъ кадила еиміамъ и тихо восходилъ вверхъ, а сверху въ куполѣ въ узенькое окошечко такъ и льются на насъ въ церковь Божьи лучи

³¹⁾ Иб. Т. I. С. 333–334.

³²⁾ Иб. Т. XII. С. 345–347.

³³⁾ Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. С. 68.

и восходя къ нимъ волнами, какъ бы таялъ въ нихъ ѳиміамъ. Смотрѣлъ я умиленно и въ первый разъ отъ роду принялъ я тогда въ душу первое сѣмя Слова Божія осмысленно. Вышелъ на средину храма отрокъ съ большою книгой, такую большою что показалось мнѣ тогда съ трудомъ даже и несть ее и возложилъ на налой, отверзъ и началъ читать, и вдругъ я тогда въ первый разъ нѣчто понялъ, въ первый разъ въ жизни понялъ что во храмъ Божиємъ читають. Былъ мужъ въ землѣ Унъ, правдивый и благочестивый, и было у него столько-то богатства, столько-то верблюдовъ, столько овецъ и ословъ, и дѣти его веселились, и любилъ онъ ихъ очень и молилъ за нихъ Бога: можетъ согрѣшили они веселясь. И вотъ восходитъ къ Богу діаволь вмѣстѣ съ сынами Божьими и говоритъ Господу что прошелъ по всей землѣ и подъ землею. А видѣлъ ли раба Моего Іова? спрашиваетъ его Богъ. И похвалился Богъ діаволу указавъ на великаго святаго раба Своего. И усмѣхнулся діаволь на слова Божіи: “предай его мнѣ и увидишь что возропщеть рабъ Твой и проклянетъ Твое имя”. И предалъ Богъ Своего праведника, столь Имъ любимаго, діаволу, и поразилъ діаволь дѣтей его, и скоть его, и разметалъ богатство его, все вдругъ, какъ Божиимъ громомъ, и разодралъ Іовъ одежды свои и бросился на землю, и возопилъ: “нагъ вышелъ изъ чрева матери, нагъ и возвращусь въ землю, Богъ далъ, Богъ и взялъ. Буди имя Господне благословенно отнынѣ и до вѣка!” <...> пощадите теперешнія слезы мои, — ибо все младенчество мое какъ бы вновь возстаетъ предо мною, и дышу теперь какъ дышалъ тогда дѣтскою восьмилѣтнею грудкой моею, и чувствую какъ тогда удивленіе и смятеніе, и радость. И верблюды-то такъ тогда мое воображеніе заняли, и сатана который такъ съ Богомъ говоритъ, и Богъ отдавшій раба Своего на погибель, и рабъ Его восклицающій: “Буди имя Твое благословенно, несмотр-

ря на то что казнишь меня”, — а затѣмъ тихое и сладостное пѣніе во храмѣ: “Да исправится молитва моя”, и снова ѳиміамъ отъ кадила священника и колѣнопреклоненная молитва! Съ тѣхъ поръ [продолжаетъ старецъ Зосима “Братьевъ Карамазовыхъ” и Достоевский действительной жизни] <...> не могу читать эту пресвятую повѣсть безъ слезъ [и в скобках можно прибавить, что в библиотеке Достоевского действительно был особый экземпляр книги Иова с отдельными объяснениями к ней³⁴⁾]. А и сколько тутъ [в этой книге] великаго, тайнаго, невообразимаго! Слышалъ я потомъ слова насмѣшниковъ и хулителей, слова гордыхъ: “какъ это могъ Господь отдать любимаго изъ святыхъ Своихъ на потѣху діаволу, отнять отъ него дѣтей, поразить его самого болѣзною и язвами такъ что черепкомъ счищаль съ себя гной своихъ ранъ и для чего: чтобы только похвалиться предъ сатаной: “Вотъ чтò дескать можетъ вытерпѣть святой Мой ради Меня!” Но въ томъ и великое что тутъ тайна, — что мимоидущій ликъ земной и вѣчная истина соприкоснулись тутъ вмѣстѣ. Предъ правдой землею совершается дѣйствіе вѣчной правды. Тутъ Творецъ какъ и въ первые дни творенія, завершая каждый день похвалою: “хорошо то чтò я сотворилъ”, смотритъ на Іова и вновь хвалится созданиємъ Своимъ. А Іовъ, хваля Господа, служитъ не только Ему, но послужить и всему созданію Его въ роды и въ роды и во вѣки вѣковъ, ибо къ тому и предназначенъ былъ. Господи, чтò это за книга и какіе уроки! <...> И сколько тайнъ разрѣшенныхъ и откровенныхъ: возстановляетъ Богъ снова Іова, даетъ ему вновь богатство, проходятъ опять многіе годы, и вотъ у него уже новыя дѣти, другія, и любить онъ ихъ, — Господи: “Да какъ могъ бы онъ казалось возлюбить этихъ новыхъ, когда тѣхъ прежнихъ нѣтъ, когда тѣхъ

³⁴⁾ Ів. С. 44.

лишился? Вспоминая тѣхъ развѣ можно быть счастливымъ въ полнотѣ какъ прежде съ новыми, какъ бы новыя ни были ему милы?" Но можно, можно: старое горе великою тайной жизни человѣческой переходитъ постепенно въ тихую умиленную радость; вмѣсто юной кипучей крови наступаетъ кроткая ясная старость: [душа какъ бы говоритъ себе:] благословляю восходъ солнца ежедневный, и сердце мое попрежнему поетъ ему, но уже болѣе люблю закатъ его, длинные косые лучи его, а съ ними тихія, кроткія, умиленные воспоминанія, милые образы изо всей долгой и благословенной жизни...»

Последними словами Достоевский какъ бы связываетъ свое детство съ последними днями своей жизни. Когда-то, давным-давно, более пятидесяти летъ передъ темъ, в отдаленномъ детстве онъ вынесъ чрезвычайно сильное, до глубины души всколыхнувшее его, незабываемое впечатление.

Правда небесная наполнила его душу.

Правда эта в томъ, что Богъ любитъ насъ такой глубокою и сильною любовью, что намъ при ограниченности нашей не понять всей силы и глубины этой любви.

Красивый солнечный светъ, такъ и льющійся в храмъ, и согревающий насъ, и освещающій всю красоту храма, душистый ароматъ фимиама, тихое сладостное пѣніе, держащая его ручку теплая рука нежно любящей его матери — все это является какъ бы символомъ льющейся на насъ широкими волнами Божьей любви. В чувствѣ этой любви какъ-то интуитивно примиряешься с темъ, чего не понимаешь.

Происходитъ ведь что-то таинственное, для насъ совершенно необъяснимое. У хорошаго, праведнаго, благочестиваго человека отнимается все: и богатство, и дети, и здоровье, онъ попадаетъ в положеніе Лукерьи изъ «Живыхъ мощей», в положеніе монаха, лежащаго на по-

лу кельи в Оптиной пύстыни. Казалось бы, ему остается лишь проклинать Бога, так тяжело его поразившего.

Но ранее, перед этим ударом, он столько ощутил любви Божьей, такими широкими волнами вливалась она в его открытую душу, что навсегда поразила его своею никогда не забываемою теплотою.

И вот теперь, когда один удар поражает его за другим, когда небо покрывается все более и более мрачными, свинцовыми тучами, когда не видно более и не ощутительно теплого, яркого солнца, когда не ощущает более обоняние душистого аромата фимиама, когда не слышит более ухо сладостного, тихого пения, когда душа, казалось, замыкается в темный узкий гроб, он, несмотря на все это, все же говорит себе: а все-таки солнце есть, хотя я теперь не чувствую его тепла и света, все-таки есть душистый аромат от фимиама или от прекрасных цветов, от распускающихся весной клейких почек, от смолистого запаха сосен и елей в теплый день, все-таки есть пение, музыка, искусство.

Все-таки есть любовь, любовь неистощимая, все согревающая, все примиряющая и объясняющая, и он говорит убежденно: «нагъ вышелъ изъ чрева матери, нагъ и возвращусь въ землю, Богъ далъ, Богъ и взялъ. [И все-таки Богъ любовь.] Буди имя Господне благо-словенно отнынѣ и до вѣка!»

Восьмилетний ребенок не понимает, в чем тут именно дело, но он как бы слышит какую-то таинственную, непонятную ему, но чудную мелодию, наполняющую всю его душу примиряющим чувством. И эта мелодия остается на всю жизнь в душе его, как говорится в «Ангеле» Лермонтова, «без слов, но живой», и когда его жизнь подходит к концу, опыт этой жизни говорит ему то же самое: много, очень много в жизни непонятного, много беспричинного, казалось бы, горя, много страданий, но и много, бесконечно много хорошего и прекрасного.

Прекрасен мир со всею его невыразимою красотою, красотою розовеющих на восходе солнца снеговых вершин гор, красотою радуги, цветов, певчих птиц, бабочек, красотою могучего, таинственно шумящего леса, красотою бесконечного океана и небольшого, играющего на солнце водопада. Прекрасна вся риза Господня!

Прекрасна неизъяснимой своей красотою материнская любовь, прекрасна первая любовь чистого юноши и чистой девушки, прекрасна искренняя глубокая дружба, прекрасна жертвенная любовь, спасающая гибнущих! Прекрасен мощный источник всего этого — Бог!

Много в жизни грусти, скорби, горя, но «старое горе великою тайной жизни человеческой переходит постепенно въ тихую умиленную радость».

И старый, приближающийся к смерти Достоевский говорит себе то же, что слышал в раннем детстве, но говорит теперь с закаленным долгою жизнью убеждением: и все-таки Бог — любовь, или его собственными словами: все-таки «надо всѣмъ-то правда Божія умиляющая, примиряющая, всепрощающая!» И он прибавляет: «Кончается жизнь моя, знаю и слышу это, но чувствую на каждый оставшийся день мой, какъ жизнь моя земная соприкасается уже съ новою, бесконечною, невѣдомою, но близко грядущею жизнью, отъ предчувствія которой восторгомъ трепещетъ душа моя, сіяетъ умъ и радостно плачетъ сердце...»³⁵⁾

10-я лекция, 8 декабря 1931 года

Прошлый раз, говоря о религиозных впечатлениях ребенка и отрока Достоевского, я упомянул, что Достоевский в 1873 году в № 50 еженедельного журнала «Гражданин», редактором которого он был, между

³⁵⁾ *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. XII. С. 347.

прочим написал: «Мы въ семействѣ нашемъ знали Евангеліе чуть не съ перваго дѣтства»¹⁾.

Так как именно Евангелие сыграло решающую роль в жизни этого человека, а евангельский дух его произведений определил мировое значение Достоевского, нам необходимо остановиться на этой стороне его детства.

И снова воспоминания его младшего брата Андрея Михайловича дают нам ценные сведения. Вот что мы читаем у него: «Первоначальным обучением всех нас грамоте, то есть азбуке, занималась наша маменька. Азбуку учили не по-нынешнему, выговаривая буквы *а, б, в, г* и т. д., а выговаривали по-старинному, то есть: *аз, буки, веди, глаголь* и т. д. и, дойдя до *ижицы*, всегда приговаривалась известная присказка [“ижица, к ленивому плетъ движется”]. После букв следовали склады двойные, тройные, четверные и чуть ли не пятерные, вроде: *бвгра, вздра* и т. п., которые часто и выговаривать было трудно. Когда премудрость эта уже постигалась, тогда приступали к постепенному чтению <...> Первою книгою для чтения была у всех нас одна. Это <...> [Сто четыре священные истории, выбранные из Ветхого и Нового Завета, в пользу юношества, Иоанном Гибнером, с присовокуплением благочестивых размышлений. С немецкого вновь переведено Василием Богородским. В двух частях. СПб. (издано в 20-х годах прошлого столетия)]. При ней было несколько довольно плохих литографий: [с изображением] сотворения мира, пребывания Адама и Евы в раю, потопа и прочих главных священных фактов»²⁾.

И Андрей Михайлович прибавляет: «Помню, как в недавнее уже время, а именно в 70-х годах, я, разговаривая с братом Федором Михайловичем про наше детство, упомянул об этой книге; и с каким он вос-

¹⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. IX. С. 342.

²⁾ Достоевский А. М. Воспоминания. С. 63.

торгом объявил мне, что ему удалось разыскать этот же самый экземпляр книги (т. е. наш детский) и что он бережет его как святыню»³⁾.

Последние слова Андрея Михайловича подтверждаются тем, что в числе оставшихся от Достоевского книг действительно имелась эта книга, которая теперь хранится в «Музее памяти Ф. М. Достоевского»⁴⁾.

О том же упоминает и сам Достоевский в VI книге своих «Братьев Карамазовых». Там у него старец Зосима рассказывает между прочим: «Къ воспоминаніямъ <...> домашнимъ причитаю и воспоминанія о священной исторіи, которую въ домѣ родительскомъ, хотя и ребенкомъ, я очень любопытствовалъ знать. Была у меня тогда книга, священная исторія, съ прекрасными картинками, подъ названіемъ: “Сто четыре священные исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта”, и по ней я и читать учился. И теперь она у меня здѣсь на полкѣ лежитъ, какъ драгоценную память сохраняю»⁵⁾.

В этих словах Достоевского характерно, что он так любил эту книгу, что даже те картинки в ней, которые его младший брат называет «довольно плохими литографиями», кажутся ему «прекрасными картинками!».

Но не только из чтения книг Достоевский знакомился с евангельскими истинами.

Андрей Михайлович рассказывает дальше: «В это время к нам ходил[...] на дом <...> дьякон, преподававший Закон Божий. Дьякон этот чуть ли не служил в Екатерининском институте; по крайней мере, наверное знаю, что он там был учителем. К его приходу в зале [окрашенной в желто-канареечный цвет, с двумя окнами на улицу и тремя на чистый двор] всегда раскладывали ломберный стол, и мы четверо детей

³⁾ Иб.

⁴⁾ Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. С. 68.

⁵⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. XII. С. 345.

помещались за этим столом вместе с преподавателем. Маменька всегда садилась сбоку, в стороне, занимаясь какой-нибудь работой. Многих впоследствии имел я законоучителей, но такого, как отец дьякон, не припомню. Он имел отличный дар слова, и весь урок, продолжавшийся по-старинному часа $1\frac{1}{2}$ –2, проводил в рассказах, или, как у нас говорилось, в толковании Св. писания. Бывало, придет, употребит несколько минут на спрос уроков и сейчас же приступит к рассказам — о потопе, о приключениях Иосифа. О рождестве Христове он говорил особенно хорошо, так что бывало и маменька, оставив свою работу, начинает не только слушать, но и глядеть на воодушевляющегося преподавателя. Положительно могу сказать, что он своими уроками и своими рассказами умилял наши детские сердца. Даже я, тогда 6-летний мальчик, с удовольствием слушал эти рассказы, несколько не утомляясь их продолжительностью»⁶⁾.

Нельзя не подчеркнуть все значение этих воспоминаний.

Обыкновенно говорят, что Достоевский лишь на каторге понял всю глубину евангельских истин, и, конечно, тогдашние впечатления его были особенно сильны и сознательны, и нам в свое время еще придется на этом остановиться.

Но Евангелие произвело на Достоевского такое глубокое впечатление в его зрелые годы именно потому, что он полюбил его уже в детстве и незаметно для самого себя проникся его истинами уже тогда. Только этим мы можем объяснить, что уже его ранние, до каторги написанные произведения, как «Бедные люди», «Неточка Незванова» и «Маленький герой», овеяны евангельским духом, который потом стал преобладающим в его романах 60-х, 70-х и 80-х годов.

⁶⁾ *Достоевский А. М.* Воспоминания. С. 64.

Чуткий, отзывчивый ребенок, выросший в религиозно настроенной семье в эпоху, взрастившую Диккенса, Виктора Гюго, Толстого, Ибсена, Киркегора, жадно вчитывался в свои 104 священные истории и вслушивался в каждое слово отца дьякона, рассказывавшего так красноречиво и тепло о рождении Сына Божия, потомка царя Давида, в бедной конюшне, в окрестностях Вифлеема, о том, как Он жил и работал в Назарете в доме плотника Иосифа, как потом несколько лет учил свой народ стремиться к тому, чтобы стать совершенными, как Отец их Небесный, о том, как Он чувствовал жалость и любовь к униженным, оскорбленным и презренным того времени, лечил прокаженных, помогал увечным и страдающим, ел с грешниками и мытарями, избрал мытаря Матфея в апостолы, спас от побиения камнями блудницу, ставил незлобного, безгневного и беззавистного ребенка в пример своим ученикам, уберег даже своего предателя Иуду от гнева его соапостолов, услав Иуду с тайной вечери, когда апостолы начали догадываться о его предательской роли, безмолвно перенес все оскорбления, глумления и заушения своих палачей, неся свой крест, плакал не о своей участи, а об участи дочерей Иерусалимских и их детей, пожалел разбойника на кресте и молился за тех, кто глумился над Ним и мучил Его.

Все это запало в любвеобильную душу гениального ребенка и медленно назревало там, пока не вылилось в его собственной жизни в самоотверженной всепрощающей любви к старшему брату и первой жене и в произведениях его: в безмерной жалости ко всем страдающим и всем отверженным современного общества, начиная с «пьяненьких» вроде Мармеладова, таких женщин, как Соня Мармеладова и швейцарка Мари из «Идиота», страдальца Димитрия Карамазова с его двумя безднами и кончая детьми из колонии малолетних преступников и бабами из погоревшей деревни, с ко-

ричевыми худыми испитыми лицами, с плачущим *дитё* на руках, протягивающим свои голенькие ручки, с кулачонками от холоду совсем какими-то сизыми.

Конечно, все, что читал и слышал ребенок Достоевский из Евангелия, не произвело бы на него такого впечатления, если бы он не видел собственными глазами евангельских истин, воплощенных в действительной жизни, если бы не слышал сам, как его собственная нянюшка Алена Фроловна, эта сорокапятипудовая гиря, над которой добродушно посмеивались, но которую все же очень любили, хотела отдать его родителям все свое выслуженное долгою службою жалование, когда сгорела их деревня⁷⁾, если бы их крепостной мужик Марей не приласкал и не утешил его, когда он испугался волка и когда Марей с такой нежной материнской улыбкой и с робкою нежностью прикоснулся своим толстым, с черным ногтем, запачканным в земле пальцем к дрожащим губам его и посмотрел на ребенка таким сияющим светлой любовью взглядом⁸⁾.

Такие случаи из живой, действительной жизни показали ему, как в жизни русского народа отразился образ того Христа, о котором так вдохновенно рассказывал детям отец дьякон.

Но и многое другое дало ребенку возможность узнать того *русского Христа*, которого он так любил всю свою жизнь и о котором он так много говорит в своих произведениях.

В третьей главе июльско-августовской книжки «Дневника писателя» за 1877 год Достоевский замечает между прочим: «...есть чрезвычайно много рассказчиков и рассказчиц о Житіяхъ Святыхъ. Рассказываютъ они изъ Четьи-Миней прекрасно, точно, не вставляя ни единого лишняго слова отъ себя, и ихъ заслушиваютъ

⁷⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. X. С. 140.

⁸⁾ Ib. С. 57–59.

ся. Я самъ въ дѣтствѣ слышалъ такіе рассказы прежде еще, чѣмъ научился читать»⁹⁾.

Те из вас, кто недавно читал «Дворянское гнездо» Тургенева, помнят, наверно, как Тургенев в 35-й главе рассказывает о впечатлении, произведенном на Лизу Калитину рассказами ее няни Агафьи как раз об упоминаемых здесь Достоевским житиях святых.

Тургенев рассказывает, как «...Агафья, вся в черном, с темным платком на голове, с похудевшим, как воск прозрачным, но все еще прекрасным и выразительным лицом, сидит [бывало] прямо и вяжет чулок; [а] у ног ее, на маленьком креслице, сидит Лиза и тоже трудится над какой-нибудь работой или, важно поднявши светлые глазки, слушает, что рассказывает ей Агафья; а Агафья рассказывает ей не сказки: мерным и ровным голосом рассказывает она житие Пречистой Девы, житие отшельников, угодников Божиих, святых мучениц; говорит она Лизе, как жили святые в пустынях, как спасались, голод терпели и нужду, — и царей не боялись, Христа исповедовали; как им птицы небесные корм носили и звери их слушались; как на тех местах, где кровь их падала, цветы вырастали <...> Агафья говорила с Лизой важно и смиренно, точно она сама чувствовала, что не ей бы произносить такие высокие и святые слова. Лиза ее слушала — и образ Вездесущего, Всезнающего Бога с какой-то сладкой силой втеснялся в ее душу, наполнял ее чистым, благовейным страхом, а Христос становился ей чем-то близким, знакомым, чуть не родным <...> вся эта смесь <...> странного, святого потрясала девочку, проникала в самую глубь ее существа. [При том же] Агафья никогда никого не осуждала и Лизу не бранила за шалости. Когда она бывала чем недовольна, она только молчала; и Лиза понимала это молчание; <...> посеянные

⁹⁾ Иб. Т. XI. С. 265.

[любимой няней] семена пустили <...> глубокие корни <...> [и] след, оставленный ею в душе Лизы, не изгладился <...> Вся проникнутая чувством долга, боязнию оскорбить кого бы то ни было, с сердцем добрым и кротким, она любила всех и никого в особенности; она любила одного Бога восторженно, робко, нежно»¹⁰⁾.

Резвый, живой ребенок Достоевский, конечно, по-иному воспринимал слышанные им в детстве рассказы о святых и мучениках, чем тихая, нежная Лиза.

Но его сильная впечатлительность и живая фантазия вели к тому, что он, хотя вряд ли давал себе время долго сидеть неподвижно, прислушиваясь к рассказам, ярко воспринимал все слышанное, и поэтому впечатление рассказов должно было глубоко западать и в его душу и оставлять следы на всю его жизнь. Недаром он в романе «Подросток» вкладывает подобный «житийный» рассказ в уста своего любимого героя Макара Ивановича¹¹⁾ и так ярко рисует самого этого рассказчика житий.

Вот это описание: «Прежде всего привлекало въ немъ <...> его чрезвычайное чистосердечіе и отсутствіе малѣйшаго самолюбія; предчувствовалось почти безгрѣшное сердце. Было “веселіе” сердца, а потому и “благообразіе”. Слово “веселіе” онъ [кстати сказать] очень любилъ и часто употреблялъ. <...> Видно было, что онъ много исходилъ по Россіи, много переслушалъ, но <...> больше всего онъ любилъ умиленіе, а потому и все на него наводящее, да и самъ любилъ разсказывать умилительныя вещи. Вообще, разсказывать очень любилъ. Много я отъ него переслушалъ и о собственныхъ его странствіяхъ, и разныхъ легендъ изъ жизни самыхъ древнѣйшихъ “подвижниковъ” <...> усвоивъ ихъ, большею частью, изъ изустныхъ же разсказовъ

¹⁰⁾ *Тургенев И. С.* Сочинения (1844–1868). М., 1874. Ч. 4. С. 178–180.

¹¹⁾ *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 399–410.

простонародья. <...> [В этих рассказах] всегда мелькало какое-то удивительное цѣлое, полное народного чувства и всегда умиленное <...> Я запомнилъ, на-примѣръ, изъ этихъ разсказовъ, одинъ длинный разсказъ — “житіе Маріи Египетской”. <...> Я прямо говорю: это почти нельзя было вынести безъ слезъ, и не отъ умиленія, а отъ какого-то страннаго восторга: чувствовалось что-то необычайное и горячее, какъ та раскаленная песчаная степь со львами, въ которой скиталась святая»¹²⁾.

Такие слова Достоевскаго лучше всего показывают, какой яркій следъ оставили в его жизни выслушанные им в детстве рассказы.

Но не только рассказы о «подвижниках» и «святыхъ», жившихъ столетія и тысячелетія до нас, поражали воображеніе Достоевскаго — ребенка и отрока, но и рассказы о святыхъ нашихъ дней.

В своей биографіи Достоевскаго Гроссманъ высказываетъ предположеніе, что Достоевскій уже в детстве слушалъ «рассказы о такихъ святыхъ подвижникахъ, какъ благочестивѣйшій докторъ Гаазъ, тогдашній московскій тюремный врачъ, праведнѣйшій изъ праведниковъ, “святѣй докторъ”, какъ его называли арестанты»¹³⁾.

И такое предположеніе вполне вероятно, потому что, хотя докторъ Гаазъ умеръ лишь в 1853 году, когда Федору Михайловичу уже было 32 года, рассказы о немъ начали ходить по Москвѣ еще до рожденія Достоевскаго, а в 1829–1835 годахъ докторъ Гаазъ былъ предметомъ постоянныхъ разговоровъ в Москвѣ.

Техъ, кто интересуется этой изъ ряду вонъ выходящею личностью, я отсылаю къ великопечной книгѣ о немъ известнаго судебнаго дѣятеля Анатолія Федоровича Кони «Феодоръ Петровичъ Гаазъ» (1897 г., 4-е изд. — 1904 г.) и къ немецкой книгѣ биографа Достоевскаго

¹²⁾ Ib. С. 392–393.

¹³⁾ Гроссманъ Леонид. Путь Достоевскаго. С. 33–34.

Карла Нётцеля «Menschen der Liebe» (Wernigerode am Harz, 1928).

Нам здесь важно познакомиться с этою светлою личностью лишь постольку, поскольку она отразилась в творчестве Достоевского.

В VI главе III части «Идиота» Ипполит в своем «необходимом объяснении» между прочим говорит: «Единичное добро останется всегда, потому что оно есть потребность личности, живая потребность прямого вліянiя одной личности на другую. Въ Москвѣ жилъ одинъ старикъ, одинъ “генераль”, то-есть дѣйствительный статскій совѣтникъ, съ нѣмецкимъ именемъ; онъ всю свою жизнь таскался по острогамъ и по преступникамъ; каждая пересыльная партія въ Сибирь знала заранее, что на Воробьевыхъ горахъ ее постѣтитъ “старичокъ генераль”. Онъ дѣлалъ свое дѣло въ высшей степени серіозно и набожно; онъ являлся, проходилъ по рядамъ ссыльныхъ, которые окружали его, останавливался предъ каждымъ, cadaго разспрашивалъ о его нуждахъ, наставленій не читалъ почти никогда никому, звалъ ихъ всѣхъ “голубчиками”. Онъ давалъ деньги, присылалъ необходимыя вещи — портянки, подвертки, холста, приносилъ иногда душеспасительныя книжки и одѣлалъ ими cadaго грамотнаго, съ полнымъ убѣжденіемъ, что они будутъ ихъ дорогой читать, и что грамотный прочтетъ неграмотному. Про преступленіе онъ рѣдко разспрашивалъ, развѣ выслушивалъ, если преступникъ самъ начиналъ говорить. Всѣ преступники у него были на равной ногѣ, различія не было. Онъ говорилъ съ ними какъ съ братьями, но они сами стали считать его подъ конецъ за отца. Если замѣчалъ какую-нибудь ссыльную женщину съ ребенкомъ на рукахъ, онъ подходилъ, ласкалъ ребенка, пощелкивалъ ему пальцами, чтобы тотъ засмѣялся. Такъ поступалъ онъ множество лѣтъ, до самой смерти; дошло до того, что его знали по всей Россіи и по

всей Сибири, то—есть, всѣ преступники. Мнѣ рассказы-
валъ одинъ бывшій въ Сибири [Достоевский здесь,
конечно, говорит о самом себе], что онъ самъ былъ
свидѣтелемъ, какъ самые закоренѣлые преступники
вспоминали про генерала, а между тѣмъ, посѣщая пар-
тіи, генераль рѣдко могъ раздать болѣе двадцати копѣ-
екъ на брата. <...> Какой—нибудь изъ “несчастныхъ”,
убившій какихъ—нибудь двѣнадцать душъ, заколовшій
шесть штукъ дѣтей, единственно для своего удоволь-
ствія (такіе, говорятъ, бывали), вдругъ ни съ того, ни
съ сего, когда—нибудь <...> вдругъ вздохнетъ и ска-
жетъ: “А что—то теперь старичокъ—генераль, живъ ли
еще?” <...> [И] почему [знать] <...>, какое сѣмя забро-
шено въ его душу на вѣки этимъ “старичкомъ—гене-
раломъ”, которого онъ не забылъ въ двадцать лѣтъ?»¹⁴⁾

Другой раз Достоевский вспоминает о Гаазе через
два года, когда в 1870 году набрасывает план огром-
ного романа в пяти частях «Житие великого греш-
ника», где герой («великий грешник») после долгой
жизни, в течение которой он сперва — атеист, потом
верующий, потом фанатический сектант, потом снова
атеист, кончает тем, что становится кротким и со-
страдательным ко всем и открывает воспитательное
заведение для порочных детей. Все яснее в его душе,
он становится Гаазом¹⁵⁾.

Согласно этому наброску, Гааз является для Досто-
евского почти высшим идеалом человека, высшею
окончательною целью воскресшего к новой жизни
грешника.

Если Гроссман прав, что Достоевский в детстве слы-
шал о Гаазе, то личность Гааза уже тогда произвела
на него чрезвычайно сильное впечатление, иначе она

¹⁴⁾ *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. VI. С. 436–437.

¹⁵⁾ Документы по истории литературы и общественности.
Вып. 1. Ф. М. Достоевский / Изд. Централхива РСФСР. М.,
1922. С. 77.

не могла бы так отразиться в его воспоминаниях, и тогда это впечатление принадлежит к тем, которые Достоевский называет драгоценными воспоминаниями, которые кладут свой отпечаток на всю будущую жизнь человека.

11-я лекция, 2 февраля 1932 года

Прежде чем продолжать прошлогодний курс, мне хотелось бы в нескольких кратких чертах возобновить в вашей памяти те выводы, к которым мы тогда пришли.

Прошло более 50 лет со дня смерти Достоевского, и настало наконец время дать более правильное представление о личности и творчестве Достоевского, чем то, которое установилось в течение его жизни и продолжает оставаться господствующим до сего дня.

Это ложное представление сводится к тому, что Достоевский тяжелый писатель, что он мрачно, пессимистически смотрит на жизнь, что он изображает, главным образом, лишь отрицательные стороны и проявления жизни, что у него нет веры в светлое настоящее и светлое будущее и что чтение его произведений поэтому оставляет тягостное, мучительное впечатление.

Анализируя причины возникновения такого, как мне представляется, совершенно ошибочного взгляда, я хотел отметить разницу между субъективным взглядом и объективной истиной.

Субъективный взгляд — наше личное впечатление — основан 1) на том непосредственном, прямом впечатлении, которое чтение производит на нас, и 2) на том предвзятом мнении, которое вызвано в нас ошибочным, пристрастным отношением предшествовавшей критики.

Наше непосредственное прямое впечатление зависит от того, что мы сперва прочтем у Достоевского. Если мы прочтем историю швейцарской Мари в «Идиоте», историю «Неточки Незвановой», героини «Белых но-

чей», «Маленького героя», прием Шатовым его жены в «Бесах», историю дуэли Зосимы в «Братьях Карамазовых», историю Алея в «Записках из Мертвого дома», многие страницы описания встречи Подростка с Макаром, историю врача Гинденбурга в «Дневнике писателя» и т. п., мы вынесем самое светлое, жизне-радостное впечатление, если же мы начнем наше чтение с описаний тяжелых кошмаров Ивана Карамазова в «Братьях Карамазовых», Свидригайлова и Раскольникова в «Преступлении и наказании» или с чтения повести «Кроткая» в «Дневнике писателя», с описания ночи, проведенной князем Мышкиным и Рогожиным у трупа Настасьи Филипповны, и т. п., то мы, конечно, вынесем тягостное, мучительное впечатление.

Но впечатление это зависит не от того, что Достоевский нарочно, садически, наслаждается описаниями мук, а вызвано тем, что Достоевский, как немецкий писатель Гофман и американец Эдгар Аллан По, один из первых в мировой литературе углубляется в подсознательный мир описываемых им людей и показывает нам человека таким, каким он есть на самом деле, во всей его сложности, со всеми безднами зла и добра, которые его отличают; а мы, люди, даже самые лучшие среди нас, к сожалению, скрываем гораздо больше зла и недостатков, чем мы обыкновенно склонны думать, и неприкрашенный портрет нашей души поэтому невольно производит мрачное впечатление.

С другой стороны, однако, не следует забывать, что подробный психологический анализ подсознательного способен открыть в душах самых мрачных, самых преступных, казалось бы, людей такие золотые россыпи добра, сострадания, любви, чисто детской наивной веселости, что нам захватывает дух от радости, когда мы наталкиваемся у Достоевского на такие проблески света во тьме, на такие самоцветные драгоценные камни в куче навоза.

Припомните хотя бы любовь к животным у тягчайших преступников Мертвого дома, или чисто детскую радость их во время театральных представлений в остроге, или восклицание одного из преступников: «Тоже ведь мать была!» при взгляде на обнаженный, иссохший труп умершего от чахотки убийцы, или нежное, полное внимания, такта, любви отношение швейцарских детей к Мари, детей, которые только что перед тем насмехались, глумились над нею и всячески ее преследовали, или внезапный, неожиданный прорыв хорошего искреннего чувства у Гани в «Идиоте» после того, как он только что перед тем дал пощечину князю Мышкину, или такой же неожиданный прорыв нежной, детской любви к Илюше у детей, недавно перед тем со злобой кидавших в того же Илюшу камнями, или такой же внезапный прорыв чистого искреннего чувства любви к людям и природе у брата Зосимы Маркела, и т. д. без конца.

При совершенно объективном анализе произведений Достоевского таких примеров светлого, жизнерадостного отношения к жизни мы сможем найти у него гораздо больше, чем примеров мучительного, болезненного торжества злобы и ненависти. И если, несмотря на это, на Достоевского установился взгляд противоположного характера, то тут, безусловно, виновато сильно предвзятое отношение к нему.

И вот на анализ причин возникновения такого предвзятого мнения мы и потратили много времени в прошлом полугодии. Я старался показать вам, что предвзятое мнение против Достоевского, главным образом, возникло от того, что в последние годы его жизни и почти полтора десятка лет после его смерти сильное влияние на умы тогдашней русской интеллигенции имел талантливый и умный критик Михайловский.

Михайловский по всем своим политическим взглядам был прямою противоположностью Достоевского,

его убежденным политическим противником; но он, кроме того, как напомнил мне один из дорогих моих корреспондентов, был и убежденным его религиозным противником, не только как позитивист и материалист, но и как прямой атеист, смотревший на религию так, как смотрят большевики, согласно лозунгу «религия есть опиум народов».

Вот этот-то политический и религиозный противник Достоевского использовал весь свой несомненный ум и недюжинный талант на старания по возможности на веки вечные развенчать Достоевского и сделать его и его произведения невозможными, неприемлемыми для интеллигентных читателей.

Старания Михайловского увенчались продолжительным успехом: кроме Соловьева, Воынского и Андреевского, почти все последующие критики, писавшие о Достоевском, находились более или менее под сознательным или бессознательным влиянием воззрений Михайловского. Сюда прежде всего относятся Страхов, Мережковский, Вересаев и Гроссман. Отсюда невольно прорывающееся у них недоверие к Достоевскому, представление о том, что у него не было твердой, ясной веры в Бога и в религию, и невольное представление его и его произведений в гораздо более мрачном и жизнеотрицающем виде, чем они того заслуживали.

В частности, мне пришлось подробно остановиться на опровержении взглядов Гроссмана, с которым, вне всякого сомнения, приходится очень и очень считаться, ввиду его вполне заслуженной репутации прекрасного знатока Достоевского. При недоверчивом отношении Гроссмана к жизнерадостности Достоевского и к непоколебимости его веры в любящего человечество Бога и в светлое будущее людей Гроссману естественно было *умалить* роль религии в жизни Достоевского и представить его детство в возможно более мрачном свете.

Мне же, убежденному, наоборот, в оптимистическом светлом мировоззрении Достоевского и в том, что оптимизм этот покоился на глубоком религиозном убеждении и светлом христианском взгляде на природу и жизнь, необходимо было доказать неправоту Гроссмана, так как, по моему искреннему убеждению, Достоевский не в состоянии был бы вынести всего ужаса каторги, совершенно разбившей нравственно его товарища Дурова, превратившей Дурова в слабую болезненную тряпку, и всех из ряда вон выходящих тягот предыдущей и последующей жизни, если бы Достоевский не мог в тяжелые минуты отдыхать душою на воспоминаниях о светлом безмятежном детстве и если бы у него не жило почти всегда твердое, положительное религиозное чувство, дававшее ему силы переносить то, что обыкновенному человеку было бы слишком тяжело, почти невозможно перенести.

Насколько мне это удалось, судить не мне, но хотелось доказать вам, что детство Достоевского, вопреки мнению Гроссмана, было, в общем, полно безмятежного хорошего детского счастья, что родители его были на редкость гуманные люди, никогда не прибегавшие к телесным наказаниям и, чтобы избежать таких наказаний, поместившие его и его братьев и сестер в дорогие частные учебные заведения, что время его проходило в обыкновенных веселых детских играх, инициатором, главным изобретателем и руководителем которых был нередко он сам, в слушании и чтении народных сказок, в мечтаниях в роще и лесу в деревне и наблюдении жизни насекомых и маленьких животных, в купании, рыбной ловле и т. п. летних занятиях, в совместных чтениях с братьями, сестрами и родителями хороших книг, в нежной глубокой дружбе к старшему брату, в знакомстве с произведшими глубокое длительное впечатление сочинениями Пушкина и Карамзина, в раннем знакомстве с евангельским учением,

оказавшим на него сильное влияние, в посещениях Троице-Сергиевой Лавры и московских церквей, в запомнившемся на всю жизнь глубоком впечатлении от церковного чтения об Иове, сохранившем, несмотря на все несчастья, непоколебимую веру в любвеобильного Бога, в знакомстве с монахами, монашками и паломниками, рассказывавшими о праведной жизни святых и мучеников, во встречах с живыми примерами настоящих христиан вроде мужика Марее и няни Алены Фроловны и в ознакомлении по слуху с таким редким олицетворением деятельной христианской любви, как доктор Гааз.

Питаю ввиду сказанного некоторую надежду на то, что вы согласитесь со мною, что внушенное Михайловским предвзятое мнение Гроссмана ошибочно и что у Достоевского, уже благодаря впечатлениям детства, были все задатки к тому, чтобы вынести жизнерадостное воззрение на жизнь и людей.

Пойду теперь дальше. С начала осени 1836 года, когда 36-летняя мать Достоевского начала сильно хворать чахоткою, кончилось счастливое детство 15-летнего тогда Достоевского, и его нежного чуткого сердца впервые коснулось тогда то горе и страдание, которыми так полна была его следующая за тем жизнь.

Младший брат Достоевского Андрей Михайлович пишет в своих воспоминаниях: «Силы ее падали очень быстро, так что в скором времени она не могла расчесывать своих очень густых и длинных волос. Эта процедура начала ее сильно утомлять, а предоставить свою голову в чужие руки она считала неприличным, а потому и решила остричь свои волосы почти под гребенку. Вспоминаю об этом обстоятельстве потому, что оно сильно меня поразило. С начала нового 1837 г. состояние маменьки очень ухудшилось, она почти не

вставала с постели, а с февраля месяца и совершенно слегла в постель»¹⁾.

27 февраля в седьмом часу утра она скончалась, простившись и благословив детей и мужа. «Все приготовления к похоронам, троекратные в день панихиды, шитье траура и проч., были очень прискорбны и утомительны, а в понедельник 1 марта, в первый день Великого поста, состоялись похороны»²⁾.

После смерти матери Достоевского постигло новое горе. До него тогда дошло первое известие о происшедшей уже месяц перед тем смерти Пушкина.

«Помню, [пишет Андрей Михайлович Достоевский] что братья чуть с ума не сходили, услышав <...> [о смерти дорогого им поэта] и о всех подробностях ее. Брат Федор в разговорах со старшим братом несколько раз повторял, что ежели бы у нас не было семейного траура, то он просил бы позволения отца носить траур по Пушкине»³⁾.

Затем у Достоевского открылась горловая болезнь, такая упорная, что она не поддавалась никакому лечению. Он потерял временно голос, так что с большим напряжением говорил шепотом и его трудно было расслышать. Наконец после долгого времени она прошла сама собой, но, по мнению младшего брата, следы этой болезни остались у Достоевского на всю его жизнь. Андрей Михайлович говорит: «Кто помнит <...> голос [Достоевского] и манеру говорить, тот согласится, что голос его был не совсем естественный, — более грудной, нежели бы следовало»⁴⁾.

К этому же времени относится путешествие Достоевского и его старшего брата в Троице-Сергиеву Лав-

¹⁾ *Достоевский А. М.* Воспоминания. С. 77.

²⁾ *Иб.* С. 78.

³⁾ *Иб.* С. 78–79.

⁴⁾ *Иб.* С. 79.

ру за 60 верст от Москвы с сестрою их матери Александрой Федоровной Куманиной⁵⁾.

Отец Достоевского после смерти матери решил отвезти старших двух сыновей в Петербург для помещения их там в Военное инженерное училище и затем выйти самому в отставку и переехать на жительство в деревню. До поездки в Петербург он желал поставить памятник на могиле покойной жены. Избрание же надписи на памятнике он предоставил старшим своим сыновьям Михаилу и Федору. «Они оба решили, чтобы было только обозначено имя, фамилия, день рождения и смерти. На заднюю же сторону памятника выбрали надпись из [“Эпитафии” 1792 г.] Карамзина: “Покойся, милый прах, до радостного утра”...»⁶⁾

В мае 1837 года отец Достоевского отправился со своими старшими сыновьями в Петербург, после того как знакомый священник Достоевских отец Иоанн Баршев отслужил напутственный молебен. Путешествие на лошадях продолжалось почти неделю и, как вспоминает позже Достоевский в своем «Дневнике писателя»⁷⁾, в конце концов ужасно им надоело.

Для нас важны те несколько строчек, в которых Достоевский 39 лет спустя передает свои воспоминания о мечтах, наполнявших братьев во время пути: «Мы съ братомъ стремились тогда въ новую жизнь, мечтали объ чемъ-то ужасно, обо всемъ “прекрасномъ и высокомъ”, — тогда это словечко [замечает Достоевский] было еще свѣжо и выговаривалось безъ ироніи. И сколько тогда было и ходило такихъ прекрасныхъ словечекъ! Мы вѣрили чему-то страстно <...> и мечтали мы только о поэзии и поэтахъ. Брать писаль стихи, каждый день стихотворенія по три, и даже

⁵⁾ *Иб.*

⁶⁾ *Иб.* С. 80, 412.

⁷⁾ *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. X. С. 32.

дорогой, а я безпрерывно въ умѣ сочинялъ романъ изъ Венеціанской жизни»⁸⁾.

По приезде в Петербург отец Достоевского вместе с сыновьями поселился в гостинице у Обухова моста. В этой гостинице они познакомились с юношей двадцати одного года (родился в 1816 г., умер в 1872 г.) Иваном Николаевичем Шидловским⁹⁾, которого отец Достоевского очень полюбил¹⁰⁾ и о котором он потом в письмах к сыновьям неоднократно спрашивался.

Шидловский имел огромное влияние на обоих братьев Достоевских, особенно на Федора Михайловича, который был пятью годами младше его. Об этом необыкновенном человеке, который, по словам Долинина, напоминает своим характером и судьбою одного из своеобразнейших русских искателей правды и подвига Владимира Сергеевича Печерина (1807–1885)¹¹⁾, нам придется еще подробно говорить по поводу чувства дружбы, позднее соединявшего Достоевского с ним.

Отец Достоевского, этот, по описанию Гроссмана, будто бы жестокий, подозрительный и скупой человек, оставался целый месяц с детьми в Петербурге¹²⁾, возил их кататься по строившейся тогда первой русской железной дороге (начата в 1835 г., кончена в 1838 г.) в Царское Село, посещал с ними окрестности столицы, осматривал строившийся тогда Исаакиевский собор и другие достопримечательности Петербурга.

Так как братья не вполне были подготовлены для поступления в Инженерное училище, «скупой» отец поместил их в дорогой пригостительный пансион военного инженера Коронада Филипповича Костомарова. У Костомарова братья оставались вместе до 16 янва-

⁸⁾ Ъ.

⁹⁾ *Достоевский Ф. М. Письма. Т. I. С. 463.*

¹⁰⁾ *Достоевский А. М. Воспоминания. С. 88, 412–413.*

¹¹⁾ *См.: Гершензон М. О. Жизнь Печерина. М., 1910.*

¹²⁾ *Достоевский А. М. Воспоминания. С. 81.*

ря следующего 1838 года, когда Достоевский был принят кондуктором в Инженерное училище¹³⁾, а старший брат его Михаил остался у Костомарова в ожидании, пока его примут юнкером в Инженерный замок или Петропавловскую крепость¹⁴⁾.

Это была первая разлука друзей–братьев, тяжело отразившаяся на них обоих, но, пока Михаил оставался в Петербурге, братья, хотя редко¹⁵⁾, все же встречались, однако через четыре с половиной месяца в начале июня того же года старшего брата откомандировали в инженерную команду в Ревель¹⁶⁾, и тогда началась продолжительная и для обоих очень тягостная разлука.

В следующий раз мне придется несколько остановиться на мрачных и светлых сторонах жизни Достоевского в Инженерном училище.

12-я лекция, 9 февраля 1932 года

16 января 1838 года Достоевский вступил в Главное инженерное училище в Петербурге так называемым кондуктором.

4 февраля Достоевский пишет отцу свое первое письмо после поступления в училище и разлуки с братом. Там мы читаем между прочим слова: «В воскресенье и в другие праздники я никуда не хожу; ибо за всякого кондуктора непременно должны расписаться родственники в том, что они его будут брать к себе. — Итак я покуда лишен общения с братом, и, следовательно, не мог читать последних ваших писем. Только

¹³⁾ Гроссман Леонид. Достоевский на жизненном пути. С. 209.

¹⁴⁾ Достоевский А. М. Воспоминания. С. 374.

¹⁵⁾ Иб.

¹⁶⁾ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 30 (первая пагинация).

однажды мог я выпросить сходить к Костомарову»¹⁾ (то есть, другими словами, увидеться с братом).

Письмо писано всего на двадцатый день поступления, и между тем характер его таков, как будто прошла целая вечность с тех пор, как он поступил: «Только однажды мог я выпросить сходить к Костомарову». Отчего же время кажется ему столь бесконечно долгим?

На это несколько причин. Прежде всего, разлука с братом—другом. За прошедшие двадцать дней он виделся с ним один раз.

Сколько раз он потом с ним встречался в течение тех четырех месяцев, пока брат не был откомандирован в начале июня в Ревель, нам неизвестно, но, вероятно, свидания все же наладились, и если Достоевскому, возможно, было трудно оставлять училище, то брату все же можно было порою его навещать.

Но, конечно, это было совсем не то, что постоянная совместная жизнь предыдущих лет, когда они спали за общей перегородкой в передней дома родителей и днем почти всегда были вместе или проводили все время вместе в пансионе Костомарова и когда угодно, днем ли, ночью ли, могли делиться своими мыслями и впечатлениями, а сколько таких мыслей и впечатлений у живого, всем интересующегося юноши шестнадцати лет, понять нетрудно.

Разлука, таким образом, как острым ножом разрубила живое тело их братской любви и дружбы, и рана от этого разреза мучительно ныла и сочилась сердечною кровью.

Тяжесть разлуки к тому же в сильной степени усугублялась господствовавшим в училище отношением старших классов к новичкам.

Те, кто знаком с порядками, существовавшими в довоенное время в Николаевском кавалерийском учили-

¹⁾ *Достоевский А. М.* Воспоминания. С. 374.

ше в Петрограде, с тем, как «корнеты» обращались там со «зверями», легко могут себе представить, что приходилось вынести Достоевскому в первый год своего пребывания в училище. Тем же, кто об этом не слышал, советую ознакомиться с вышедшею в прошлом году книгою псевдонима Юрия Галича «Звериада». Как художественное произведение книга эта, конечно, не заслуживает знакомства, но она чрезвычайно легким, живым языком описывает подробности жизни юнкеров Кавалерийского училища, и то, что там рассказывается о страданиях «зверей», слишком характерно, чтобы не стоило с этим ознакомиться.

Но нам не надо читать и «Звериады» Галича, чтобы узнать, что пришлось перенести Достоевскому в Инженерном училище. Другой русский писатель Григорович дал нам в своих воспоминаниях живую картину того, что происходило 95 лет тому назад в стенах Инженерного замка. На пять месяцев моложе Достоевского, Григорович, однако, годом раньше поступил в Главное инженерное училище и был потом одно время близким товарищем Достоевского. По матери француз, Григорович сильно отличался от Достоевского и никогда не стал ему дружески близким, но общая жизнь сперва в училище и потом на общей квартире в Петербурге все же влекла за собою и общие переживания. «Литературные воспоминания» Григоровича, помещенные в 12-м томе полного собрания его сочинений, представляют интерес для биографов Достоевского, если только все время помнить, что Григорович никогда не отличался особенною точностью, что воспоминания его поэтому *кишат ошибками* и что к его утверждениям необходимо относиться с *большою осторожностью*.

Общий тон его воспоминаний о первом годе его училищной жизни все же несомненно передает нам

действительные впечатления новичков, и поэтому я приведу вам несколько отрывков из них.

«Первый год в училище был для меня сплошным терзанием [пишет Григорович]. Даже теперь, когда меня разделяет от этого времени больше полустолетия, не могу вспомнить о нем без тягостного чувства; и этому не столько способствовали строгость дисциплинарных отношений начальства к воспитанникам, маршировка и ружьистика, не столько даже трудность ученья в классах, сколько новые товарищи, с которыми предстояло жить в одних стенах, спать в одних комнатах. Представить трудно, чтобы в казенном, и притом военно-учебном, заведении могли укорениться и существовать обычаи, возможные разве в самом диком обществе. Начальство не могло этого не знать; надо полагать, оно считало зло неизбежным и смотрело на него сквозь пальцы, заботясь главным образом о том, чтобы внешний вид был исправен и высшая власть осталась им довольна.

Комплект учащихся состоял из ста двадцати воспитанников, или *кондукторов*, как их называли, чтобы отличать от кадет. В мое время треть из них составляли поляки, треть — немцы из прибалтийских губерний [и только] треть — русские. В старших двух классах были кондукторы, давно брившие усы и бороду; они держали себя большею частию особняком, присоединяясь к остальным в крайних только случаях. От тех [же], которые были моложе, новичкам положительно житья не было. С первого дня поступления новички получали прозвище *рябцов* — слово, производимое, вероятно, от рябчика, которым тогда военные называли штатских. Смотреть на рябцов, как на парий, было в обычае. Считалось особенною доблестью подвергать их всевозможным испытаниям и унижениям.

Новичок стоит где-нибудь, не смея шевельнуться [чтобы только не привлечь к себе внимание старших

классов]; к нему подходит старший и говорит задирающим голосом: “Вы, рябец, такой-сякой, начинаете, кажется, кутить?” — “Помилуйте... я ничего”. “То-то, ничего... Смотрите вы у меня!” — И затем щелчок в нос, или повернут за плечи и ни за что ни про что угостят пинком. Или: “Эй вы, рябец, как вас?... Ступайте в третью камеру; подле моей койки лежит моя тетрадь, несите сюда, да, смотрите, живо, не то расправа!” Крайне забавным считалось налить воды в постель новичка, влить ему за воротник ковш холодной воды, налить на бумагу чернил и заставить его слизать, заставить говорить непристойные слова, когда замечали, что он конфузлив. <...>

В классах, во время приготовления уроков, как только дежурный офицер удалялся, поперек двери из одного класса в другой ставили стол; новички должны были на четвереньках проходить под ним, между тем как с другой стороны их встречали кручеными жгутами и хлестали куда ни попало. И Боже упаси было заплакать или отбиваться от такого возмутительного насилия. Сын доктора К., поступивший в одно время со мною, начал было отмахиваться кулаками; вокруг него собралась ватага, и так исколотили, что его пришлось снести в лазарет; к его счастью, его научили сказать, что он споткнулся на классной лестнице и ушибся. Пожалуйся он, Расскажи, как было дело, он, конечно, дорого бы поплатился. <...>

Как результат первого года, проведенного в училище, должен сказать, решительно не понимаю, как я, мальчик по природе в высшей степени нервный, впечатлительный, робкий, мягкий, как воск, <...> как мог я пережить в этой атмосфере, где товарищи были суровее, беспощаднее, чем само начальство»²⁾.

²⁾ Цит. по кн.: *Чешихин-Ветринский Вас. Е.* Федор Михайлович Достоевский в воспоминаниях современников и его письмах. М., 1923. Ч. 1. С. 33–34.

О том же самом говорит в своих воспоминаниях поступивший в одно время с Достоевским в училище, но не воспитанником, а дежурным офицером и воспитателем Савельев, ставший впоследствии известным ученым, знатоком монет, или нумизматом.

Он говорит между прочим: в училище «были юноши <...> которые не имели <...> ни собственного голоса, ни каких-либо прав, принадлежавших другим, старшим их товарищам — это были юноши вновь поступившие <...> новички, или по местному выражению: *рябцы*. <...> [Они] обязаны были исполнять приказание старшего безусловно, и в случае неповиновения подвергались взысканиям старших — более или менее строгим».

«Нет сомнения, говорит А. И. Савельев, что испытаниям в послушании старшим, в первый год своего пребывания в училище, мог подвергнуться и Ф. М. Достоевский. Исключений в этом случае никому не делалось»³⁾.

Правда, по воспоминаниям одного из старших воспитанников, бывшего тогда портупей-юнкером, «Достоевского, <...> как “чудака”, вскоре оставили в покое»⁴⁾.

Но если вспомнить исключительную впечатлительность юноши, припомнить, что он до этого времени лишь испытывал любовное, ласковое отношение, вряд ли когда подвергался наказаниям и даже вряд ли бывал браним или осуждаем⁵⁾, то легко себе представить, как тяжело на него подействовало жестокое обращение старших, тем более что он первое время был совершенно одинок и не имел никого, кто бы за него заступился или с кем бы он мог поделиться своими чувствами и огорчениями.

³⁾ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 35–37 (первая пагинация).

⁴⁾ *Иб.* С. 38.

⁵⁾ *Иб.* С. 22–23.

Каковы были в то время ощущения Достоевского, об этом он сам в вышеупомянутом письме к отцу говорит всего лишь семью, правда, весьма характерными словами: «о товарищах ничего не могу сказать хорошего».

Но когда он через двадцать шесть лет у постели умиравшей от чахотки первой жены писал свое, может быть, наиболее озлобленное, проникнутое едкою горечью произведение «Записки из подполья», у него, в связи с воспоминаниями героя рассказа о школьных годах, вырываются слова, которым, если вспомнить воспоминания Григоровича, нельзя не придать некоторого автобиографического значения.

Вот эти слова: «Проклятіе на эту школу, на эти ужасные каторжные годы!»⁶⁾ «Товарищи встрѣтили меня злыми и безжалостными насмѣшками <...> Но я не могъ насмѣшекъ переносить; я не могъ такъ дешево уживаться, какъ они уживались другъ съ другомъ. Я <...> заключился отъ всѣхъ...»⁷⁾

Конечно, к словам этим необходимо отнестись «с *sum grano salis*», с известною осторожностью, так как Достоевский в «Записках из подполья» вкладывает их в уста ипохондрика, в высшей степени озлобленного на все и на всех человека. И вовсе не одними проклятиями вспоминал сам Достоевский впоследствии училищную жизнь, много и светлых воспоминаний вынес он оттуда. Но все же в этих словах отражается, по всей вероятности, то первое впечатление, которое вынес оторванный от всех своих родных и, главное, от своего друга-брата 16-летний юноша, когда на него, «рябца», набросились безжалостные «старшие». И ре-

⁶⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. III. Ч. 2. С. 119.

⁷⁾ *Иб.* С. 124. И в этом отличие Достоевского от обыкновенных «рябцов», которые в конце концов привыкают ко всему и уживаются друг с другом.

зультат этих нападок был как раз такой, как описывает здесь герой «Записок из подполья». Достоевский действительно «заклучился» (то есть уединился), если не «от всех», то, во всяком случае, от многих.

Художник Трутовский, годом позже поступивший в училище, пишет в своих воспоминаниях: Достоевский «держал себя всегда особняком, и мне он представляется почти постоянно ходящим где-нибудь в стороне взад и вперед с вдумчивым выражением или подолгу рассуждающим с двумя своими товарищами: Бекетовым и Бережецким»⁸⁾.

Из мемуаров Григоровича: «Федор Михайлович <...> сторонился, не принимал участия в играх, сидел, углубившись в книгу, и искал уединенного места; вскоре нашлось такое место и надолго стало его любимым: глубокий угол четвертой камеры с окном, смотревшим на Фонтанку; в рекреационное время его всегда можно было там найти, и всегда с книгой»⁹⁾.

Савельев напоминает: «Наблюдая за молодежью, изучая ее, насколько у меня доставало способностей <...> мне не раз случалось видеть, и в часы занятий и во время прогулок <...> [Достоевского] или одного или вдвоем, но не с кем иным, как с кондуктором старшего класса И. Бережецким. Я никогда не видал, чтобы эти молодые люди принимали участие не только в некоторых проделках товарищей, но и в общих любимых играх (например, загонки); никогда они не ходили в танцкласс, бывший в роте по вторникам и отличавшийся особенным одушевлением, даже не ходили слушать рассказы баллад Жуковского домашнего гудочника писаря Игумнова, являвшегося по вечерам в рекреационную залу, всегда наполненную

⁸⁾ Цит. по кн.: *Чешихин-Ветринский Вас. Е.* Федор Михайлович Достоевский... Ч. 1. С. 30–31.

⁹⁾ Цитовано там же. С. 35.

кондукторами. Часто под разными предлогами Ф. М. или гулял со своим товарищем в других камерах или садился заниматься у своего столика с огарком сальной свечки, вставленной в жестяной подсвечник; но любимым его местом для занятий была амбразура окна в угловой (так называемой “круглой камере”) <...> выходящей на Фонтанку»¹⁰⁾.

Но если впечатлительный юноша, встречавший ранее лишь любовь и ласку в своей жизни, под влиянием жестокого отношения старших к новичку уединился от них в свой угол, то это, конечно, не значит, чтобы у него вследствие такого обращения явилась бы какая-либо злоба или ненависть к товарищам, как у героя «Записок из подполья», наоборот, он, как припоминают его товарищи, часто делился с товарищами своими учебными записками, которые он составлял по лекциям преподавателей, и нередко писал однокашникам сочинения на заданные темы по русской литературе. Так, например, генерал-лейтенант Родионов позднее припоминал, как Достоевский писал ему сочинения: «Ночь на маневрах», «Ермак Тимофеевич», «Характер Ярослава» и др.¹¹⁾

Многие его не понимали. Не понимали, главным образом, его глубокой религиозности, проявлявшейся в то время, может быть, в разговорах и частом посещении церквей, и называли его, по словам Савельева, «мистиком» и «идеалистом»¹²⁾ или, как припоминает художник Трутовский, «Фотием»¹³⁾. Другие, видя, что он не принимает участия в их играх и танцах и веч-

¹⁰⁾ *Иб.* С. 29.

¹¹⁾ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 42 (первая пагинация).

¹²⁾ *Иб.* С. 37.

¹³⁾ *Чешихин-Ветринский Вас. Е.* Федор Михайлович Достоевский... Ч. 1. С. 31.

но сидит за книгой, называли его, как мы видели, «чудаком»¹⁴⁾.

Но сам он, как свидетельствует Савельев, был особенно ласков с теми лицами, которые по положению своему в училище (как новички—«рябцы» или служители) не имели ни собственного голоса, ни защиты¹⁵⁾.

А если кто подходил к нему без предвзятого мнения с открытою искреннею душою, то он раскрывался им, как цветок открывается солнцу, и всегда очаровывал их той или иной стороной характера.

Даже на лиц гораздо старше его, как вышеупомянутый Савельев, Достоевский производил тогда сильное впечатление. В своих воспоминаниях Савельев рассказывает: «Часто, на дежурстве в училище, я любил беседовать с молодежью... Но, признаюсь, ни одна из их бесед не оставляла во мне такого глубокого впечатления, как <...> беседы с Достоевским. <...> самое простое воспоминание о своем детстве, какой-нибудь не важный исторический эпизод им передавались <...> прекрасно, с особенным ему свойственным одушевлением <...> [при этом] в рассказах Достоевского заключалось столько же теплоты, сколько и правды»¹⁶⁾.

Один из товарищей Достоевского по училищу Хлебников рассказывает в своих записках в мартовской книжке Русского Архива за 1907 год (стр. 381): «Помню <...> что собирались Сальков, я и еще кто-нибудь у Моисеенко—Великого для занятий сообща, и при этом засиживались иногда до полуночи. Когда занятия были уже закончены и мы просто болтали, к нам приходил Ф. М. Достоевский и завоевывал наше общее внимание к своим *вдохновенным* рассказам; уже далеко за полночь.

¹⁴⁾ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 38 (первая пагинация).

¹⁵⁾ *Ib.* С. 37.

¹⁶⁾ *Ib.* С. 43—44.

Все мы сильно уставши, а Достоевский стоит, схватившись за половинку двери, и говорит с каким-то особенно нервным одушевлением; глухой, совершенно грудной звук его голоса наэлектризован, и мы *прикованы к рассказчику*»¹⁷⁾.

У Григоровича читаем: «Сближение мое с Ф. М. Достоевским началось едва ли не с первого дня его поступления в училище. С тех пор прошло более полу-столетия, но хорошо помню, что изо всех товарищей юности я *никого так скоро не полюбил* и *ни к кому так не привязывался, как к Достоевскому*. <...>

С неумеренною пылкостью моего темперамента и, вместе с тем, крайнею мягкостью и податливостью характера, я *не ограничился привязанностью к Достоевскому, но совершенно подчинился его влиянию*. Оно <...> было для меня <...> *в высшей степени благотворно*. Достоевский во всех отношениях был *выше меня по развитости*; его начитанность изумляла меня. То, что сообщал он о сочинениях писателей, имя которых я никогда не слыхал, было для меня откровением. <...>

Литературное влияние Достоевского не ограничивалось мною; им увлеклись еще три товарища: Бекетов, Витковский и Бережецкий; образовался, таким образом, кружок, который держался особо и сходился, как только выпадала свободная минута»¹⁸⁾.

Художник Трутовский (пятью годами младше Достоевского) также привязался к нему. «Я помню [рассказывает он], как ласково он [Достоевский] разговаривал со мной и советовал заниматься побольше рисованием и чтением всего, касающегося искусства». (Трутовский был потом живописец-жанрист и иллюст-

¹⁷⁾ Цит. по кн.: Гроссман Леонид. Достоевский на жизненном пути. С. 71–74.

¹⁸⁾ Цит. по кн.: Чешихин-Ветринский Вас. Е. Федор Михайлович Достоевский... Ч. 1. С. 35–36.

ратор-юморист, известный своими картинами из мало-русской жизни: «Хоровод в Курской губернии» и «Колыбельки в Малороссии».) «Когда я приходил к нему, то он всегда приветливо встречал меня, ласково беседовал подолгу со мной, указывал мне, что я должен читать, знакомил меня с лучшими произведениями литературы и давал мне часто книги и по-прежнему интересовался моими занятиями по рисованию... При наших беседах он мне первый выяснил все великое значение творений Гоголя, всю глубину его юмора, который я до того времени <...> понять не мог, тем более, что профессор Плаксин, преподававший нам русскую литературу, внушал нам, что Гоголь это верх бездарности, пошлости и что его произведения грязны и циничны до неприличия. Самое сильное и решающее впечатление было для меня, когда Ф. М. с невыразимым воодушевлением объяснял мне всю глубину мысли в повести [Гоголя] “Шинель”. Я разом понял все и особенно значение “незримых слез сквозь видимый смех”. Все, что говорил мне Ф. М., я воспринимал с восприимчивостью молодости, и я ему много обязан в моем развитии. Он научил меня понимать и ценить в литературе все великое и гуманное...

В 1849 году скончалась моя мать, и я уехал в отпуск в деревню, в Харьковскую губернию. В Харькове я был поражен вестью, что Ф. М. и другие были арестованы, судимы и сосланы. Горько мне было услышать эту тяжелую весть и тяжело было за участь дорогого мне человека, с такой возвышенной душой и с таким высоким талантом... В <...> [конце 1859 г.] Ф. М. вернулся из ссылки и велика была радость нашего свидания... Я убежден, что Ф. М. имел большое влияние на мое развитие в том возрасте, когда так важны первые впечатления и когда они так легко воспринимаются.

Много [ему] надо было иметь сердечности, чтобы не скучать заниматься совершенно чужим ему юно-

шей при его серьезности и уединенной жизни, — и я всю жизнь сохраняю о нем отрадное воспоминание»¹⁹⁾.

Почти во всех прочитанных мной сегодня цитатах вы, вероятно, обратили внимание на фамилию Бережецкого, о котором пишут и Хлебников, и Савельев, и Григорович, упоминая его как то лицо, с которым постоянно видели в училище Достоевского.

Савельев рассказывает в своих воспоминаниях, что Бережецкий, хотя был на год старше Достоевского, находился под сильным его влиянием, слушался его и повиновался ему, как преданный ученик своему учителю²⁰⁾.

Сам Достоевский в письме к брату Михаилу от 1 января 1840 года посвящает следующие строки своей дружбе с этим юношей:

«Прошлую зиму [то есть зиму 1838–1839 гг.] я был в каком-то восторженном состоянии <...> Я имел у себя товарища, одно создание, которое так любил я! Ты писал ко мне, брат, что я не читал Шиллера. Ошибаешься, брат! Я [прошлую зиму с Бережецким] вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им; и я думаю, что ничего более кстати не сделала судьба в моей жизни, как дала мне узнать великого поэта в такую эпоху моей жизни; никогда бы я не мог узнать его так, как тогда. Читая с *ним* [курсив Достоевского] Шиллера, я поверял *над ним* [курсив Достоевского] и благородного, пламенного Дон Карлоса и маркиза Позу, и Мортимера. Эта дружба так много принесла мне и *горя* и *наслаждений*! Теперь я вечно буду *молчать* об этом; имя же Шиллера стало мне *родным*, каким-то *волшебным* звуком, вызывающим столько мечтаний; они горьки, брат; вот почему я ничего не говорил

¹⁹⁾ Ib. С. 30–32.

²⁰⁾ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 38 (первая пагинация).

с тобою о Шиллере, о впечатлениях, им произведенных: мне больно, когда услышу хоть имя Шиллера».

Дальше он прибавляет: «...нынешнее письмо к тебе доставило мне столько сладких минут, мечтаний, воспоминаний, что я и решительно не способен говорить о другом»; и в постскриптуме он еще пишет: «Нынешнее письмо заставило меня пролить несколько слез от воспоминаний о прошлом»²¹⁾.

Отчего же, спрашивается, эта дружба, которая доставила ему столько наслаждений, дала столько счастья, в конце концов дала ему столько горя, что воспоминания о Шиллере, одно имя Шиллера ему мучительны?

Некоторый намек на это дает нам то место «Записок из подполья», где герой припоминает школьные годы: «Быль у меня <...> [там] и другъ. Но я <...> былъ деспотъ въ душѣ; я хотѣлъ неограниченно властвовать надъ его душой; я хотѣлъ вселить въ него презрѣніе къ окружавшей его средѣ: я потребовалъ отъ него высокомернаго и окончательнаго разрыва съ этой средой. Я испугалъ его моей страстной дружбой...»²²⁾

У нас, кстати, имеется рассказ Хлебникова о том, как выглядело для окружающих это «пугание»: «Помню, как Ф. М. Достоевский и Бережецкий увлекались совместным чтением, если не ошибаюсь, Шиллера. Бывало, читают, читают и вдруг заспорят, и затем скоро, очень скоро пойдут чрез все наши камеры и спальни, один впереди, как бы убегая, чтобы не слышать возражений другого, что делал обыкновенно Бережецкий, а его преследовал Достоевский, желая досказать ему свои мысли»²³⁾.

Продолжаю цитату из «Записок из подполья»: «Я испугалъ его моей страстной дружбой; я доводилъ его

²¹⁾ Достоевский Ф. М. Письма. Т. I. С. 57.

²²⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. III. Ч. 2. С. 126.

²³⁾ Гроссман Леонид. Достоевский на жизненном пути. С. 71.

до слезъ, до судорогъ; онъ былъ наивная и отдающаяся душа; но когда онъ отдался мнѣ весь, я <...> оттолкнулъ [его] отъ себя, точно онъ и нуженъ былъ мнѣ только для одержанія надъ нимъ побѣды, для одного его подчиненія. [А между тем] <...> мой другъ былъ <...> ни на одного <...> не похожъ и составлялъ самое рѣдкое исключеніе»²⁴⁾.

Конечно, Достоевский здесь преувеличивает, что и понятно, раз слова эти вложены в уста озлобленного желчевика — героя «Записок из подполья».

Вовсе он не желал подчинить себе друга только для того, чтобы победить его и, победив, его оттолкнуть. Но он его действительно испугал, испугал своей нервной страстной дружбой, тем пламенем, который горел в нем и который жег обыкновенного, дюжинного человека, как огонь жжет моль.

Быть другом такого человека, как Достоевский, с его максимальными требованиями на все, было нелегко.

Только выросший день за днем с ним брат его, с его флегматичной спокойной натурой, мог быть долгое время его другом, да такой человек, как Шидловский, с которым он встречался сравнительно редко и который был сам из ряду вон выходящий, редкий человек.

Для Бережецкого Достоевский был слишком горяч, слишком требователен, именно этим он его в конце концов испугал и оттолкнул.

Но если таким образом дружба с Бережецким преждевременно оборвалась, то, пока она длилась, она дала Достоевскому очень многое. Ведь Достоевский видел своего друга в прекраснейших героях Шиллера и мечтал о Шиллере, научился всей душой любить Шиллера, может быть, именно потому, что герои Шиллера олицетворялись для него в лице его друга.

²⁴⁾ *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. III. Ч. 2. С. 126.

Не следует также забывать при этом, что «Дон Карлос» написан был Шиллером как раз в то время, когда он сам находился в наибольшем пылу своей дружбы к Корнеру, и что эта дружба как раз получила свое прекраснейшее выражение в лице Дон Карлоса и маркиза Позы.

13-я лекция, 16 февраля 1932 года

Прошлый раз мы ознакомились с тем, что дало Достоевскому Инженерное училище и дурного и хорошего. Мы увидели, как, с одной стороны, разлука с любимым братом, с другой стороны, преследование старшими товарищами новичков тяжело отразилось на чувствительном нервном организме юноши, привыкшего раньше лишь к ласковому, дружескому отношению семейных.

Обыкновенный, дюжинный характер подчинился бы, затаил обиду и потом на следующий год сторицею выместил бы ее на новых новичках, новых «рябцах».

Достоевского, в пансионе Чермака в Москве всегда заступавшегося за обижаемых и преследуемых, такое безжалостное, пренебрежительное отношение людей к людям, тем более товарищей к товарищам, оскорбило в лучших его чувствах.

При его горячем максималистском характере, всегда во всем доходившем до последней черты, как он сам писал 16/28 августа 1867 года Майкову¹⁾, он, вероятно, не раз высказывался в этом роде нападавшим на него и других новичков старшим и, при своей религиозности, нередко приводил и евангельские доводы, недаром старшие его, по собственному признанию, в конце концов оставили в покое, как «чудака» и «Фотия».

¹⁾ *Достоевский Ф. М.* Письма. Т. II. С. 29: «...натура моя <...> слишком страстная: везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил».

Но Достоевского это в то же время оттолкнуло от них. К тому же присоединилось и другое обстоятельство, о котором мы находим автобиографические указания в упомянутых уже «Записках из подполья».

Лесков в своих «Инженерах-бессребрениках»²⁾ рассказывает о трех предшественниках Достоевского, тоже воспитанниках Главного инженерного училища, тоже, как и Достоевский, сильно отличавшихся от окружающей их среды. Двое из них — Брянчанинов и Чихачев — кончили Инженерное училище в 1826 году³⁾, третий — Николай Фермор — в 1831 году⁴⁾, т. е. за семь лет до поступления Достоевского в училище.

Все три были глубоко религиозны и относились к религии не как к чему-либо такому, о чем приходится вспоминать лишь в кануны праздников и в сами праздники, а как к тому, чем следует ежечасно и ежеминутно руководиться в своей жизни, и евангельское учение для них было не красивые фразы, которые 1900 лет тому назад говорились на берегах Галилейского моря рыбакам, а огненными словами Бога-Слова, проникавшими до самой глубины их духа и не дававшими им ни минуты покоя, пока они не проводили их полностью во всей своей жизни.

Лесков прекрасно рассказывает, как они при таком настроении должны были столкнуться с окружающей средой, для которой религия была чем-то чисто внешним, несколько не влиявшим на жизнь.

С одной стороны, им стала невыносима сама военная служба, где им приходилось учить солдат самым усовершенствованным образом втыкать штыки в своих людей-братьев, с другой стороны, непереносна была для

²⁾ Лесков Н. С. Полн. собр. соч. СПб.: Изд. А. Ф. Маркса, 1902. Т. IV. С. 51–108.

³⁾ *Иб.* С. 57.

⁴⁾ *Иб.* С. 71.

них и та специальная отрасль военной службы, к которой их готовили, т. е. служба военными инженерами.

Дело в том, что военные инженеры не довольствовались казенным жалованьем, а ввели систему так называемого «самовознаграждения», когда инженерные начальники вступали в непосредственные сношения с поставщиками материалов для постройки крепостей, получали от них крупные взятки за предоставление им права поставок и потом делились этими взятками со своими младшими сослуживцами без объяснения путей и источников дохода⁵⁾.

При раздаче жалованья инженерные офицеры расписывались в одной книге и получали от казначея ту сумму, какая им следовала от казны, а затем получали особую обернутую в бумажку пачку, «в которой заключалась сумма, *значительно* превосход[ивш]ая казенное жалованье»⁶⁾.

Об этих будущих незаконных доходах прекрасно было известно будущим инженерам и, по словам Лескова, «инженерные юнкера [кондукторы] весело и беззастенчиво говорили [в инженерном училище], что они “иначе не понимают, как быть инженером — это значит *купаться в золоте*”. Так они и росли с этим убеждением, укреплялись в нем и, выходя, начинали его практиковать»⁷⁾.

В училище отлично было также известно, в каких крепостях и городах России так называемый «кружечный сбор» был больше, и юноши также откровенно и беззастенчиво говорили об этом и стремились выйти именно в такие места.

Брянчанинов и Чихачев, протестовавшие против таких разговоров, получили от товарищей прозвание «монахов», которое они вскоре оправдали.

⁵⁾ Ib. С. 72.

⁶⁾ Ib. С. 75.

⁷⁾ Ib. С. 68.

Дело в том, что вскоре после окончания ими училища началась война с Турцией, между тем как они, по словам Лескова, «находили военное дело несовместным с своими христианскими убеждениями. Как люди последовательные и искренние, они не хотели *не только воевать оружием*, но находили, что не могут и служить приготовлением средств к войне. <...> и самое возведение <...> [крепостей, этих средств обороны] они не усматривали возможности производить с полною честностью. Им казалось, что надо было “попасть в систему самовознаграждения” или противодействовать тем, чьи приказания должно было исполнять. <...> [им] казалось, что служить честно — это значило постоянно <...> поперечить всем желающим наживаться, и надо [таким перечением] порождать распри и несогласия, без всякой надежды отстоять правду и не допускать повсюду царствовавших злоупотреблений. Они поняли, что это подвиг, требующий такой большой силы, какой они в себе не находили, и потому они решились бежать»⁸⁾, конечно, в переносном смысле этого слова, и ушли в следующий же за оставлением училища год в монастырь, где Чихачев стал самым строгим монахом — *схимником*, а Брянчанинов кончил епископом.

В отличие от них, пятью годами младший Николай Фермор решился бороться со взяточничеством. Борьба его началась уже на первом же шагу вступления на службу.

Когда произведенные в офицеры «бывшие товарищи по училищу собрались вместе, чтобы “взбрызнуть свои эполеты”, Фермор за обедом прочитал стихи своего сочинения, в которых взывал к совести своих однокашников, приглашая их тут же дать друг перед другом торжественную клятву, что они будут служить отечеству с совершенным бескорыстием и не только ни один

⁸⁾ Ib. С. 60.

никогда не станет вознаграждать себя сам <...> но и другим этого не позволит делать, а, несмотря ни на что, остановит всякое малейшее злоупотребление <...> Он этого требовал в своих горячих <...> стихах, и сам же первый произнес торжественную клятву свято, неотступно следовать во всю жизнь своему воззванию.

Читая свое стихотворение, он [как пишет Лесков] был разгорячен и взволнован, глаза его горели, он сам дрожал <...> [но] такого действия, какого ожидал горячий юноша, не последовало: с ним никто не спорил, никто не говорил, что то, к чему он призывал товарищей, было дурно, но никто к нему на грудь не бросался, дружного звона сдвинутых бокалов не раздалось, а, напротив, многие, потупив глаза в свои приборы, обнаруживали смущение и как будто находили в обличительных словах поэта нечто неуместное, колкое, оскорбительное для старших и вообще не отвечающее веселому характеру собрания. А <...> [один из них, чтобы замять дело, напомнил, что согласно присяге им запрещено вступать в какие-либо союзы и давать обещания, как бы объединяющие их вместе в какой-то как бы "союз"].

— По крайней мере, я, господа, [закончил он] напоминаю, что я принимал присягу и ни о каких союзах знать не хочу.

— И мы тоже, и мы! Браво! Ура! [закричали другие]

Николай Фермор <...> очень обиделся; он стоя дождался, пока шум стих, обвел [взором] вокруг сидевших за столом товарищей, мрачно улыбнулся и сказал:

— Ну, если мне суждено выпить мою чашу одному, то я ее один и выпью.

И с этим он выпил вино и разбил бокал, чтобы из него не пили ни за какое другое пожелание.

Это опять бросило неблагоприятную тень на общее настроение пирующих. Опять нашлись люди, которые пытались поправить слово, но это не удавалось <...>

Этот человек постоянно являлся вне общего движения <...>, и все были рады, что он оставил общество ранее других, все, по уходе его, тотчас вздохнули, и веселье закипело, а он был уже один, унеся с собою неудовольствие на других и оставив такое же или, может быть, еще большее неудовольствие в этих других»⁹⁾.

Так продолжалось и дальше.

От времени до времени он писал новые стихи, «в которых старался как можно строже и язвительнее бичевать сребролюбие и другие хорошо ему известные порочные склонности своего звания»¹⁰⁾.

Но от него только отмалчивались, а когда он на службе не только отказался принять свою пачку из «кружечного сбора», а еще среди товарищей открыто восстал против таких взяток, его, в конце концов, как Чацкого в «Горе от ума», объявили сумасшедшим и дали отпуск для поправления здоровья, затем поместили на испытание в сумасшедший дом и наконец по приказанию государя Николая Павловича отправили на лечение во вновь открытую в Берлине частную лечебницу. По дороге туда Фермор погиб в море.

По заметке Лескова: «Душевные страдания Фермора <...> послужили мотивами Герцену для его [бесмертных] “Записок доктора Крупова”»¹¹⁾, по словам которого нормальны те, кого окружающие *считают* сумасшедшими, а сумасшедшие как раз те, кто запирает этих так называемых «сумасшедших» в больнице.

Я нарочно так подробно остановился на этих трех лесковских «инженерах-бессребренниках», потому что на их истории нам понятнее будет отношение Достоевского к товарищам.

Достоевский не читал, насколько нам известно, тех сочинений петербургского митрополита Михаила Дес-

⁹⁾ Иб. С. 70–71.

¹⁰⁾ Иб. С. 71.

¹¹⁾ Иб. С. 90.

ницкого (митр. 1818–1821), которыми зачитывались Брянчанинов и Чихачев¹²⁾ и в которых задолго до Льва Толстого с его учением о непротивлении злу насилием проповедовался взгляд Иоанна Златоуста о том, что Христос действительно имел в виду в своей Нагорной проповеди именно то, что там говорится, а не то, что обыкновенно говорят официальные церкви.

Для него поэтому в школьные годы вопрос о войне не играл той же роли, что у Брянчанинова и Чихачева. Позднее у него отношение к войне было двоякое: в своем «Дневнике писателя» он неоднократно говорил, что «Константинополь долженъ быть нашъ»¹³⁾, т. е. русским, что Левин из «Анны Карениной» Толстого не прав, считая, что русско-турецкой войны не должно было бы быть¹⁴⁾, и в письме к племяннице С. А. Ивановой он, правда, в связи с словами: «идеал через страдание переходит» и «без страдания и не поймешь счастья», говорит: «Без войны человек деревенеет в комфорте и богатстве и совершенно теряет способность к великодушным мыслям и чувствам и неприметно ожесточается и впадает в варварство»¹⁵⁾. Но, с другой стороны, Достоевский в «Братьях Карамазовых» устами старца Зосимы проповедует такое учение, что в силу него не только война, но и суды и наказания совершенно не возможны.

Если в Инженерном училище вопрос о войне не имел для Достоевского такого животрепещущего значения, как для Брянчанинова и Чихачева, то он, как все три инженера-бессребреника, относился совершенно отрицательно к вопросу о «самовознаграждении».

Взросший в безукоризненно честной семье, он никогда и не допускал возможности взяточничества и

¹²⁾ *Иб. С. 58.*

¹³⁾ *Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. XI. С. 380.*

¹⁴⁾ *Иб. С. 254–276.*

¹⁵⁾ *Достоевский Ф. М. Письма. Т. II. С. 284.*

казнокрадства, а так называемый «кружечный сбор» бесспорно являлся и тем и другим, так как раз поставщик давал огромную взятку начальнику инженеров, для того чтобы именно ему была дана поставка необходимых материалов, то, очевидно, именно на эту сумму брал дорожку от казны, и старший и его подчиненные участвовали таким образом в обкрадывании казны или плательщиков — народа.

Что Достоевского, ввиду этого, возмущали беззащитные разговоры товарищей как об участии в «самовознаграждении», так и вообще о денежной карьере, службе из-за корысти и чинов, этому бесспорным доказательством служат следующие автобиографические слова «Записок из подполья»: «Въ эту ночь снились мнѣ безобразнѣйшіе сны. Не мудрено: весь вечеръ давали меня воспоминанія о каторжныхъ годахъ моей школьной жизни и я не могъ отъ нихъ отвязаться. <...> Товарищи встрѣтили меня злобными и безжалостными насмѣшками, за то что я ни на кого изъ нихъ былъ не похожъ. <...> Еще въ шестнадцать лѣтъ я угрюмо на нихъ дивился; меня ужъ и тогда изумляли мелочь ихъ мышленія, глупость ихъ занятій <...> уже тогда [они] привыкли поклоняться одному [только] успѣху. Все что было справедливо, но унижено и забито, надъ тѣмъ они жестокосердно и позорно смѣялись. Чинъ [они] почитали за умъ; въ шестнадцать лѣтъ уже толковали о теплыхъ мѣстечкахъ». И Достоевский, как мы видели, прибавляет: «...я не могъ такъ дешево уживаться, какъ они уживались другъ съ другомъ <...> и заключился отъ всѣхъ»¹⁶⁾.

Замкнулся он от других, следовательно, по нескольким причинам: и оттого что они были так злы и безжалостны ко всем слабым и беззащитным, и оттого что они все проникнуты были мечтами о теплых мес-

¹⁶⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. III. Ч. 2. С. 124–125.

течках, о «самовознаграждении», кружечном сборе, взятках и казнокрадстве, и оттого, как он говорит также в «Записках из подполья», что они были грубо циничны и развратны¹⁷⁾, и оттого, наконец, что они, как Достоевский подчеркивает в тех же «Записках из подполья», не интересовались такими «внушающими, поражающими предметами» (какими он, например, считал русскую и западноевропейскую литературу), а глупыми разговорами, играми и занятиями¹⁸⁾.

Но уединившись, замкнувшись от большинства, он на время вступил в горячую дружбу с одним из них, Бережецким. Дружба эта дала ему очень многое.

С одной стороны, он с другом изучил Шиллера и поверял этого Шиллера или, вернее, наиболее романтические места этого Шиллера на своем друге, который казался ему как бы олицетворением этих мест. А Шиллер в жизни и произведениях Достоевского сыграл огромную роль. О Шиллере он мечтает с другом, его он рекомендует переводить брату, Шиллера он в 60-х годах в журнале «Время» объявляет преимущественно перед другими западно-европейскими писателями не только великим *всемирным* поэтом, но сверх того *русским* поэтом, более доступным сердцу русскому, чем Гете и Байрон, главным любимцем читающих и пишущих русских¹⁹⁾. Наконец в последнем своем предсмертном произведении он устами Дмитрия Карамазова страстно декламирует «Гимн радости» Шиллера.

С другой стороны, друг этот вдвое был нужен Достоевскому именно тогда, когда он, благодаря своему несходству с товарищами, чувствовал себя совершенно одиноким. Дружба эта, однако, как мы видели, в кон-

¹⁷⁾ Ib. С. 125.

¹⁸⁾ Ib.

¹⁹⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Пг.: Просвещение, 1911–1918. Т. 22. С. 238–239.

це концов оборвалась. Достоевский слишком много требовал от своего друга, хотел, чтобы и он порвал со всеми товарищами, а тот — обыкновенный, дюжинный человек, хотя и «наивная и отдающаяся душа», как говорит о нем Достоевский в «Записках из подполья»²⁰⁾, — не способен был на такой подвиг.

После разрыва с Бережецким Достоевский поддерживал, насколько можно судить, лишь неглубокие, чисто товарищеские отношения с Бекетовым, Витковским и Григоровичем.

Но зато он вне стен Инженерного замка завязал дружеские отношения с Шидловским.

Если Бережецкий, судя по словам Савельева, «был под сильным влиянием Достоевского, слушался его и повиновался ему, как преданный ученик учителю»²¹⁾, то в случае с Шидловским, по-видимому, Достоевский, наоборот, преклонялся перед Шидловским.

Более чем через 30 лет после того, как Достоевский навсегда расстался с этим своим другом, писатель говорил брату философа Влад. Соловьева — будущему автору исторических романов Всеволоду Соловьеву, когда тот просил сообщить некоторые библиографические и хронологические сведения для статьи о Шидловском: «Непременно упомяните в вашей статье о Шидловском <...> Ради Бога, голубчик, упомяните — это был большой для меня человек, и стоит он того, чтоб его имя не пропало...»²²⁾

А вторая жена Достоевского Анна Григорьевна рассказывает в своих воспоминаниях, что когда Влад. Соловьев в 1873 году начал посещать их дом и произвел на Достоевского такое чарующее впечатление, что

²⁰⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. III. Ч. 2. С. 126.

²¹⁾ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 38 (первая пагинация).

²²⁾ Цит. по кн.: Чешихин-Ветринский Вас. Е. Федор Михайлович Достоевский... Ч. 1. С. 122.

тот потом взял его в прототипы своего Алеши Карамазова, то Достоевский, объясняя раз Соловьеву причину, почему он так к нему привязан, сказал:

— Вы чрезвычайно напоминаете мне одного человека, <...> некоего Шидловского, имевшего на меня в моей юности громадное влияние. Вы до того похожи на него и лицом и характером, что подчас мне кажется, что душа его переселилась в вас²³⁾.

Уже по приведенным отзывам видно, как важно было бы для нас ближе ознакомиться с личностью этого человека.

К сожалению, единственная книжка, вышедшая о нем в 1921 году, «Ранний друг Достоевского» М. П. Алексеева, издана в Одессе, по-видимому, в весьма небольшом числе экземпляров, представляет теперь библиографическую редкость, и мне, несмотря на все мои старания, не удалось ее достать.

Того, что передают о нем Долинин в комментариях к письмам Достоевского и Гроссман в биографии Достоевского, слишком мало, чтобы мы могли получить об этом лице вполне ясное представление.

Сам Достоевский, по воспоминаниям Всеволода Соловьева, рассказывал о нем, что это «был человек, в котором мирилась бездна противоречий: он имел “громадный” ум и талант <...> [судьба его] кутеж и пьянство — и пострижение в монахи»²⁴⁾.

Если память не изменила Всева Соловьеву и Достоевский действительно так его характеризовал, то эта характеристика сильно напоминает нам, с одной стороны, Дмитрия Карамазова, с другой — героя «Жития великого грешника».

Долинин характеризует Шидловского словами: «Это была натура исключительная, страстная, экзальтирован-

²³⁾ Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 181–182.

²⁴⁾ Чешихин–Ветринский Вас. Е. Федор Михайлович Достоевский... Ч. 1. С. 122.

ная, внутренне противоречивая, с большими требованиями к жизни, к себе и к людям, вечно ищущая и нигде ни в чем не находящая себе покою»²⁵⁾. При этом Долинин сравнивает характер и отчасти судьбу его, как мы уже говорили раз, с характером и судьбою Владимира Сергеевича Печерина, так хорошо описанного Гершензоном в «Жизни Печерина» (М., 1910).

Гроссман, черпавший свои сведения о Шидловском не только из книги Алексева и биографии Достоевского от 1883 года, но и из рассказа невестки Шидловского, переданного А. Г. Достоевской, сообщает нам следующее: «...друг Достоевского был старше его на пять лет, успел уже окончить университет, служил в одном из министерств, много писал, общался с литераторами... Творческие замыслы Шидловского <...> типичны для романтического поколения... Он культивирует два излюбленных жанра той эпохи — лирику и драму <...>

Сохранившиеся стихи Шидловского носят следы характерного стремления поздних романтиков слить напряженную душевную жизнь с грозной космической стихией, преодолеть в бурном творческом порыве бранные оболочки повседневного.

Буря воеет, гром грохочет,
Небо вывалиться хочет;
По крутым его волнам
Пляшет пламя там и сям;
То дробясь в движенье скором,
Вдруг разбрызнется узором,
То исчезнет, то опять
Станет рыскать и скакать.
Ах, когда б на крыльях волн
Мне из жизненной юдоли
В небеси откочевать,
В туче место отобрать,

²⁵⁾ Достоевский Ф. М. Письма. Т. II. С. 463.

Там вселиться и порою
Прихотливою рукою
Громы чуткие будить
Или с Богом говорить.

Эти строфы восхищали [юношу] Достоевского.

Одно из сохранившихся писем Шидловского к [старшему брату Достоевского] Михаилу Достоевскому (от 17 января 1839 года) раскрывает разнообразные художественные интересы и сложные жизненные впечатления этого безвестного [большой публике] поэта. Мотивы личных запросов и сомнений здесь сливаются с обширными и углубленными литературными замыслами. Высокая миссия поэта провозглашается в несколько приподнятом, почти торжественном тоне.

“Ваша поэзия [пишет он М. Достоевскому] своим изящным характером возвращает меня к младенчеству, к той чистой простоте, чуждой современного суетумудрия, байроновского бешеного эгоизма, без которой [будто бы] нельзя вникнуть в царствие Божие... Вот единственный истинный признак великого поэта, человека по преимуществу: выпачкайте его в грязь, смешайте с пылью, поносите, тесните, пытайте, — душа [поэта все же] останется твердой, верной самой себе, и ангел вдохновения изведет ее здоровою из темницы жизни в мир бессмертия, на ложе царящей всюду славы. [И Шидловский, вспоминая разговор с известным тогда журналистом, драматургом, романистом и критиком Николаем Алексеевичем Полевым (1796–1846), продолжает:] Полевой чудесно выразился при мне однажды <...>, что на человека надобно смотреть как на средство к проявлению великого в человечестве, а тело, глиняный кувшин, рано или поздно разобьется, и прошлые добродетели [и] случайные пороки сгинут”²⁶⁾.

²⁶⁾ Гроссман Леонид. Путь Достоевского. С. 44–45.

«И вот — Шидловский [слова Ореста Миллера в биографии Достоевского] чуть было преждевременно не разбил *самовольно* этого “глиняного кувшина”. “С самого возвращения <...> [в Петербург из отпуска] сердце мое начало нагреваться более и более *теплом веры* и смирения”; однако же, как раз накануне Рождества, им овладевала решимость “расторгнуть цепи бытия, покинуть этот плен, — и дно речное, дно моей милой Фонтанки, пишет он, *манило меня* страстно, как брачный одр обрученного”»²⁷⁾.

«Он вспоминает по этому поводу имена [самоубийц] Вертера и Чатертона. Но [пишет он дальше] необходимость получить от жизни все ее “долги” — [а именно] наслаждения, творчество, славу, — удерживает от самоубийства. <...> Впрочем [в этом письме] интерес к новейшей литературе, поэзии, журналистике господствует над всем. В письмо вводится целый обзор современных журналов — Библиотеки для чтения, Отечественных Записок, Сына Отечества, Современника. Высоко оценивается роль [издававшегося как раз упомянутым Полевым] “Московского телеграфа”, который “роскошно, мощно развивал свое значение в годину полного расцвета русской словесной жизни. Счастлив, кто сохраняет его, как кивот святыни в своей библиотеке. Ему обязан я целым духом своим”.

Но надо всем [этим] господствует культ Пушкина, столь характерный для [Достоевского самого, его брата и всего] литературного поколения конца 30-х годов. О поэте говорится в тоне особенной близости, как о современнике и как бы активном участнике длящегося журнального движения: ведь еще не истекло двух лет со дня роковой дуэли. Упрекая Плетнева за неудачное ведение [пушкинского] “Современника”, особенно ввиду отсутствия критики в журнале, Шидлов-

²⁷⁾ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 38–39 (первая пагинация).

ский продолжает: “Правда, и покойный Александр Сергеевич не давал отчета *во всех* современных явлениях литературы, но кто же вспомнит *без очарования* его разбор фракийских элегий, *согретый девственной, увлекательной теплотой* поэтического сочувствия, всегда более или менее верного, истинного; или его замечания на Броневского критику Пугачевского бунта, *дельный* эпизод исторической мыслительности, прагматического созерцания”. Письмо заканчивается полемическим ответом на восторженный отзыв корреспондента о “Гернани” [Виктора] Гюго и попутным суждением о сущности драмы.

В таком виде предстает перед нами Шидловский в конце тридцатых годов [когда знал его Достоевский].

Сложная, вполне “Карамазовская” натура этого романтика проявилась во всю ширь лишь впоследствии. Вскоре он от лирики переходит к большим научным трудам и принимается, как герой “Хозяйки” Достоевского — Ордын, за историю русской церкви. “Но ученая работа, — сообщала в 1901 году А. Г. Достоевской невестка Шидловского, — не могла всецело поглотить его душевную деятельность. Внутренний разлад, неудовлетворенность всем окружающим — вот предположительно те причины, которые побудили его в 50-х годах поступить в Валуйский монастырь. Не найдя, по-видимому, и здесь удовлетворения и нравственного успокоения, он предпринял паломничество в Киев, где <...> обратился к какому-то старцу, который посоветовал ему вернуться домой в деревню, где он и жил до самой кончины, не снимая одежды инок-послушника. По сохранившимся в семье Шидловского воспоминаниям — это был человек выдающегося ума и блестящего остроумия. С умом он соединял обширное образование и глубокие научные сведения. [Но] его странная, исполненная всяких превратностей жизнь свидетельствует о сильных страстях и бурной

природе. На окружающих он производил впечатление человека необыкновенного. Его влияние в обществе и частной беседе было неотразимо. Глубокое нравственное чувство Ив[ана] Н[иколаевича] стояло нередко в противоречии с некоторыми странными поступками: искренняя вера и религиозность сменялась временным скептицизмом и отрицанием. Эту сторону в характере Шидловского, эту двойственность его натуры верно подметил Ф. М. Достоевский". <...>

Странная и замечательная участь этого [друга Достоевского] уясняет его сложный юношеский облик, разорванный борьбой столкнувшихся начал демонизма и подвижнической праведности. Поселившись в своем имении Харьковской губ[ернии], Ив[ан] Ник[олаевич] Шидловский, поражавший всех своим исключительным ораторским дарованием, совершенно забросил сельское хозяйство и делил свое время между кутежами с драгунами или паломничеством по монастырям. На офицерских попойках он как бы исполнял роль председателя оргий, предводительствуя общим хоровым творчеством в духе музыки Баркова [т. е. порнографическом].

Но часто, облекшись в странническую одежду, он обходил ближние и дальние монастыри, увлекая монахов своими жаркими духовными проповедями, в которых находили себе применения и его обширные богословские познания, и способность поэтической натуры к экстазам красноречия. Но и в этих паломничествах Шидловский не выдерживал до конца взятой на себя страннической миссии, и даже вызвал, наконец, запрет местного архиерея принимать его во все монастыри епархии за развращение братии.

Но Шидловский уже не мог отказаться от очарований скитальческой жизни бродяги-поэта и странника-проповедника. Еще долго по окраинам Харьковской губернии можно было видеть у входа в шинок человека высокого роста в страннической одежде, пропо-

ведывающего Евангелие благоговейной толпе мужиков и плачущих женщин. Это — школьный друг Достоевского, давно оставив свои ранние стремления к правильному очерку шиллеровского человека, все еще продолжал искать по проселочным дорогам творческих вдохновений и “высокой настроенности”²⁸⁾.

14-я лекция, 1 марта 1932 года

Ознакомившись на одной из предыдущих лекций с личностью Ивана Николаевича Шидловского, нам оставалось бы теперь лишь подробнее остановиться на характере отношений Достоевского с ним. Но так как дружба их была отчасти так называемая «литературная дружба», то есть основана в значительной степени на общности литературных интересов, на общности увлечений литературными идеалами, то мне необходимо сперва ознакомить вас с тем, что в то время особенно интересовало Достоевского в мировой литературе, чем этот юноша тогда увлекался, что он читал, о чем мечтал в свободные от своих специальных инженерных занятий минуты, о чем он говорил с теми немногими товарищами, с которыми он уединялся от общей шумной толпы кондукторов Главного военного инженерного училища.

На смену господствовавшему в конце восемнадцатого и начале девятнадцатого века сентиментализму ко времени вступления Достоевского в училище успел уже явиться новоромантизм. И то и другое литературные направления нашли много отголосков в живой, впечатлительной, отзывчивой душе юноши Достоевского. Интересно поэтому несколькими словами охарактеризовать главные черты этих направлений.

Уже за 50–60 лет до французской революции наиболее чуткие умы Европы начали пробуждаться к со-

²⁸⁾ Гроссман Леонид. Путь Достоевского. С. 45–49.

знанию о том, что господствующие общественные условия невыносимы и что необходимо было что-нибудь сделать для изменения этих условий. Это сознание выразилось различным образом.

С одной стороны — в виде жалости ко всем находившимся в тяжелых условиях, т. е. в форме *сентиментализма*, который особенно сильно проявился в Англии и Германии, где, например, Вертер Гете (в 1774 году) изливает жалобы своего поколения на все недостатки и несправедливости общественного порядка.

С другой стороны, появляются лица вроде Ж.-Ж. Руссо, которые умоляют людей положить конец наиболее вопиющим злоупотреблениям, для того чтобы предотвратить мировые катастрофы.

Человечество, однако, обращает слишком мало внимания на их предостерегающие голоса, и катастрофы, связанные с французской революцией, наступают. Критическое положение обостряется. Слухи о совершающихся в разных местах насилиях и ужасах быстро распространяются по всему свету. Нет, по-видимому, выхода из создавшегося положения, нет, по-видимому, никакой возможности распутать создавшиеся неразрешимые конфликты.

Более слабые кончают самоубийством, большинство стараются занять умы чем-либо таким, что могло бы отвлечь их мысли от совершающегося.

Необразованное большинство забывается в вихре удовольствий, более интеллигентные либо замыкаются в собственной скорлупе, с головою уходя в свою науку, либо дают свободный полет фантазии, «переселяясь» из мира окружающей их действительности в средневековые с его рыцарскими идеалами или в совершенно фантастические миры, населенные привидениями, демонами, ведьмами. Или же, наконец, недовольные действительностью, уходят в мир идеалов, где с восторгом и восхищением увлекаются всем тем, чего

они не находят в себе самих и окружающих их людях. На этой почве возникает *новороманнизм*.

Как я говорил уже, и сентиментализм и новороманнизм находят живые отголоски.

Воспитанный в глубокой религиозности, увлекающийся чтением Евангелий, Достоевский проникается жалостью к страдающим людям — братьям. Уже в детстве он читает такие сентиментальные повести Карамзина, как «Бедная Лиза», и сентиментальный роман «Семейство Холмских». В детстве же он знакомится с миром средневековья, поглощая романы Вальтера Скотта. В училище он, как мы видели, вместе с другом своим Бережецким, умершим, кстати сказать, в самой ранней молодости¹⁾, увлекался идеалами дружбы, выводимыми Шиллером в «Дон Карлосе».

В училище же он с упоением отдается чтению целого ряда писателей новоромантического направления. В письмах его того времени перед нами проходит целый ряд имен, показывающий нам, какую массу книг успевает прочесть живой, увлекающийся всем юноша.

Упоминается здесь Байрон и его «Шильонский узник». И хотя здесь он упомянут мимоходом, впечатление от него осталось у Достоевского на всю жизнь. Через тридцать девять лет Достоевский в своем «Дневнике писателя» за 1877 год (декабрь, подглавка II второй главы) напишет о байронизме: «Байронизмъ появился въ минуту страшной тоски людей, разочарованія ихъ и почти отчаянія. Послѣ изступленныхъ восторговъ новой вѣры въ новые идеалы, провозглашенной въ концѣ прошлаго столѣтія во Франціи, — въ передовой тогда націи европейскаго челоувѣчества наступилъ исходъ, столь не похожій на то, чего ожидали, столь обманувшій вѣру людей, что никогда, можетъ быть, не было въ исторіи Западной Европы

¹⁾ Достоевский Ф. М. Письма. Т. I. С. 471.

столь грустной минуты. И не отъ однѣхъ только внешнихъ (политическихъ) причинъ пали вновь воздвигнутые на мигъ кумиры, но и отъ внутренней несостоятельности ихъ... Новый *исходъ* еще не обозначался, новый клапанъ не отворялся, и все задыхалось подъ страшно понизившимся и сузившимся надъ чело-вѣчествомъ прежнимъ его горизонтомъ. <...> И вотъ въ эту-то минуту и явился [Байрон] великій и могучій гений, страстный поэтъ. Въ его звукахъ зазвучала тогдашняя тоска чело-вѣчества и мрачное разочарованіе его въ своемъ назначеніи и въ обманувшихъ его идеалахъ. Это была новая и неслыханная еще тогда муза мести и печали, проклятія и отчаянія. Духъ байронизма вдругъ пронесся какъ бы по всему чело-вѣчеству, все оно откликнулось ему. Это именно было какъ-бы отворенный клапанъ; по крайней мѣрѣ, среди всеобщихъ и глухихъ стонѣвъ, даже большею частью безсознательныхъ, это именно былъ тотъ могучій крикъ, въ которомъ соединились и согласились всѣ крики и стоны чело-вѣчества»²⁾.

В письмахъ юноши Достоевского, этого будущего глубокого христианина, недаромъ упоминается «Дух христианства» (1802), в котором Шатобриан (1768–1848) доказывает, что христианство наиболее поэтическая, наиболее гуманная, наиболее благоприятная для свободы, искусства и литературы религія. Тот же Шатобриан в своихъ «Мученикахъ» («*Les martyrs*», 1809), сопоставляя христианство даже с самыми прекрасными формами язычества, старается доказать благородную возвышенность первого. Он же старается пробудить интересъ к библейской поэзии и воодушевленному духомъ христианства готическому искусству.

Во многихъ местахъ юношеской корреспонденціи Достоевского передъ нами проходитъ имя одного изъ главныхъ

²⁾ Достоевскій Ф. М. Полн. собр. соч. Т. XI. С. 421.

романтиков — Виктора Гюго, который позднее своими «*Les misérables*» («Отверженными») и «Последним днем приговоренного к смерти» оказал прямое влияние на произведения Достоевского и о котором Достоевский в 1861 г. в своем предисловии к переводу романа «Собор Парижской Богоматери» писал: мысль В. Гюго — «...мысль христианская и высоконравственная; формула ея — восстановление погибшаго челоѣка, задавленнаго несправедливо гнетомъ обстоятельствъ, застоя въковъ и общественныхъ предразсудковъ. Эта мысль — оправданіе униженныхъ и всѣми отринутыхъ парій общества. <...>

Викторъ Гюго [по мнѣнію Достоевскаго] чуть ли не главный провозвѣстникъ этой идеи “возстановленія” въ литературѣ нашего вѣка»³⁾.

Наряду с В. Гюго немало места отводит Достоевский в своих письмах и другому представителю новоромантизма Гофману, о котором он позднее в предисловии к рассказам Эдгара По отзывается так: «У Гофмана есть идеаль, правда иногда не точно поставленный; но въ этомъ идеаль есть чистота, есть красота дѣйствительная, истинная, присущая челоѣку. Это всего виднѣе въ его нефантастическихъ повѣстяхъ, каковы, напримеръ, “Мейстеръ Мартинъ” или изящнѣйшая, прелестнѣйшая повѣсть “Сальвадоръ Роза” [в подлиннике “Signor Formiko”]. Мы уже не говоримъ о его лучшемъ произведеніи “Коть Мурръ”. [И] что за истинный, зрѣлый юморъ [в его произведенияхъ], какая сила дѣйствительности, какая злость, какіе типы и портреты, и рядомъ — какая жажда красоты, какой свѣтлый идеаль!»⁴⁾

О Гофмане, этом прозорливом изобразителе «подсознательного» в человеке, мне еще придется говорить

³⁾ *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Пг.: Просвещение, 1911–1918. Т. 22. С. 230, 231.

⁴⁾ *Иб.* С. 234–235.

подробно. Отмечу только, что Альбан, о котором упоминает Достоевский в одном из своих писем, — герой повести Гофмана «Магнетизер», один из романтических гениев, стремящийся к божественному, пренебрежительно относящийся к оковам устарелой морали, к «этим трусливым заграждениям земной толпы»⁵⁾.

Особенно восторженные отзывы юноши Достоевского о новоромантике, но в то же время и основоположнике французского реализма Бальзаке, однако и о нем нам придется поговорить подробнее потом.

Но Достоевский в своих письмах касается не одних только современников.

Из французов он восхищается пламенным, страстно влюбленным в свои идеалы Расином (1639–1699), Корнелем (1606–1684), у которого, хотя он жил двумя веками раньше романтизма, Достоевский находит развитыми высшие идеи его.

Упоминает Достоевский и Паскаля (1623–1662) и упоминает недаром, так как у них обоих, как справедливо замечает Долинин⁶⁾, одинакова основная тема учения: оправдание христианства, борьба с атеизмом и принижение разума перед непосредственной жизнью сердца.

Из мировых гениев Достоевский, кроме Гомера и Гете, подробно останавливается на Шекспире. Восторженные отзывы Достоевского о Шекспире как о величайшем драматурге имеются не только в его ранних письмах к брату, но и в позднейших и в целом ряде его произведений, вплоть до предпоследнего «Дневника писателя», где снова говорится: «Всемирность, *всепопнятность* и неизследимая глубина мировых типовъ челоѡка арійскаго племени, данныхъ Шекспиромъ на вѣки вѣковъ, не подвергается мною ни малѣйшему сомнѣнію»⁷⁾.

⁵⁾ Достоевский Ф. М. Письма. Т. I. С. 467.

⁶⁾ Иб. С. 465.

⁷⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. XI. С. 447.

Долинин, может быть, и прав, говоря, что Шекспира следует считать одним из главных воспитателей трагического начала в творчестве Достоевского⁸⁾.

Сделав эти предварительные замечания, мы можем обратиться непосредственно к письменным отзывам Достоевского о читанной им мировой литературе. Все эти отзывы встречаются в письмах Достоевского к старшему его брату Михаилу, начиная с письма от 9 августа 1838 года и кончая письмом от 1 января 1840 года.

Поражает в этих письмах прежде всего свойственный Достоевскому максимализм, проявляющийся в пылкости и восторженности его взглядов. Но интересно также отметить чуткость Достоевского к истинной поэзии и свободу его от подчинения авторитетам. В этом смысле показательно, например, что Достоевский вернее оценивает Виктора Гюго, чем один из лучших критиков и историков литературы Франции Низар (1806–1888).

Эпиграфом ко всем отзывам Достоевского о мировой литературе можно было бы поставить слова, вырвавшиеся у него в письме от 16 августа 1839 г. среди сетований по поводу смерти отца и тяжелого положения младших братьев и сестер. Вот эти слова: «Как много святого и великого, чистого... [на] этом свете. Моисей и Шекспир...»⁹⁾

В письме от 9 августа 1838 года 16-летний Достоевский пишет брату: «Ну ты хвалишься, что перечитал много... но прошу не воображать, что я тебе завидую. Я сам читал [в лагере] в Петергофе по крайней мере не меньше твоего. Весь Гофман [переведенный на] русский [язык] и немецкий (т. е. непереведенный “Кот Мурр”), почти весь Бальзак» (конечно, вышедший до того времени). И Достоевский восклицает: «Бальзак

⁸⁾ *Достоевский Ф. М.* Письма. Т. I. С. 471.

⁹⁾ *Достоевский Ф. М.* Письма. Т. II. С. 551.

велик! Его характеры — произведения ума вселенной! Не дух [нашего] времени, но целые тысячелетия приготавливали бореньем своим такую развязку в душе человека <...>. “Фауст” Гете и его мелкие стихотворенья <...>. Также Виктор Гюго кроме [его последних драм] “Кромвеля” и “Гернани”».

В постскриптуме он прибавляет: «У меня есть прожект: сделаться сумасшедшим. — Пусть люди [сперва] бесятся [не понимая моей болезни, потом] пусть лечат, пусть делают умным. — Ежели ты читал всего Гофмана, то наверно помнишь характер [героя рассказа “Магнетизер”] Альбана. — Как он тебе нравится? Ужасно видеть человека, у которого во власти непостижимое, человека, который не знает, что делать ему, играет игрушкой, которая есть — Бог»¹⁰⁾.

В письме от 31 октября 1838 года 17-летний тогда Достоевский, сообщая о том, что он, из-за несправедливости *учителя математики*, оставлен на второй год, пишет между прочим: «Брат, грустно жить без надежды... Смотрю вперед и будущее меня ужасает... Я ношусь в какой-то холодной, полярной атмосфере, куда не заползал луч солнечный... Я давно не испытывал взрывов вдохновенья... за то часто бываю и в таком состояньи, как, помнишь, Шильонский Узник после смерти братьев в темнице... Не залетит ко мне райская птичка поэзии, не согреет охладелой души... <...> Да! Напиши мне главную мысль Шатобрианова сочиненья *Génie du Christianisme*. — Недавно в Сыне отечества я читал статью критика Низара о Victor Hugo. — О как низко стоит он во мненьи французов. Как ничтожно выставляет Низар его драмы и романы. — Они несправедливы к нему и Низар (хотя умный человек) а врет»¹¹⁾.

¹⁰⁾ Достоевский Ф. М. Письма. Т. I. С. 47.

¹¹⁾ Ib. С. 50–51.

Наконец в письме от 1 января 1840 г. 18-летний юноша пишет: «Хотел было много написать тебе в ответ на твои нападки на меня, на то что ты не понял слов моих. <...> [между прочим] я не сортировал великих поэтов <...> Что же касается до Гомера и Victor'a Hugo, то ты, кажется, нарочно не хотел понять меня. — Вот как я говорю: Гомер, (баснословный человек может быть как Христос, воплощенный Богом и к нам посланный) может быть параллелью только Христу, а не Гете. Вникни в него брат, пойми Илиаду, прочти ее хорошенько; (ты ведь не читал ее? признайся). Ведь в Илиаде Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной и земной жизни, совершенно в такой же силе как Христос новому. Теперь, поймешь ли меня? Victor Hugo, как лирик, чисто с Ангельским характером, с христианским младенческим направлением поэзии, и никто не сравнится с ним в этом, ни Шиллер (сколько не христианск<ий> поэт Шиллер), ни лирик Шекспир, я читал его сонеты на французском, ни Байрон, ни Пушкин. Только Гомер с такою же неколеблемою уверенностию в призвании, с младенческим верованием в бога поэзии, которому служит он, похож в направлении источника поэзии на Victor'a Hugo, но только в направлении, а не в мысли, которая дана ему природою и которую он выражал, я и не говорю про это»¹²⁾.

«Вот тебе распекании: <...> говоря о форме, с чего ты взял сказать: нам не могут нравиться ни Расин, ни *Корнель* (!?!), оттого что у них форма дурна. Жалкий ты человек! Да еще так умно говорит мне: *Неужели ты думаешь, что у них нет поэзии?* У Расина нет поэзии? У Расина, пламенного, страстного, влюбленного в свои идеалы Расина, у него нет поэзии? <...> Теперь о Корнеле? <...> Читал ли ты: "Le Cid". —

¹²⁾ Ib. С. 57–58.

Прочти, жалкий человек, прочти и пади в прах пред Корнелем. <...> Каков характер Don Rodrigue'a, молодого сына его, и его любовницы! А каков конец!»¹³⁾

15-я лекция, 8 марта 1932 года

Прошлый раз мы ознакомились с несколькими письмами 16–18-летнего юноши Достоевского о литературе и видели, каким не только обыкновенным юношеским задором и увлечением, но и свойственным вообще Достоевскому максимализмом полны его отзывы о различных произведениях мировой литературы.

Без особого критического изучения всей тогдашней журналистики вообще и критической литературы в частности нам, конечно, пока невозможно сказать, сколько в словах Достоевского оригинального, сколько заимствовано из читанной им в то время критической литературы. Но, судя по примеру с Виктором Гюго, где мнение юноши Достоевского совершенно расходится с тогдашней официальной французской критикой, и принимая во внимание, что мировые гении, вообще говоря, очень рано проявляют свою самостоятельность, мы можем а priori допустить, что большинство отзывов Достоевского в этих письмах вполне самостоятельны.

При этом нельзя не поразиться той массой литературы, которую молодому Достоевскому удалось поглотить за это время, несмотря на то что он был сильно занят своими специальными инженерными науками и всякого рода практическими занятиями. К тому же в письмах упомянуты далеко еще не все книги, прочитанные Достоевским в это время. Из других источников мы можем добавить немало имен к упоминаемым здесь Достоевским. Так, товарищ его по училищу Григорович рассказывает, что Достоевский

¹³⁾ Иб. С. 58–59.

познакомил его с очень ценимой им книгой Томаса де Квинси «Исповедь англичанина, принимавшего опиум» и с романами Фридриха Сулье, к которым Достоевский, по словам Григоровича, очень пристрастился, особенно восхищаясь его «Записками демона» («*Mémoires du diable*»)¹.

Сам Достоевский упоминает во II подглавке первой главы своего «Дневника писателя» за июнь 1876 года о том, что в это время началось его знакомство с французской писательницей Жорж Занд. «Мнѣ было, я думаю, лѣтъ шестнадцать [пишет он там], когда я прочелъ въ первый разъ ея повѣсть “Ускокъ” — одно изъ прелестнѣйшихъ первоначальныхъ ея произведений. Я помню, я былъ потомъ въ лихорадкѣ всю ночь»².

Вне всякого сомнения и то, что он как раз в это время читал и все вышедшие до того произведения Гоголя. По крайней мере, другой из его товарищей по училищу Трутовский утверждает, что когда он посещал 21–22-летнего Достоевского, тот много говорил с ним о произведениях Гоголя, особенно «Шинели», а Гоголь начал печататься еще в то время, когда Достоевский жил в Москве, и в течение тех лет, пока Достоевский учился в Инженерном училище, вышел ряд его произведений. О Гоголе к тому же говорил своим ученикам и преподаватель Инженерного училища профессор Плаксин. Правда, он совершенно не понимал Гоголя и, по словам Трутовского, внушал, что «это верх бездарности, пошлости и что его произведения грязны и циничны до неприличия»³, но такие отзывы скорее возбуждают желание ознакомиться с писателем, чем отваживают от него.

¹) См.: *Чешихин–Ветринский Вас. Е. Федор Михайлович Достоевский...* Ч. 1. С. 35, 37.

²) *Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. X. С. 207.*

³) *Чешихин–Ветринский Вас. Е. Федор Михайлович Достоевский...* Ч. 1. С. 32.

Теперь мне необходимо остановиться на знакомстве Достоевского с произведениями Бальзака и Гофмана.

Гроссман совершенно прав, когда в одной из своей статей о Достоевском⁴⁾ говорит, что и Достоевский и Бальзак многим обязаны своему предшественнику, представителю немецкого нового романтизма, или, точнее говоря, *кошмарного романтизма*, романтизма ужасов Эрнсту Теодору Вильгельму (или как он, преклоняясь перед Моцартом, переименовал себя) Амадеусу Гофману (1776–1822). У Гофмана основные причины, вызвавшие возникновение романтизма, с его желанием забыть тяжелую окружающую жизнь и уйти в средневековые и мир чудесного, проявились особенно типично.

Родители его совершенно не подходили друг к другу, и семейная жизнь их была очень несчастна. Когда мальчику исполнилось три года, родители развелись, и сын передан был на воспитание брату матери, человеку в высшей степени педантичному, совершенно не понимавшему мечтательную натуру своего племянника, которому, ввиду этого, немало пришлось выстрадать от господствовавшего в доме его дяди гнета.

Когда юноше было 16–18 лет, Европа полнилась слухами о всех кошмарных ужасах французского якобинского террора, и слухи эти произвели весьма тяжелое впечатление на Гофмана; в то же время умерла его мать и он перенес все страдания первой несчастной любви. Юноша, обладавший большими дарованиями в области музыки, рисования и литературы, рано бежал из тяжелого мира действительности в сферу фантазии.

Внешняя жизнь его сложилась очень несчастно. В силу сложившихся обстоятельств он очутился в должности одного из тех прусских чиновников, которые в то время участвовали в притеснении Польши, и слу-

⁴⁾ Гроссман Л. Гофман, Бальзак и Достоевский // София. 1914. Май. С. 86–96.

жил в этой должности в Плоцке и Варшаве, где к тому же женился на необразованной польке.

Само собою разумеется, что такой нервный, впечатлительный человек, каким он был, не мог не чувствовать всей двойственности своего положения среди враждебно настроенного против него, как и других прусских чиновников, польского населения. Жена-полька не скрывала, конечно, от него этой враждебности.

Не мог он не чувствовать и тяжелого положения Европы вообще.

Но он сознательно не желал этого знать. После его смерти, между прочим, были найдены четыре толстых дневника, веденных им в годы его службы в Польше, но в высшей степени показательно для него, что в этих дневниках нет ни одного упоминания о тогдашней политической обстановке.

Он *не хотел* о ней думать.

Все свои дни он работает как юрист и чиновник сперва в Польше, потом в Пруссии. Необыкновенно ясным и разборчивым почерком он пишет в высшей степени солидные чиновнические доклады, для того чтобы зарабатывать себе этим средства для существования, а все остальное время старается совершенно не думать об окружающей его жизни. Он с головою уходит в рисование и в музыку, в которой он отчасти является предшественником Вагнера, или с лихорадочной поспешностью пишет одно литературное произведение за другим.

Вся его жизнь раздваивается. В служебное время он корректный, аккуратный, педантичный чиновник. Но совсем другого рода человек проводит вечера в ресторане Лютера и Вегенера, разжигая свою фантазию пьянством в обществе Девриэна и других недостойных его лиц.

Такую же двойственность мы замечаем в его произведениях. Идиллии и трезвые рассказы из обыденной

жизни чередуются со сказочными мотивами и историями о привидениях. Глубокомыслие и сумасшествие идут рука об руку.

Сам «мученик расщепления личности»⁵⁾, Гофман умел мастерски передавать наиболее болезненные и ненормальные душевные состояния. С сосредоточенною силою сновидений и пережитого действуют рассказы этого духовидца, полные тяготения ко всему таинственному и кошмарному: привидения, автоматы, двойники, демоны, ведьмы, гипнотизеры, таинственные незнакомцы и т. п. наполняют их. Тот фантастический мир, в который он бежал из своей обыденной жизни, становился с каждым днем для него все реальнее, — и когда он не проводил время в ресторане, а со стаканом пунша подле себя писал глубокой ночью дома за своим письменным столом, он нередко громким криком призывал свою жену, чтобы она приходила держать его за руку и таким образом разгонять те привидения, которые его возбужденная фантазия видела везде вокруг себя.

Если мы теперь попробуем анализировать вопрос о том, что сближало Достоевского с Гофманом, мы сейчас же встретимся с целым рядом затруднений. На первый взгляд, в жизни и в деятельности обоих писателей не было ничего общего. Детство Гофмана было глубоко несчастно, детство Достоевского необыкновенно счастливо. Служба Гофмана проходила в весьма неблагоприятных условиях, Достоевский почти вовсе не служил, и т. д.

Но, с другой стороны, были у них сближавшие их черты.

Правда, почти вся жизнь Гофмана сложилась так, что у него были причины искать забвения в вине и в мире фантазии, тогда как у Достоевского жизнь

⁵⁾ Выражение Р. Г. Беpra (Nordisk Familjebok. Ny, reviderad och rikt illustrerad upplaga. Stockholm, 1909. Elfte bandet. Стлб. 913).

в общем прошла иначе. Но и у Достоевского были периоды, когда жизнь его складывалась необыкновенно трудно.

Тяжело ему жилось, как мы видели, в Инженерном училище, особенно вначале; тяжело жилось, когда кружок Белинского, сперва принявший его с распростертыми объятьями, потом вытолкнул его и издевался над ним в лице Тургенева и Некрасова в особенности. Исклчительно тяжело жилось в Петропавловской крепости и на каторге, в Семипалатинске, за границею, и в такие периоды и Достоевскому естественно было желать уйти с головою в мир фантазии. Показательно, что как раз во время преследования его кружком Белинского Достоевский написал «Хозяйку», наиболее похожую на произведения Гофмана своею таинственностью, фантастичностью и кошмарностью.

На первый взгляд, между Гофманом и Достоевским также огромная разница и в другом отношении. У Гофмана, как мы видим, было довольно сильное расщепление личности, раздвоение и в жизни и в литературе. У Достоевского, по-видимому, ничего этого не было.

Но если мы ближе присмотримся к произведениям Достоевского, то подметим там кое-что, напоминающее и в этом отношении Гофмана.

В пятой главе IV части «Идиота» князь Мышкин говорит Ипполиту: люди при Петре Великом были совсем не то, что теперь, «тогда люди были какъ-то объ одной идеѣ, а теперь нервнѣе, развитѣе, сенситивнѣе, какъ-то о двухъ, о трехъ идеяхъ заразъ <...> те- перешній челоувѣкъ шире...»⁶⁾

В седьмой главе I части князь Мышкин, рассматривая портрет Настасьи Филипповны, поражен двойственностью этого лица: «Какъ будто необъятная гор-

⁶⁾ *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. VI. С. 561.

дость и презрѣніе, почти ненависть, были въ этомъ лицѣ, и въ тоже самое время что-то довѣрчивое, что-то удивительно простодушное; эти два контраста возбуждали какъ будто даже какое-то состраданіе при взглядѣ на эти черты»⁷⁾.

В одиннадцатой главѣ II части того же романа главный герой говорит Келлеру: «Двѣ мысли вмѣстѣ сошлись, это очень часто случается. Со мной непрерывно. <...> [и] съ этими двойными [курсив Достоевского] мыслями ужасно трудно бороться; я испыталъ». И автор прибавляет: «Вопросъ о двойныхъ мысляхъ видимо и давно уже занималъ его»⁸⁾.

Если так говорит одно из главных действующих лиц «Идиота», то почти то же высказывает и одно из главных лиц «Бесов». В самом концѣ романа Ставрогин в своем письмѣ к Дарье Павловнѣ Шатовой пишет между прочим: «Я <...> могу пожелать сдѣлать доброе дѣло и ощущаю отъ того удовольствіе; рядомъ [то есть в то же время] желаю и злаго и тоже чувствую удовольствіе»⁹⁾.

В первой главѣ второй части «Подростка» опять-таки одно из главных действующих лиц романа — Версилов признается своему сыну: «Я могу чувствовать преудобнѣйшимъ образомъ два противоположныя чувства въ одно и то же время»¹⁰⁾, а в десятой главѣ третьей части Версилов перед совершением поступка, произведшего чрезвычайно сильное впечатленіе на присутствующих, говорит: «Знаете, мнѣ кажется, что я весь точно раздваиваюсь... Право, мысленно раздваиваюсь и ужасно этого боюсь. Точно подлѣ васъ стоитъ вашъ двойникъ; вы сами умны и разумны, а тотъ непременно хочетъ сдѣлать подлѣ васъ какую-нибудь

⁷⁾ Иб. С. 86.

⁸⁾ Иб. С. 333–334.

⁹⁾ Иб. Т. VII. С. 649.

¹⁰⁾ Иб. Т. VIII. С. 215.

безмыслицу, и иногда превеселую вещь, и вдруг вы замѣчаете, что это вы сами хотите сдѣлать эту веселую вещь, и Богъ знаетъ зачѣмъ, то есть какъ то нехотя хотите, сопротивляясь изъ всѣхъ силъ хотите. Я зналъ, однажды, одного доктора, который на похоронахъ своего отца, въ церкви, вдругъ засвисталъ. Право, я боялся придти сегодня на похороны, потому что мнѣ съ чего-то пришло въ голову непремѣнное убѣждение, что [и] я вдругъ засвищу...»¹¹⁾

В «Братьях Карамазовых» Дмитрий Карамазов в главе III третьей книги говорит своему брату Алеше: «Перенести я <...> не могу что иной, высшій даже сердцемъ человѣкъ и съ умомъ высокимъ, начинаетъ съ идеала Мадонны, а кончаетъ идеаломъ Содомскимъ. Еще страшнѣе кто уже съ идеаломъ Содомскимъ въ душѣ не отрицаетъ и идеала Мадонны, и горитъ отъ него сердце его, и во истину, во истину горитъ, какъ и въ юные безпорочные годы. Нѣтъ, широко человѣкъ, слишкомъ даже широко, я бы съузиль. <...> Тутъ дьяволъ съ Богомъ борется, а поле битвы — сердца людей»¹²⁾.

Интересно с этими последними словами Достоевского сравнить следующее наблюдение Бодлера на стр. 57 его «Дневника» (*journaux intimes*):

«Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations *simultanées*, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan». То есть: в каждом человеке, в каждую данную минуту есть две *одновременные* наклонности — одна к Богу, другая к Сатане.

В конце «Братьев Карамазовых», в VI главе двенадцатой книги прокурор, характеризуя того же Дмитрия Карамазова, выражает высказанную Дмитрием Алеше мысль следующими словами: «...мы природы широкия, Карамазовскія <...> способны вмѣщать всевозможныя

¹¹⁾ Ib. С. 521.

¹²⁾ Ib. Т. XII. С. 130.

противоположности и разом созерцать обѣ бездны, бездну надъ нами, бездну высшихъ идеаловъ, и бездну подъ нами, бездну самага низшаго и зловоннаго паденія. <...> Двѣ бездны, двѣ бездны, господа, въ одинъ и тотъ же моментъ <...> мы все вмѣстимъ и со всѣмъ уживемся!»¹³⁾

Не довольствуясь подобнымъ постояннымъ возвращеніемъ къ этой идее совмещения человекомъ в одно и то же время двухъ различныхъ мыслей, двухъ различныхъ бездн, Достоевскій посвящаетъ ей особое сочиненіе «Двойникъ», о которомъ самъ говоритъ в подглавке II первой главы ноябрьской книжки «Дневника писателя» за 1877 годъ: «Повѣсть эта мнѣ положительно не удалась, но идея ея была довольно свѣтлая, и серьезнѣе этой идеи я никогда ничего въ литературѣ не проводилъ. <...> если бъ я теперь принялся за эту идею и изложилъ ее вновь, то взялъ бы совсѣмъ другую форму; но въ 46 году этой формы я не нашелъ и повѣсти не осилилъ»¹⁴⁾.

Черезъ два года Достоевскій вновь взялся за ту же идею и в лице Ивана Карамазова с его двойникомъ чертомъ блестяще ее осилилъ¹⁵⁾.

Чтобы вамъ понятнѣе было, в чемъ заключается та идея, которой Достоевскій посвятилъ свою повесть «Двойникъ» и всю главу IX одиннадцатой книги «Братьевъ Карамазовыхъ» и к которой онъ, какъ мы видимъ, возвращался постоянно во всехъ своихъ романахъ, я приведу слова Слонимскаго. В статьѣ «Вдругъ у Достоевскаго»¹⁶⁾ онъ говоритъ: «Внутренняя жизнь Раскольникова [в «Преступленіи и наказаніи»] проходитъ по двумъ планамъ. В одномъ плане его идея о сверхчеловеке, который [какъ Наполеонъ] имеетъ право дѣлать то, что обыкновенные

¹³⁾ Иб. С. 830.

¹⁴⁾ Иб. Т. XI. С. 358.

¹⁵⁾ Иб. Т. XII. С. 751–771.

¹⁶⁾ Книга и революція. 1922. № 8. С. 11.

люди не вправе делать. За этим планом скрывается второй с другими чувствами: горем о страданиях людей, весенней мечтой о больной девушке, жалостью ко всем “бедным”, всем “кротким”. Обнажение того заднего плана [говорит Слонимский] вызывает внезапные перемены в поступках, движениях, словах, интонациях и чувствах».

Если мы теперь подведем итоги всему сказанному, то мы увидим, что то расщепление личности, то раздвоение, та двойственность, которая в жизни и произведениях Гофмана представляется чем-то исключительным, изолированным, принадлежащим если не ему только одному, то лишь некоторым кажущимся нам ненормальными людям, у Достоевского объясняется как что-то обыкновенное, общечеловеческое, присущее в сущности каждому из нас. (Недаром ведь и прокурор в конце «Братьев Карамазовых» обобщает явление.)

В каждом из нас, говоря словами Слонимского, как бы два различных плана, те два плана, о которых психоаналитическая школа Шимона Фрейда так много и подробно стала писать много лет спустя после смерти Достоевского. В одном плане проходят наши сознательные мысли, чувства и вызываемые ими действия, в другом, скрытом в нашем подсознательном, идет своя самостоятельная работа иных мыслей и чувств и вызываемых ими поступков. Обыкновенно эти два плана покрывают один другой, и мы замечаем в себе и других лишь один род мыслей и чувств, но иногда обнажается нижний план и выступают другого рода идеи и чувства. Наконец, в некоторых случаях как бы оба плана одновременно обнажаются, и мы чувствуем какое-то раздвоение, двойственность, одновременные двойные идеи, двойные чувства. Если такое одновременное вскрытие двух планов становится длительным, наступает, как говорит Достоевский в самом конце

своего «Подростка», «первая ступень нѣкотораго серьезнаго уже разстройства души, которое может повести къ <...> худому концу»¹⁷⁾, т. е. к сумасшествию.

Отталкиваясь, таким образом, от поразившего его в ранней молодости творчества Гофмана, Достоевский приходит к глубочайшему анализу человеческой души. В результате этого анализа он дает нам яркие образы нашей души во всей ее двойственности, обыкновенно нами не сознаваемой, и вот почему образы Достоевского кажутся нам болезненными, ненормальными, производят на нас порою тяжелое впечатление, а не потому, что Достоевский, как утверждал Михайловский, любил нас мучить.

Герои Достоевского на самом деле вовсе не какие-то исключительные, отличающиеся от всех других люди. Нет, это мы сами, но не такие, какими мы себя обыкновенно видим, сознаем и понимаем, а такие, какими мы являемся в глубочайшей нашей реальности, когда нам открыт не один лишь план нашей души, а оба, когда мы видим себя не такими, какими желали бы видеть себя (только хорошими), а такими, какие мы на самом деле есть, то есть и хорошими и дурными.

16-я лекция, 15 марта 1932 года

Переходя теперь к вопросу о знакомстве Достоевского с произведениями Бальзака и о влиянии последнего на Достоевского, я не могу не припомнить слов П. Бицilli в напечатанной им в журнале «Современные записки» за 1926 год (6-я книга, стр. 597) заметке о книге Гроссмана «Поэтика Достоевского».

Говоря о прочитанных Достоевским книгах, Бицilli пишет: «Но вот в чем вопрос. Авторы этих читали все тогда. Читали их и Пушкин, и Толстой. На Дос-

¹⁷⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 569.

тоевского, однако, они оказали совершенно *особое* [курсив Бицилли] влияние. Почему?». И Бицилли отвечает на свой вопрос сам словами: «Увлечение Достоевского <...> [этими книгами] объясняется тем, что эти <...> [книги] были для него *самой жизнью*» (курсив Бицилли). В отношении Бальзака мы могли бы видоизменить слова Бицилли таким образом: увлечение Достоевского Бальзаком объясняется тем, 1) что в характере обоих было некоторое сходство, 2) что обстоятельства их жизни отчасти похожи, 3) что они увлекались несколькими общими для них авторами и 4) что, главное, идеи их во многом сходились.

Так как я касаюсь здесь вопроса о влиянии Бальзака мимоходом, имея в виду лишь подчеркнуть те идеи Бальзака, которые занимали «светлого» Достоевского, то я не буду подробно доказывать своих же положений, но все же отмечу и в этой связи кое-что, сюда относящееся.

Для начала упомяну одно совершенно внешнее сходство между судьбою обоих писателей. Хотя Бальзак родился двадцатью двумя годами ранее Достоевского, то есть в 1799 году, и умер более чем тридцатью годами ранее, а именно в 1850 году, до сих пор напечатано еще далеко не все, что вышло из-под его пера, и в биографиях обоих писателей существуют большие пробелы, которые отчасти могут быть заполнены, но отчасти навсегда останутся открытыми¹⁾.

Оба считали себя происходящими из старинных дворянских родов, но Бальзак ошибался, так как его предками были не те Бальзаки, которые были дворянами, а ремесленники и небогатые крестьяне «Balssa»

¹⁾ Еще в 1910 году часть неизданных рукописей Бальзака хранилась у лучшего знатока жизни и библиографии Бальзака M. Spoelberch de Lovenjoul. См. об этом статью профессора Saintsbury: The Encyclopaedia Britannica. Eleventh edition. Cambridge, 1910. V. III. P. 298.

(«Balsa») или «Balsas»²⁾, а принадлежность Достоевского к записанному в польские дворянские книги роду Достоевских не вполне еще выяснена.

Наиболее близким интимным другом Достоевского был, как мы знаем, его старший брат Михаил, лучшим другом Бальзака была его старшая сестра Лаура³⁾, написавшая впоследствии его биографию. Письма обоих к этим наиболее близким друзьям—поверенным представляют одинаково важные источники для их биографии.

В отличие от Достоевского, Бальзак значительную часть своего раннего детства провел не дома. Первые четыре года своей жизни он был у мамки в деревне и семь лет (между седьмым и четырнадцатым годами) находился на полном пансионе, включая и все праздники, в коллегии в Вандоме⁴⁾. Ввиду этого Бальзак лишен был того чрезвычайно благоприятного влияния, какое имели на Достоевского детство, проведенное в доме религиозных и во многих отношениях необыкновенных родителей, и ранняя детская уже дружба.

Оба, согласно традиции и собственному их мнению, были монархисты и горячо преданы учению тех церквей, которым они принадлежали по крещению своему, но на самом деле политические и религиозные воззрения их были порою очень свободны. В жизни Достоевского был период, когда он прямо принадлежал противоправительственной партии петрашевцев, а его религиозные взгляды прежде всего основаны были на Евангелиях и далеко не всегда совпадали с воззрениями православной церкви, в то время как религиозные взгляды Бальзака в значительной степени окрашены были воззрениями Сведенборга.

²⁾ Ib.

³⁾ Ib.

⁴⁾ Ib.

Обоих родители их готовили к нелитературной деятельности. Отец Бальзака хотел, чтобы сын его стал юристом, Михаил Андреевич Достоевский отдал своего сына в Инженерное училище. Оба кончили курс учения в тех заведениях, куда отданы были своими отцами, и сделали также первые шаги на начатых ими поприщах: Бальзак — юриста, а Достоевский — военного инженера, но обоих слишком сильно влекло их настоящее призвание, и они рано оборвали чуждые им занятия.

Оба, подобно герою «Подростка» молодому Долгорукому и главному действующему лицу «Жития великого грешника», а также подобно многим героям романов Бальзака, мечтали о приобретении огромных богатств удачными предприятиями или благодаря игре случая.

Характерны, например, письма Достоевского к брату от 31 декабря 1843 года, января 1844 года и 14 февраля того же года, где Достоевский предлагает брату вместе с ним перевести роман Евгения Сю «Матильда». Об этом предприятии он говорит, что оно «выгодно донельзя», и надеется заработать на этом многие тысячи. Мечтания, из которых ничего не вышло. А сколько раз Достоевский играл на рулетке, мечтая этим путем выиграть сотни тысяч и на выигранные деньги заплатить все долги брата. Конечно, и из этих мечтаний ничего не вышло.

Бальзак, в свою очередь, отправился в 1838 году в Сардинию, чтобы добыть себе там огромные богатства выплавкой серебра из шлаков древних римских рудников, но его предупредили другие⁵⁾. В течение трех лет (1825–1828) он работал в качестве содержателя типографии и издателя, мечтая добыть себе бо-

⁵⁾ Ib. P. 300.

гатства дешевыми изданиями классиков, — предприятие, окончившееся для него лишь потерями⁶⁾.

Оба значительную часть своей жизни обременены были непосильным трудом, чтобы расплатиться с огромными долгами, причем Бальзак главный свой долг в 125.000 франков (около 250.000 наших марок) сделал во время неудачных издательских предприятий, а Достоевский принял на себя огромные долги своего брата в 600–800 тысяч наших марок. По сведениям одних биографов, Бальзаку никогда не удалось вполне развязаться со своими долгами⁷⁾, по сведениям других, он, подобно Достоевскому, расплатился с ними в последний год своей жизни⁸⁾.

Оба издавали журналы, содержание которых целиком писалось ими одними: Бальзак — «Revue parisienne» («Парижское обозрение»), Достоевский — «Дневник писателя».

Оба с большим увлечением читали произведения Гофмана⁹⁾, Вальтера Скотта¹⁰⁾ и Анны Ретклиф¹¹⁾, и следы этого чтения заметны в произведениях обоих.

Оба пытались писать драмы.

По воспоминаниям Ризенкамппа, 19-летний Достоевский еще во время своего пребывания в Главном инженерном училище читал брату, Ризенкамппу и другим отрывки из двух своих драматических опытов (навеянных, вероятно, чтением Шиллера, Пушкина и Карамзина) — «Марии Стюарт» и «Бориса Годунова». Ризенкампп рассказывает тоже, что Достоевский, бла-

⁶⁾ Ib. P. 298.

⁷⁾ Ib.

⁸⁾ См. статью Фриче о Бальзаке (Энциклопедический словарь / Бр. А. и И. Гранат. Т. IV. Стлб. 563).

⁹⁾ Гроссман прямо называет Гофмана учителем Бальзака (Русская мысль. 1914. Январь. II. С. 44–55).

¹⁰⁾ The Encyclopaedia Britannica. V. III. P. 298.

¹¹⁾ Ib.

годаря сильному впечатлению, произведенному на него немецкой трагической актрисой Лилли Лёве в роли Марии Стюарт, и дальше разрабатывал эту тему, тщательно принявшись за приговорительное историческое чтение. Куда девались эти драмы, нам неизвестно¹²⁾.

В письме, датированном второй половиной января 1844 года, Достоевский пишет брату: «Клянусь Олимпом и моим жидом Янкелем (оконченной драмой)»¹³⁾. О судьбе этой драмы нам тоже ничего не известно.

Других драматических произведений Достоевский, по-видимому, не писал, но мы можем зато сказать, что большинство его романов написаны так драматично, что в их драматических переделках иногда можно буквально перепечатывать целые главы.

Бальзак написал четыре произведения для театра, из которых одно («*Mercadet le faiseur*») в течение года после его смерти давалось в театре с некоторым успехом, тогда как остальные не удались ему¹⁴⁾.

В частной жизни обоих очень любили почти все, кто их знал.

Оба были много раз за границей. И если Достоевский был два раза во Франции, между прочим и в Париже, то Бальзак был два раза в России, между прочим в Петербурге.

Оба увлекались соотечественниками, но женились на иностранках или полуиностранках.

Достоевский одно время увлекался женой Панаева, на которой потом женился Некрасов, и дочерью русского крестьянина Полиной Сусловой, но обручен был с сестрой профессора математики в Стокгольме Софьи Ковалевской Анной Корвин-Круковской, литовского происхождения. Первая жена его была дочерью

¹²⁾ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 41 (первая пагинация).

¹³⁾ *Достоевский Ф. М. Письма*. Т. I. С. 69.

¹⁴⁾ *The Encyclopaedia Britannica*. V. III. P. 299.

француза Constant'a и русской (?), вторая была дочерью русского и шведки Мильтопеус из Финляндии.

Бальзак любил француженок де Берни (Berny) и маркизу де Кастри (Castries), а женился на польской графине по имени Эвелина Ганская, урожденная Ржевуская, родом из тогдашней русской Украины.

Бальзак встречался со своей будущей женой, между прочим, в Бадене, Женеве и Украине, и Достоевский жил со своей второй женой в том же Бадене (в 1867 г.), в той же Женеве (в 1867 и 1868 гг.) и в той же Украине (в 1877 г.).

А встречи Бальзака с Ханска в Париже, Швейцарии и Италии соответствуют встречам Достоевского с Суловой в Париже и поездкам с нею в Швейцарию и Италию.

Восемнадцатилетняя переписка Бальзака со своей будущей женой дает такой же обширный материал для биографии Бальзака, как шестнадцатилетняя переписка Достоевского с его второй женой.

Оба очень рано начали печатать свои произведения, но в то время как уже первое самостоятельное произведение 23-летнего Достоевского было вполне зрелым трудом и сразу завоевало ему место среди лучших писателей своего времени, первые произведения, которые Бальзак печатал под разными псевдонимами, так незрелы, что он сам называл их потом «Litteraire cochonnerie» (литературное свинство), и лишь труд, изданный Бальзаком в 30-летнем возрасте, «Le dernier chouan» («Последний шуан») достоин имени Бальзака и заслужил полный успех.

Бальзак спал обыкновенно лишь четыре часа от восьми часов вечера до полуночи и работал потом всю ночь, иногда 16–18 часов, не вставая со стула. Своего «Сельского врача» («Le medecin de cambragne») он, как утверждают его биографы, написал в трое суток, а свою «Историю величия и падения Цезаря Биротто»

(«Histoire de la grandeur et de la décadence de Cészar Birotteau») в двадцать пять суток, совершенно не ложась спать¹⁵⁾.

Достоевский тоже начинал писать обыкновенно в полночь и работал до 6–8 часов утра, когда ложился часов на пять, чтобы затем продолжать свои занятия днем.

Родившись в том году, когда началось величие Наполеона, Бальзак в течение всего своего детства постоянно слышал о победоносном шествии наполеоновских армий во все страны Европы, и постоянно до него доходили рассказы об успехах великого корсиканца и о присоединении к Франции одной страны за другой или непосредственно, или под главенством одного из родственников императора.

В своей книге о Бальзаке австрийский писатель Стефан Цвейг говорит, что у молодого Бальзака явилось желание на бумаге, в мире фантазии, повторить завоевания Наполеона¹⁶⁾. Как Наполеон, Бальзак начинает с завоевания Парижа, потом следуют одна провинция Франции за другой, затем он перебрасывает свои победоносные литературные войска из одной страны Европы в другую: и в фиорды холодной Норвегии, и в опаленные солнцем песчаные равнины Испании, и под пышущее огнем небо Египта, и на обледеневший мост через Березину в России.

Из бедных крестьянских лачуг он заходит в дворцы Сент-Жермэна и в пышные покои Наполеона, он дышит с солдатами в палатках лагеря в Бретани, участвует с коммерсантами в биржевой игре, заглядывает за кулисы театров, знакомится с трудом ученого.

¹⁵⁾ *Фриче В.* Бальзак // Энциклопедический словарь / Бр. А. и И. Гранат. Т. IV. Стлб. 563.

¹⁶⁾ *Zweig, Stefan.* Drei Meister. Balzac. Dickens. Dostojewski. Leipzig, 1922. P. 18–19.

Его литературная армия достигает цифры в две-три тысячи лиц. Подобно Наполеону, он одаряет их чинами, орденами и богатствами и, подобно же Наполеону, берет иногда обратно подаренное.

В 85 томах своей «Человеческой комедии» он завоевывает весь мир, точнее говоря, тот мир капиталистической Франции, который Наполеон завоевал на самом деле.

Подобно тому как незначительный артиллерийский поручик стал ровней королей и императоров современной ему Европы, герои Бальзака мечтают завоевать себе власть, могущество и богатство, и Бальзак показывает в своих романах, что у каждого из его героев есть свой Рубикон, свое Ватерлоо и что в дворцах, кабаках и лачугах могут происходить такие же сражения, как на полях битв Наполеона.

Подобно Наполеону, герои Бальзака мечтают о блестящей будущности, подобно ему, большинство этих героев охвачены одною какою-нибудь сильною страстью, под влиянием которой они потом почти автоматически действуют. Ни одну из этих страстей он не ставит выше или ниже, ни одной не отдает особого предпочтения¹⁷⁾.

Если сравнить Достоевского с Бальзаком в только упомянутых отношениях, мы заметим и сходства, и различия.

Раскольников в «Преступлении и наказании», молодой Долгорукий в «Подростке» и молодой герой «Жития великого грешника» также мечтают о могуществе.

Вот несколько характерных набросков из плана романа «Житие великого грешника»:

«Зарождающиеся сильные страсти.

Усиление воли и внутренней силы.

Гордость безмерная <...>

¹⁷⁾ Ib. P. 22-42.

Чтоб все поклонились <...>

Сила воли <...>

<...> огромный замысел владычества.

<...> мечты о власти и непомерной высоте над всем.

<...> ненасытимость замысла <...> инстинктивное сознание превосходства, власти и силы.

Опасная и чрезвычайная мысль, что он будущий человек необыкновенный, охватила <...> [его] еще с детства. Он непрерывно думает об этом. Ум, хитрость, образование — все это он хочет приобрести как будущие средства к необыкновенности.

Он уверен, что он будет величайшим из людей. Он так и ведет себя: он гордейший из всех гордецов <...> Безумная гордость»¹⁸⁾.

Но если герои Достоевского, подобно героям Бальзака, мечтают о владычестве, силе и власти, то ищут они их и находят далеко не в одних лишь деньгах и чисто внешней власти. В то же время они слишком сложны, чтобы быть одержимыми лишь одной сильной страстью, как герои Бальзака.

Герой «Жития великого грешника», Ставрогин в «Бесах» и старец Зосима в «Братьях Карамазовых» сильно отличаются в этом отношении от героев Бальзака. Возьмем хотя бы следующие наброски из того же «Жития великого грешника»:

«Проза жизни и страстная вера, непрерывно ее побеждающая».

«Жертвы жизнью».

«Или рабство или владычество»¹⁹⁾.

«Самоотвержение»²⁰⁾.

«Согласен с Евангелием»²¹⁾.

¹⁸⁾ Документы по истории литературы и общественности. Вып. 1. Ф. М. Достоевский. С. 63–77.

¹⁹⁾ *Иб.* С. 63.

²⁰⁾ *Иб.* С. 64.

²¹⁾ *Иб.* С. 70.

«<...> сомнение: одна ли власть всего стоит и нельзя ли быть рабом всех сильнее»²²⁾.

«О смирении (как могуче смирение)».

«<...> (<...> *главное*) через Тихона овладел мыслью (убеждением): что, чтоб победить весь мир, надо победить только себя. Победи себя и победишь мир»²³⁾.

«Самоотвержение <...> Жажда смирения».

«Падание и восставание».

От гордости и от безмерной надменности <...> он становится до всех кроток и милостив — именно потому, что уже безмерно выше всех».

«Кончает воспитательным домом у себя и Гасом становится. Все яснее»²⁴⁾.

Как мы видим из приведенных выписок, у Достоевского, на первый взгляд, совершенно так же, как у Бальзака, сильная страсть играет огромную роль. «Житие великого грешника» так и начинается словами «накопление богатства» — «зарождающиеся сильные страсти». Страсть эта, ввиду прирожденной безмерной гордости, сводится к огромному замыслу владычества, к мечтам о власти, о том, чтобы все ему поклонились, он хочет употребить весь свой ум, всю свою хитрость и образование, чтобы достигнуть этого.

Но он человек не об одной идее, не об одном плане, как герои Бальзака, он человек о двух идеях и планах. Наряду со страстью владычества у него уже в самом начале — страстная вера, постоянно ее побеждающая. Уже рано он «согласен с Евангелием», уже рано мечтает о смирении. Все еще мечтая стать всех сильнее, он начинает уже сомневаться, стоит ли для этого добиваться власти или нельзя ли стать всех сильнее, будучи рабом, то есть в высшей степени смиренным. Пребывание в монастыре убеждает его,

²²⁾ Ib. С. 74.

²³⁾ Ib. С. 76.

²⁴⁾ Ib. С. 77.

что смиренный, самоотверженный Тихон в сущности сильнее, могучее всех именно своим смирением и тем, что победил самого себя, свои эгоистические страсти. И вот он, начав гордостью и безмерной надменностью, становится сам, как Тихон, кротким и милостивым.

Для него все яснее, он весь отдается делу любви, сперва открывает у себя воспитательный дом, т. е., вроде англичанина Барнардо, спасает беспризорных, беззащитных детей и воспитывает из них хороших полезных людей, а потом, как говорит Достоевский, становится Гаазом, т. е. тем, кем у нас в Финляндии была Матильда Вреде, человеком, посещающим тюрьмы, заступающим за преступников, помогающим им, отдающим им все свое время, все свои силы.

Вот эта-то сложность натуры героев Достоевского, их двойной план, господствующая у них над всем остальным евангельская идея самоотверженной любви и милосердия глубже всего отличает Достоевского от сравнительно мало религиозного Бальзака.

Пойдем однако дальше. Если религия и связанная с ней христианская мораль всегда играли у Достоевского главную роль, то это не значит еще, что они совершенно отсутствовали у Бальзака. Рисуя самые разнообразные классы населения, Бальзак затрагивает и много таких представителей общества, которых больше других касается Достоевский.

И у Бальзака, как у Достоевского, вы найдете описание отрицательных сторон жизни больших городов, те подвалы, в которых, говоря словами Гроссмана (в «Русской мысли» за 1914 г., II, стр. 44–55), находишь все кошмары нищеты, позора, унижения и тупой покорности, и на таких страницах Бальзак, подобно Достоевскому, пламенно защищает и полон сострадания к «униженным и оскорбленным», например, к «бедным родственникам» («*Les parents pauvres*»), к проклинаемому окружающими ребенку («*L'enfant maudit*») и

к покинутым, брошенным женщинам («La femme abandonnée»), как называются относящиеся сюда три романа Бальзака.

И Достоевский и Бальзак являются неутомимыми богоискателями, хотя это не мешает им порой, подобно Вольтеру в его «Candide», «Histoire de Jenny» («История Женни»), «Poème sur le désastre de Lisbonne» («Поэма о разрушении Лиссабона» от землетрясения и наводнения) и «Homélie sur l'athéisme» («Проповедь об атеизме»), высказывать (Иван Карамазов в пятой книге «Братьев Карамазовых») самые сильные протесты против Бога и созданного им мира.

Оба до некоторой степени максималисты и смотрят на мир и человеческую душу как бы в увеличительное стекло, придающее подчас едва заметным душевным переживаниям и чувствам такую ясность и отчетливость, что счастье их героев иногда переходит в блаженство, как у кн. Мышкина перед припадком падучей²⁵⁾, их страдание переходит в безнадежность, их вера в откровение, как у Алеши Карамазова в главе о «Кане Галилейской»²⁶⁾, их бред в сумасшествие, как в разговоре Ивана Карамазова с дьяволом²⁷⁾. Поэтому часть читателей Бальзака, как и Достоевского, жалуются порою, что их произведения тяжело читать.

Оба обращаются к музыке, когда слова слишком бедны для передачи чувств²⁸⁾. Они сами говорят об этом. Вспомним, например, высказывание Louis Lambert'a о том, что надо прибегать к музыке, когда не-

²⁵⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. VI. С. 241.

²⁶⁾ Ib. Т. XII. С. 426–431.

²⁷⁾ Ib. С. 751–771.

²⁸⁾ См., напр., музыкальные фантазии в «Неточке Незвановой», «Марсельезу» Лямшина в «Бесах», песню Вельчанинова в «Вечном муже» или фантазию из «Фауста», описанную Тришатовым в «Подростке» (Ib. Т. II. С. 111; Т. VII. С. 311; Т. IV. С. 466, 467; Т. VIII. С. 449, 450).

достаёт новых слов для новых мыслей («à des idées nouvelles des mots non veaux»), и замечание Достоевского в третьей части «Идиота»: «Недоставало словъ, которыя могли-бы выразить ужась»²⁹⁾.

Но необходимо в этой связи указать и на большие отличия Бальзака от Достоевского. Об одном мы уже говорили — а именно о доминирующем влиянии религии, в особенности евангельского учения у Достоевского.

Оба редко описывают жизнь крестьянина, но когда они делают это, то Бальзак, вообще говоря, ставит французского мужика сравнительно низко, тогда как Достоевский, подобно Толстому и Лескову, ставит его очень высоко, и Достоевский от народной религии ожидает спасения не только России, но и всего мира.

Тогда как Бальзак, по уверению Цвейга, главным образом видит в каждом человеке животную сторону его, ту страсть, которая нередко целиком им владеет, Достоевский в лучших людях показывает наряду с бездною добра и бездну зла и в *худших* подчеркивает проблески высоких, неземных чувств.

В то время как Бальзак в своих произведениях главным образом стремится изобразить общество во всем его многообразии, Достоевский желает вывести «всечеловека», идеального человека, черты которого мы видим у епископа Мюризэля и Жана Вальжана в «Отверженных» («Les misérables») Виктора Гюго, в «Дон Кихоте» Сервантеса и в «Ингмарсонах» Сельмы Лагерлев, и знакомит нас с такими людьми, как доктор Гинденбург³⁰⁾ и «старый генерал», то есть доктор Гааз в действительной жизни, князь Мышкин, старец Зосима и Алеша Карамазов, прообразом которых является Иисус Христос.

²⁹⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. VI. С. 376.

³⁰⁾ Иб. Т. X. С. 102–108.

17-я лекция, 22 марта 1932 года

Прошлый раз мы ознакомились в кратких чертах с личностью и характером Бальзака и с тем, что сближало его с Достоевским и отличало его от последнего. Теперь нам остается также вкратце познакомиться с тем, насколько произведения Бальзака отразились на произведениях Достоевского.

Как вы помните, старшие братья Достоевские Михаил и Федор имели в своем полном распоряжении книжки журнала «Библиотека для чтения», и всякий из вас наверно помнит, как вы детьми читали и перечитывали по многу раз те книги, которые попадались в ваши руки в детстве. Гроссман поэтому, вероятно, прав, говоря¹⁾, что тринадцати-четырнадцатилетний мальчик Достоевский читал роман Бальзака «Отец Горио», печатавшийся как раз в книжках «Библиотеки для чтения» в 1835 году. Мы можем легко себе представить, с каким увлечением подросток поглощал, не пропуская ни одной строчки и, может быть, перечитывая по несколько раз, наиболее интересные места этого романа Бальзака.

Другие произведения Бальзака также нашли отражение в творчестве Достоевского. Несомненно, существует реальная связь между «Неточкой Незвановой» Достоевского и «Гамбарой» Бальзака (особенно в части сюжета о музыканте), между «Хозяйкой» и «Проклятым сыном» («L'enfant maudit»), между «Братьями Карамазовыми» и «Подростком» Достоевского, с одной стороны, и целым рядом сцен в «Деревенском священнике» Бальзака (ср. рассуждения о семье и судебном производстве), между «Преступлением и наказанием» Достоевского (особенно глава IV третьей части и глава V шестой части) и «Феррагюсом» Бальзака (сцена

¹⁾ Гроссман Леонид. Творчество Достоевского. С. 61.

подслушивания, расположение комнат, вся обстановка вдовы Грюжа, напоминающая, по Бальзаку, «настоящий парижский кафернаум», и комната Сони Мармеладовой у портного Капернаумова²⁾). Весьма убедительна параллель, устанавливаемая Гроссманом, между «Евгенией Гранде» Бальзака и «Прохарчиным» Достоевского, между описанием дома Рогожина в «Идиоте» и первой страницей «Евгении Гранде», между 1) «Неточкой Незвановой», 2) героиней «Маленького героя», 3) «Кроткой» и 4) образом матери «Подростка» Достоевского, с одной стороны, и той же «Евгенией Гранде» Бальзака, с другой.

Но более всего сходства Гроссман подметил между Раскольниковым «Преступления и наказания» и героем «Отца Горио» Растиньяком. Здесь я отсылаю вас к работе Леонида Гроссмана «Творчество Достоевского», где автор подробно останавливается на всех этих параллелях. Не могу, однако, не задержаться на одной из них.

Параллель эта как раз касается романа Бальзака «Отец Горио» («Père Goriot»), который Достоевский прочел еще мальчиком, который сильно отразился на «Преступлении и наказании» в 1865 и 1866 годах³⁾ и который Федор Михайлович в 1867 году в первую главу рекомендует своей молодой жене для чтения⁴⁾.

В этом романе молодой Растиньяк спрашивает своего друга Бианшона, студента, как и он:

— Читал ли ты Руссо?

— Читал.

— Помнишь ли то место, где он спрашивает своего читателя, что бы он сделал в случае, если б мог обогатиться, убив в Китае старого мандарина одной только своей волей, не двигаясь из Парижа?

²⁾ Достоевский Ф. М. Письма. Т. I. С. 466.

³⁾ Гроссман Леонид. Творчество Достоевского. С. 85–102.

⁴⁾ Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 113.

— Помню.

— Ну, так как же? <...> [и на шутливый ответ Бианшона продолжает:]

— Оставь шутки. Послушай, если б тебе было доказано, что это возможно и что тебе достаточно для этого кивнуть головой, сделал ли бы ты это?

— Очень ли стар твой мандарин? Но, впрочем... Стар [ли] он или молод, парализован или здоров, право же... [Нет,] к черту! [нет, не убил бы]⁵⁾.

И вот незадолго до смерти в своей Пушкинской речи, произнесенной им 8 июня 1880 года, Достоевский разбирает «Евгения Онегина» и останавливается подробно на вопросе, почему Татьяна, все еще любившая Евгения, не согласилась для него оставить своего старого мужа князя Грешина, ответив Онегину, что она другому отдана и будет век ему верна. По этому поводу Достоевский говорит: «Пусть она вышла за него с отчаяния, но теперь он ее муж, и измена ее покроет его позором, стыдом и убьет его» (или во всяком случае составит его несчастье). И Достоевский восклицает: «А разве может человек основать свое счастье на несчастье другого? Счастье [человека] не в одних только [плотских] наслаждениях любви, а и в высшей гармонии духа. Чем успокоить дух, если назади стоит нечестный, безжалостный, бесчеловечный поступок? Ей бежать из-за того только, что тут мое счастье? Но какое же может быть счастье, если оно основано на чужом несчастье? Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале [в конце концов] осчастливить людей, дать им наконец мир и покой <...> [но] для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только лишь одно человеческое существо, <...> [и, представьте себе] даже <...> не Шекспира какого-нибудь,

⁵⁾ Цитовано в кн.: Гроссман Леонид. Творчество Достоевского. С. 91.

а просто честного старика, мужа молодой жены, в любовь которой он верит слепо, хотя сердца ее не знает вовсе, уважает ее, гордится ею, счастлив ею и покоен. И вот только его надо опозорить, обесчестить и замучить и на слезах <...> [его, на мучениях его], возвести ваше здание! Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос. И можете ли вы допустить хоть на минуту идею, что люди, для которых вы строили это здание, согласились бы сами принять от вас такое счастье, если в фундаменте его заложено страдание, положим, хоть и ничтожного существа, но безжалостно и несправедливо замученного, и, приняв это счастье, остаться навеки счастливыми?»

Поставив этот вопрос, Достоевский в первоначальной редакции своей речи приводит упомянутый выше отрывок из «Отца Горио», который он потом в окончательной редакции выпустил: «У Бальзака в одном его романе один молодой человек, в тоске перед нравственной задачей, которую не в силах еще разрешить, обращается с вопросом к любимому другу, своему товарищу, студенту, и спрашивает его: послушай, представь себе, вот ты нищий, у тебя ни гроша, и вдруг где-то там, в Китае, есть дряхлый, больной мандарин, и тебе стоит только здесь, в Париже, не сходя с места, сказать про себя: умри, мандарин, и он умер, но за смерть мандарина тебе какой-то волшебник <...> пришлет сейчас миллион, и <...> никто этого не узнает, и главное он где-то в Китае, он, мандарин, все равно что на Луне или на Сириусе — ну что, захотел бы ты сказать: “Умри мандарин”, чтоб сейчас же получить эт<от> миллион? Студент ему отвечает: <...> [А что, он очень старый, твой мандарин? Впрочем, нет, безразлично, стар он или молод, болен или здоров, я все же не сказал бы: “умри”]. Вот решение французского студента».

И Достоевский продолжает: «Скажите, могла ли решить иначе Татьяна, с ее высокой душой, с ее сердцем, столько пострадавшим? Нет; чистая русская душа решает вот как: "Пусть, пусть я одна лишусь счастья, пусть мое несчастье безмерно сильнее, чем несчастье этого старика, пусть, наконец, никто и никогда и этот старик тоже, не узнают моей жертвы и не оценят ее, но не хочу быть счастливою, загубив другого!"»⁶⁾

Я так подробно остановился на этой параллели, потому что здесь перед нами одна из главнейших мыслей Достоевского и именно Достоевского светлого, жизнерадостного.

Для нас неважно, заимствовал ли Достоевский формулировку этой мысли у Бальзака, читал ли он также Руссо, у которого Бальзак взял такую постановку вопроса, нашел ли он подтверждение той же мысли у Канта в его «Критике чистого разума», где она формулирована так: «Всякий человек может требовать уважения к себе и точно так же должен уважать ближнего.

Ни один человек не может быть ни орудием, ни целью. В этом состоит его достоинство»⁷⁾.

Всего вероятнее, что он ознакомился с этой мыслью у Бальзака. Она поразила Достоевского так сильно и он запомнил ее на всю свою жизнь потому, что мысль эта представляет как бы квинтэссенцию, самую внутреннюю сущность евангельского учения, которое всегда было ему близко и дорого.

Важно для нас, главным образом, то, что указанная идея проходит красной нитью через всю деятельность Достоевского и окрашивает все его отношения к лю-

⁶⁾ Достоевский: Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Л., 1924. Вып. II. С. 519–521.

⁷⁾ Круг чтения. Избранные, собранные и расположенные на каждый день Львом Толстым мысли многих писателей об истине, жизни и поведении. М., 1906. Т. I. С. 411.

дям вообще. На несчастье другого, каким бы отвратительным, презренным и ничтожным он ни был, нельзя основать своего собственного счастья. Это главная мысль «Преступления и наказания», где она выражена Соней Мармеладовой, но составляет подоплеку всего романа. Та же мысль проходит через все отношения князя Мышкина к Настасье Филипповне («Идиот»).

То же самое является заключением «Бесов», и то же с необыкновенною силою выражено в разговоре Ивана и Алеши в пятой книге «Братьев Карамазовых», причем теми же словами, какими сам Достоевский в Пушкинской речи спрашивал слушающую его огромную аудиторию.

То, что Бальзаку приходила на ум та же мысль, показывает нам, как конгениальны были французский и русский писатели. Но тут же выявляется и огромное различие их. У француза мысль эта выражена между прочим, в одном из его романов. У Достоевского это одна из самых основных и главных мыслей всего его мировоззрения. Француз мельком скользит по этой мысли — Достоевский на ней сосредотачивается в течение всей его жизни. У Бальзака это, может быть, явилось результатом беглого прочтения Ж. Ж. Руссо, у Достоевского — главным выводом столь дорогого ему евангельского учения!

Свою нынешнюю лекцию мне следовало бы посвящать Гете, память 100-летней годовщины которого чувствуется сегодня всем человечеством (подобно тому как я в свое время посвятил одну из своих лекций Ибсену), но настолько одолеть Гете, чтобы сообщить о нем что-либо новое, потребовало бы труда многих лет, и для меня, конечно, совершенно невозможно. Мне придется поэтому лишь в связи со знакомством молодого Достоевского с произведениями Гете сказать несколько слов о том, как относился Достоевский к своему великому предшественнику.

В цитированном мною ранее письме к старшему брату Михаилу от 9 августа 1838 года Достоевский мимоходом называет, перечисляя читанные им книги, «Фауст Гете и его мелкие стихотворения»⁸⁾.

Точно так же мимоходом в самом конце своей деятельности в письме к Николаю Лукичу Озмидову (от 18 августа 1880 г.) Достоевский, рекомендуя книги для чтения дочери Озмидова, замечает: «Лев Толстой должен быть весь прочтен. Шекспир, Шиллер, Гете — все есть и в русских, очень хороших переводах»⁹⁾.

А в середине своей жизни в заметке о Шиллере в февральской книжке журнала «Время» за 1861 год Достоевский прямо говорит: «Мы должны особенно ценить Шиллера, потому что ему было дано не только быть великим всемирным поэтом, но, сверх того, быть нашим [русским] поэтом. Поэзия Шиллера доступнее сердцу, чем поэзия Гете и Байрона».

В то время, как он в своих юношеских письмах подолгу останавливается на Шиллере, Бальзаке, Викторе Гюго, Корнеле, Расине и даже Полевом, он как бы забывает Гете. В дальнейшем он восторженно пишет о Жорж Занд и горячо рекомендует брату переводить «Дон Карлоса» и другие произведения Шиллера. Он даже говорит подробно о переводе «Матильды» Эжена Сю, а об Гете ни полслова. И характерно, что Михаил Достоевский под влиянием брата переводит «Дон Карлоса» Шиллера и другие характерные для Шиллера сочинения, а из Гете лишь такое совершенно непоказательное для этого автора произведение, как «Рейнеке-Лис».

Долинин в своих комментариях к письмам Достоевского утверждает даже, что Гете «один из немногих мировых гениев, которые оказались наиболее чуждыми

⁸⁾ Достоевский Ф. М. Письма. Т. I. С. 47.

⁹⁾ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 120 (третья пагинация).

вечно тревожному духу Достоевского», и прибавляет, что если Достоевский и упоминает в своих произведениях имя Гете, то это упоминание «как бы дань общепризнанному великому писателю и только»¹⁰⁾.

Как бы в объяснение причин тому, что Гете остается чуждым Достоевскому, Долинин называет Гете «олимпийцем».

Этим исследователь, видимо, хочет сказать, что максималист Достоевский, который, по собственным словам в письме его к Майкову из Женевы от 16/28 августа 1867 г., со своей «страстною натурою» «везде-то и во всем <...> до последнего предела дохо[дил], всю жизнь за черту переходил», не мог не быть чуждым в высшей степени уравновешенному тайному советнику и министру, с высоты своего олимпийского величия трезво, умеренно и осторожно обо всем судившему.

До некоторой степени Долинин прав. В своих при жизни напечатанных произведениях Гете нередко (хотя и не всегда) действительно был таким олимпийцем.

Но Достоевский был слишком глубокий психолог и сердцевед, чтобы не понимать, что «*Der zugeknüpfte Gehumerat*», то есть «на все пуговицы застегнутый тайный советник», на самом деле, несмотря на все свое видимое внешнее олимпийское спокойствие, был, как это и подтвердилось после издания его дневников и многих из его писем, человек с горячо бьющимся сердцем, радовавшийся и горевавший не менее сильно, чем все другие люди, волновавшийся их волнениями, тревожившийся их тревогою, хотя и глубоко скрывавший эти свои чувства от нескромных глаз посторонних.

Не мог Достоевский также не признавать благородство человека, написавшего в 33-летнем возрасте хотя бы такие слова в своем стихотворении «*Das Göttliche*» («Божественное»):

¹⁰⁾ *Достоевский Ф. М.* Письма. Т. I. С. 466.

Edel sei der Mensch,
Hilfreich und gut!
Denn das allein
Unterscheidet ihn
Von allen Wesen
Die wir kennen.

Благороден будь, человек,
Скор на помощь и добр!
Ибо лишь это
Его отличает
От всех существ,
Ведомых нам.

Хвала существам,
Неведомым, высшим,
Провидимым нами!
Да учит пример его
Веровать в них!

Ибо природа
Чувств лишена:
Солнце сияет
Над злом и добром,
И светят преступным
Так же, как лучшим,
Месяц и звезды.

Ветер, потоки,
И гром, и град
В шумном стремленье
Пронесются мимо
И увлекают
Одного за другим.

Так же и счастье
Бродит в толпе,
То мальчика тронет
Невинные кудри,
То тяжко-виновного
Голое темя.

По вечным, великим,
Нерушимым законам
Обязаны все мы
Свершать бытия
Нашего круг.

Лишь человек
Творит невозможное;
Он различает,
Выбирает и судит;
Он может мгновенье
По воле продлить.

Ему лишь дано
Добро награждать,
Наказывать зло,
Исцелять и спасать
И все заблужденья
На путь направлять.

И мы чтим бессмертных,
Как если бы были
Они людьми
И творили в великом,
Что лучший из нас
В малом творит.

Будь благороден
И добр, человек!
Твори неустанно
Справедливость и благо,
Прообразом будь
Провидимых нами существ!
(Перевод В. Булич)

Не мог Достоевский также не остановиться в раздумье перед величием Фауста, который в конце второй части приходит к выводу, что человеку следует посвящать свои дни на то, чтобы спасти погибающих, помогать бедствующим, строить плотины для сдержи-

вания морских волн и доставлять этим многим тысячам людей возможность в безопасности обрабатывать свой участок земли.

Долинин поэтому не вполне прав, и мы находим в произведениях Достоевского страницы, доказывающие интерес Достоевского к произведениям Гете и к его мыслям.

Достоевский не только цитирует в своей повести «Кроткая»¹¹⁾ слова, которыми Мефистофель рекомендуетсѣ Фаусту: «Я — я есмь часть той части цѣлаго, которая хочетъ дѣлать зло, а творить добро», но он, по-видимому, много и долго задумывался над идеями первой части «Фауста», и в его «Подростке» симпатичный юноша Тришатов такими словами, показывающими, кстѣти, и глубокое понимание Достоевским музыки, характеризуетъ эти идеи: «Послушайте, любите вы музыку? я ужасно люблю. Я вамъ сыграю что нибудь, когда къ вамъ приду. Я очень хорошо играю на фортепьяно и очень долго учился. Я серьезно учился. Еслибъ я сочинялъ оперу, то знаете, я бы взялъ сюжетъ изъ Фауста. Я очень люблю эту тѣму. Я все создаю сцену въ соборѣ, такъ въ головѣ только воображаю. Готическій соборъ, внутренность, хоры, гимны, входитъ Гретхень, и знаете — хоры средневѣковые, чтобъ такъ и слышался пятнадцатый вѣкъ. Гретхень въ тоскѣ, сначала речитативъ, тихій, но ужасный, мучительный, а хоры гремятъ мрачно, строго, безучастно

Dies irae, dies illa

[Этот гимн о страшном суде, сочиненный францисканцем Фомою Челано и полный описаний ужасов “дня гнева”]. И вдругъ — голосъ дьявола, пѣсня дьявола. Онъ невидимъ, одна лишь пѣсня, рядомъ съ гимнами, вмѣстѣ съ гимнами, почти совпадаетъ съ ними, а меж-

¹¹⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. X. С. 376.

ду тѣмъ, совсѣмъ другое — какъ-нибудь такъ это сдѣлать. Пѣсня длинная, неустанная, это — теноръ, непремѣнно теноръ. Начинаетъ тихо, нѣжно: «Помнишь, Гретхенъ, какъ ты, еще невинная, еще ребенкомъ, приходила съ твоей мамой въ этотъ соборъ и лепетала молитвы по старой книгѣ?» Но пѣсня все сильнѣе, все страстнѣе, стремительнѣе; ноты выше: въ нихъ слезы, тоска, безустанная, безвыходная и, наконецъ, отчаяніе: «Нѣтъ прощенія, Гретхенъ, нѣтъ здѣсь тебѣ прощенія!» Гретхенъ хочетъ молиться, но изъ груди ея рвутся лишь крики — знаете, когда судорога отъ слезъ въ груди — а пѣсня сатаны все не умолкаетъ, все глубже вонзается въ душу, какъ остріе, все выше — и вдругъ обрывается почти крикомъ: «Конецъ всему, проклята!» Гретхенъ падаетъ на колѣна, сжимаетъ передъ собой руки — и вотъ тутъ ея молитва, что-нибудь очень краткое, полуречитативъ, но наивное, безо-всякой отдѣлки, что-нибудь въ высшей степени средневѣковое, четыре стиха, всего только четыре стиха — у Страделлы есть нѣсколько такихъ нотъ — и съ послѣдней нотой обморокъ! Смятеніе. Ее поднимаютъ, несутъ — и тутъ вдругъ громовый хоръ. Это — какъ бы ударъ голосовъ, хоръ вдохновенный, побѣдоносный, подавляющій, что-нибудь, въ родѣ нашего Дори-но-си-ма чин-ми — такъ, чтобъ все потряслось на основаніяхъ, и все переходитъ въ восторженный, ликующій всеобщій возгласъ: Hossanna! — Какъ-бы крикъ всей вселенной, а ее несутъ-несутъ, и вотъ тутъ опустить занавѣсъ!»¹²⁾

Но Достоевский не только говорит о произведении Гете, он характеризует и самого Гете. В 1876 году, в январской книжке своего «Дневника писателя», Достоевский, говоря о самоубийцах и подчеркивая мысль о том, что самоубийца слишком легко забывает, «что

¹²⁾ Иб. Т. VIII. С. 449–450.

онъ называется я [курсив Достоевского] и есть существо безсмертное», продолжает: «Самоубійца Вертеръ, кончая съ жизнью, въ послѣднихъ строкахъ, имъ оставленныхъ, жалѣеть, что не увидитъ болѣе “прекраснаго [наиболее любимого им, *den liebsten*] созвѣздія Большой Медвѣдицы”, и прощается съ нимъ». И Достоевский восклицает: «О, какъ сказался въ этой черточкѣ только что начинавшійся тогда [25-летний] Гете! Чѣмъ же такъ дороги были молодому Вертеру эти созвѣздія? Тѣмъ, что онъ сознавалъ, каждый разъ, созерцая ихъ, что онъ вовсе не атомъ и не ничто передъ ними, что вся эта бездна таинственныхъ чудесъ Божіихъ вовсе не выше его мысли, не выше его сознанія, не выше идеала красоты, заключеннаго въ душѣ его, а, стало быть, [эта бездна таинственныхъ чудесъ Божіихъ] равна ему и роднитъ его съ безконечностью бытія <...> и что за все счастье чувствовать эту великую мысль, открывающую ему: кто онъ? — онъ обязанъ лишь *своему лику человѣческому*» (курсив Достоевского).

И Достоевский заканчивает словами: «“Великій Духъ, благодарю Тебя за ликъ человѣческой, Тобою данный мнѣ”».

Вотъ какова должна была быть молитва великаго Гете во всю жизнь его»¹³⁾.

Из этих слов мы видим, как высоко Достоевский ставит Гете.

И все-таки у нас возникает вопрос: если Достоевский ценил Гете высоко, если он называл его с полным убеждением великим, то почему же мы совсем не можем указать на параллели между произведениями Гете и Достоевского? Почему у них так мало конгениального? Почему Достоевский не пользуется словами Гете, как он пользуется словами Виктора Гюго

¹³⁾ Иб. Т. X. С. 4.

и Бальзака для выражения самых дорогих, самых глубоких своих мыслей?

Правда, некоторые критики проводили параллели между «Фаустом» Гете и «Братьями Карамазовыми» Достоевского. Но такая параллель на самом деле сводится лишь к тому, что Достоевский в «Братьях Карамазовых», как Гете в «Фаусте», в этих центральных своих произведениях, «решают», как говорит о том Долинин¹⁴⁾, «мировые проблемы человеческого бытия». Но решают они их совершенно различно, каждый по-своему.

И в то же время перед нами встает и другой вопрос. Почему немцы, когда их иллюзии после мировой войны рухнули, когда им на развалинах прежнего мирозерцания пришлось созидать новое здание, почему они тогда сами не обратились вновь к Гете, не воскресили его идеалов и не прибегли к данным им решениям мировых проблем, почему немцы вместо того обратились к столь чуждому, казалось бы, им русскому писателю, почему в Германии теперь не культ Гете, как хотелось бы того многим немецким идеологам, а культ того же Достоевского??

Достоевский сам дает нам ответ на эти вопросы словами той молитвы, которую он влагает в уста великого Гете: «Великий Дух, благодарю Тебя за лик человеческий, Тобою данный мне». Для Гете Бог — «Великий Дух» — Бог великого Разума, великой Истины, великого Прекрасного, великого Добра.

Для Достоевского Бог Отец наш, Бог Брат наш, Бог Святой Дух, он Бог и Разума, и Истины, и Прекрасного, и Добра, как для Гете, но, кроме того и прежде всего, и главнее всего, Бог Любви, Жалости, Сострадания ко всем нам, слабым, павшим, страдающим и болеющим всеми человеческими язвами детям Своим.

¹⁴⁾ Достоевский Ф. М. Письма. Т. I. С. 466.

Гете сам в некотором смысле олимпиец, с высоты своего олимпийского величия вззирающий на нас, слабых созданий, и Бог его такой же Олимпийский Великий Дух.

Достоевский прежде всего человек, человек страстный, ошибающийся, сознающий свои ошибки и раскаивающийся в них, и его Бог — это любящий Отец Иисуса Христа, умершего за нас на кресте, но перед тем любившего нас Божественной Любовью, прощавшего нас и жалевшего нас.

Достоевский и его Бог поэтому несравненно ближе страдающему, ошибающемуся и глубоко жаждущему прощения, сострадания и любви безмерной, неустанной любви.

18-я лекция, 5 апреля 1932 года

Целый ряд предыдущих лекций я посвятил анализу той литературы, под влиянием которой находился необыкновенно рано литературно развившийся юноша Достоевский. Теперь нам остается подвести итоги тому, что именно дала эта литература светлomu, жизне-радостному Достоевскому, которому я посвятил этот цикл лекций.

Очень много светлый Достоевский получил от Шиллера с его прекрасными пламенными идеалами, с его «гимномъ [именно] къ радости», который вдохновил III главу третьей книги «Братьев Карамазовых»¹⁾, как раньше вдохновил Бетховена на создание Девятой симфонии, и с его «Дон Карлосом», которого будущий писатель с таким упоением изучал вместе со своим другом Бережецким. Дружба Дон Карлоса и Маркиза Позы, прообразом которой была дружба Шиллера с поэтом Кернером в Дрездене и которую Достоевский

¹⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. XII. С. 121–130.

пережил так горячо и пламенно в своей дружбе с Бережецким, нашла потом неоднократно прекрасное и светлое отражение в произведениях Достоевского. Так, в «Слабом сердце» 26–27-летний Достоевский дал описание горячей дружбы Аркадия Ивановича Нефедевича к Васе Шумкову, в «Преступлении и наказании» яркими красками изображена дружба Разумихина к Раскольникову, в «Неточке Незвановой» — пламенная самоотверженная детская дружба Неточки к княжне Кате, а в «Братьях Карамазовых» представлен прекрасный образец юношеской братской дружбы Алеши Карамазова к Дмитрию и Ивану.

Байрон, по словам Достоевского²⁾, выразивший «мрачное разочарование» человечества «въ обманувшихъ его идеалахъ» конца восемнадцатого столетия, своими страстными пламенными стихами укрепил сложившееся еще в детстве убеждение Достоевского, что человечество не может жить идеалами французской революции, поскольку этим идеалам недоставало глубокой и горячей религиозной мысли. А «Дух христианства» Шатобриана, о котором говорит юноша Достоевский в своих письмах³⁾, еще более укрепил Достоевского в уверенности, что христианство наиболее поэтическая, наиболее гуманная, наиболее благородная, возвышенная и благоприятная для свободы искусства и литературы религия.

Чрезвычайно много дал именно светлomu, жизнерадостному Достоевскому Виктор Гюго — в юношестве своими стихотворениями, позже тем, что он, например, своим епископом Мюриэлем или Жаном Вальжаном в «*Les misérables*» («Отверженных») как бы облек плотью и кровью те христианские идеалы, которые всегда так привлекали Достоевского и которые только упомянуты были Шатобрианом.

²⁾ Иб. Т. XI. С. 421.

³⁾ Достоевский Ф. М. Письма. Т. I. С. 51.

Кто хоть раз прочел «Отверженных», не может не вынести чрезвычайно сильного впечатления от той глубоко христианской любви, того сострадания, жалости и самоотвержения, какими полны действия Жана Вальжана и Мюриэля и которые не могли не укрепить и усилить рано сложившиеся в этом направлении убеждения Достоевского: «Возстановление погибшаго челоуѣка, задавленнаго несправедливо гнетомъ обстоятельствъ, застоя въковъ и общественныхъ предразсудковъ» и «оправданіе униженныхъ и всеми отринутыхъ парій общества»⁴⁾.

Эти мысли, которые Достоевский считает главными у Виктора Гюго, являются в то же время и главными мыслями самого Достоевского. Достаточно припомнить хотя бы восстановление погибавшей Сони Мармеладовой в «Преступлении и наказании» и Наташи в «Униженных и оскорбленных», или оправдание всеми отринутой швейцарки Мари в начале «Идиота», или восстановление «великого грешника» в «Житии великого грешника», чтобы убедиться, что именно «светлый, жизнерадостный» Достоевский весь проникнут этими идеями, общими у него с идеями Виктора Гюго — с его восстановленным Жаном Вальжаном из «Отверженных» («*Les misérables*») и оправданным Квазимодо из «Собора Парижской Богоматери», который, по словам Достоевского, есть «олицетвореніе пригнетеннаго и презираемаго средневѣковаго народа французскаго, глухаго и обезображеннаго, одареннаго только страшной физической силой, но въ которомъ просыпается наконецъ любовь и жажда справѣдливости, а вмѣстѣ съ ними и сознаніе своей правды и еще непочатыхъ, безконечныхъ силъ своихъ»⁵⁾.

⁴⁾ *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Пг.: Просвещение, 1911–1918. Т. 22. С. 230.

⁵⁾ *Иб.*

Пример восстановления погибавшей, если не на земле во время жизни, то на небе после смерти, дал юноше Достоевскому и Гете в своем «Фаусте», и мы видели, как Достоевский позже в своем «Подростке» подробно разрабатывает эту данную ему Гете тему⁶⁾.

От того же Гете жизнерадостный, отрицавший всегда самоубийство Достоевский получает позднее одно из орудий против самоубийства в данном Гете описании Вертера, созерцающего созвездие Большой Медведицы⁷⁾. И Достоевский выводит из этого описания, к сведению всех самоубийц, такую мысль: они слишком легко забывают, что они люди, т. е. бессмертные, богоподобные существа, которым не только грешно, но безумно, нелепо пытаться прерывать нить той жизни, которая, по воле Создателя, не может быть прервана.

Бальзак, вероятно, дал юноше Достоевскому первую формулировку той глубоко христианской идеи, которая обща Достоевскому, Толстому, Руссо и Бальзаку, идеи о том, что один человек не вправе основать свое счастье на несчастье другого, как бы этот другой ни казался ничтожным сравнительно с первым, ни один человек не вправе употреблять другого в качестве орудия для достижения своих целей, как бы высоки эти цели ни казались ему.

Эта мысль, как мы видели, одна из самых основных, главных мыслей Достоевского. Все его лучшие, наиболее для нас симпатичные герои выражают ее и своими словами и, главное, своими действиями.

Противоположная мысль, которую Достоевский приписывает в «Преступлении и наказании» Наполеону (желавшему достигнуть вечного мира, объединив весь культурный мир под властью своей и Александра I,

⁶⁾ *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 449–450.

⁷⁾ *Иб.* Т. X. С. 4.

и для достижения этого готовому жертвовать миллионами жизней), постоянно осуждается Достоевским, хотя он порой как бы забывает это, в пылу разговора высказываясь за присоединение Константинополя.

Наконец, очень много дал молодому Достоевскому Гофман. Прежде всего — толчок мысли Достоевского о двойственности человека, о тех двух планах — сознательном и подсознательном, в которых человек живет. Получив этот толчок, душа Достоевского работала дальше, и в результате получился такой глубокий анализ человека, какой ранее никогда не делался, анализ не только обыкновенной жизни, но и сна и сновидений, во время которых подсознательное, ничем не сдерживаемое, как бы временно обнажается и показывает нам такие стороны человеческой души, которые обыкновенно скрыты от нас. Видя сразу оба плана душевной жизни, мы гораздо глубже и яснее схватываем всю глубокую суть человека, видим его таким, каким он виден более прозорливому глазу, чем наш обыкновенный глаз.

Отметив таким образом некоторые стороны того, что дало юноше Достоевскому знакомство с мировой литературой, я могу перейти теперь к описанию той литературной дружбы, которая соединяла юношу Достоевского со старшим его на шесть лет Иваном Николаевичем Шидловским. Письма Достоевского дают нам некоторые сведения об этом.

Как вы помните, Достоевские познакомились с ним в гостинице, когда приехали в Петербург весной 1837 г., и с тех пор его имя постоянно встречается в письмах братьев.

Уже в том послании, которое братья Достоевские отправляют отцу 3 июля 1837 г., вскоре после его отъезда из Петербурга, они упоминают: «Завтра <...> к нам

придет Шидловский, и мы пойдем странствовать с ним по Петербургу и оглядывать его знаменитости»⁸⁾.

В течение следующих затем полутора месяцев они часто видятся и все более к нему привязываются, и 20 августа 1837 г. братья пишут отцу: «Ах, папинька, ежели бы вы знали, какой это достойный молодой человек. Мы не знаем, как благодарить его. Он так любит нас, как будто родной. Всякое воскресенье навещает он нас и мы, ежели бывает хорошая погода, идем с ним в церковь, а там заходим к нему, и к обеду возвращаемся домой»⁹⁾. В это время братья Достоевские живут у готовящего их в Инженерное училище Коронада Филипповича Костомарова. Михаилу Достоевскому нет еще семнадцати лет, Федору не исполнилось еще шестнадцать, а старшему другу их Шидловскому был двадцать один год.

В это первое время их знакомства в письмах постоянно говорится о совместных посещениях церкви и о том, что они после церкви проводят все утро дома у Шидловского.

В воскресенье 6 сентября 1837 года братья пишут отцу: «С Шидловским мы не видались долгое время [на самом деле не прошло еще и трех недель с предыдущего свидания]. Только нынче провели с ним час в Казанском соборе»¹⁰⁾. 3 декабря 1837 года: «[Иван] Николаевич Шидловский свидетельствует Вам свое почтение. Он по воскресеньям или бывает у нас, или присылает за нами, — и мы проводим у него целое утро»¹¹⁾.

Через полтора месяца, 18 января 1838 года, Достоевский поступает в Инженерное училище, но свидания с Шидловским не прекращаются, и 4 февраля он сооб-

⁸⁾ *Достоевский Ф. М.* Письма. Т. I. С. 42.

⁹⁾ *Достоевский А. М.* Воспоминания. С. 365.

¹⁰⁾ *Достоевский Ф. М.* Письма. Т. I. С. 45.

¹¹⁾ *Достоевский А. М.* Воспоминания. С. 372.

щает отцу, что Шидловский уезжает на время в Курск и, вероятно, свидится с отцом Достоевского¹²⁾. Через полгода, 30 октября 1838 года, Достоевский извещает отца, что Шидловский вновь в Петербурге¹³⁾.

В это время Михаил Достоевский уже уехал в Ревель¹⁴⁾.

Достоевский один, и вот по возвращении Шидловского из Курска в октябре 1838 года 17-летний Достоевский оставлен на него и, по-видимому, посещает его всякую свободную минуту. Когда болезнь или экзамен мешают ему навестить Шидловского, он огорчен. Так, 31 октября он пишет брату: «Скверный экзамен! Он задержал меня писать к тебе, папеньке и видеться с Иваном Николаев[ичем]»¹⁵⁾, и в другом месте того же письма: «Жаль, что я прошлую неделю не мог увидеться с Ив[аном] Николаев[ичем], болен был!»¹⁶⁾.

В это время он уже близко сошелся с Шидловским, тот читает ему свои стихотворения, и юный Достоевский в восторге от них. Все в том же письме от 31 октября 1838 года он между прочим пишет брату: «Ах скоро, скоро перечитаю я новые стихотворенья Ивана Николаевича. Сколько поэзии! Сколько Гениальных идей!»¹⁷⁾

Слова Достоевского о том, что он вскоре перечитает новые стихотворения Шидловского, по-видимому, намекают на то, что он читал их в рукописи и вскоре прочтет в печати.

И в самом деле, через две недели (пометка цензора от 15 ноября 1838 года) одно из его стихотворений «Небо» было напечатано в журнале «Сын отечества»

¹²⁾ *Иб.* С. 75.

¹³⁾ *Достоевский Ф. М.* Письма. Т. I. С. 49.

¹⁴⁾ В конце мая или начале июня 1838 г.

¹⁵⁾ *Достоевский Ф. М.* Письма. Т. I. С. 49.

¹⁶⁾ *Иб.* С. 51.

¹⁷⁾ *Иб.*

между переводом гетевского «Прометея» и стихотворениями 17-летнего Некрасова. Для того чтобы дать вам некоторое представление о том, что восхищало тогда юношу Достоевского, привожу здесь это стихотворение:

Небо раздольное, тихое, бурное,
Не налюбуюсь тобой никогда!..
Блещет ли радостно солнце пурпурное,
Грустно ли теплится ночь и звезда.
Мрачно ль надвинутся тучи лиловые,
Немо ль вздохнут они белым огнем,
Тяжко ли выдохнут стоны громовые,
Буйно ль расплачутся сильным дождем.

Божьи ль объятья дугой разноцветною
Нежно скипятся над высью твоей —
Все ты мне кажешься книгой заветною,
Памятной книгою жизни моей!....

Облако, полное пышной зарницею,
Буйные ливни ручьев дождевых,
Радужный пояс и месяц с десницею —
Все это образы мыслей моих!..¹⁸⁾

Ноябрь, декабрь 1838 года и всю зиму, весну и осень 1839 года Достоевский постоянно посещает своего друга. Тот прожил целый год тогда «в Петербурге без дела и без службы»¹⁹⁾, жил, как пишет Достоевский, «на бедн[ой] квартир[е]»²⁰⁾, где Достоевский часто просиживал с ним «целые вечера»²¹⁾.

Шидловский тогда несчастно любил какую-то Марию, которая вышла замуж, и сильно страдал от этого. И вот разговорами о несчастной любви, чтением его

¹⁸⁾ Сын отечества. СПб., 1838. Т. 6. С. 16–17. Редактор Николай Греч, издание книгопродавца Александра Смирдина; журнал начал выходить в 1812 году.

¹⁹⁾ Достоевский Ф. М. Письма. Т. I. С. 56.

²⁰⁾ *Иб.*

²¹⁾ *Иб.*

стихотворений и беседами о литературе полны были эти вечера. Достоевский пишет брату, что этот год и вообще «знакомство с Шидловским подарило [его] столькими часами лучшей жизни»²²⁾. Осенью после лагерей они несколько раз виделись и говорили снова о литературе, вспоминая зимнюю жизнь. После этого Шидловский уехал, и Достоевский, насколько мне известно, никогда после того с ним не встречался.

1 января 1840 года Достоевский в письме к брату вспоминает весь этот проведенный им с Шидловским год. Так как описание это очень характерно и для 18-летнего Достоевского и для 24-летнего Шидловского, я приведу здесь почти полностью относящийся сюда отрывок письма Достоевского:

«Шидловский показал мне тогда [то есть предшествовавшую зимою] твои стихотворенья... О! как ты несправедлив к Шидловскому. — Не хочу защищать того, что разве не увидит тот, кто не знает его <...>. — Но ежели бы ты видел его прошлый год. Он жил целый год в Петербурге без дела и без службы. — Бог знает для чего он жил здесь; он совсем не был так богат, чтобы жить в Петербурге для удовольствия. Но <...> видно что именно для того он и приезжал в Петербург, чтобы убежать куда-нибудь. — Взглянуть на него: это мученик! — Он иссох; щеки впали; влажные глаза его были сухи и пламенны; духовная красота его лица возвысилась с упадком физической. — Он страдал! тяжело страдал! Боже мой как любит он какую-то девушку (Marie, кажется). — Она же вышла за кого-то замуж. Без этой любви он не был бы чистым, возвышенным, бескорыстным жрецом поэзии... Пробираясь к нему на его бедную квартиру, иногда в зимний вечер (н. п. ровно год назад [т. е. в новый год]) я невольно вспоминал о грустной зиме Онегина

²²⁾ Ib. С. 57.

в Петербурге [когда Онегин жил там, зная, что Татьяна, хотя и любит его, все же не соглашается отвечать на его любовь]. Только предо мною не было холодного создания, пламенного мечтателя поневоле, но прекрасное, возвышенное создание, правильный очерк человека, который представили нам и Шекспир и Шиллер; но он уже готов был тогда пасть в мрачную манию характеров Байроновских. [Как раз в это время Шидловский, как видно из его письма к Михаилу Достоевскому (от 17 января 1839 года), готов был покончить со своею жизнью (“дно речное, дно моей милой Фонтанки манило меня страстно, как брачный одр обрученного”, пишет он там²³⁾)]. — Часто мы с ним просиживали целые вечера, толкуя Бог знает о чем! О какая откровенная чистая душа! У меня льются теперь слезы как вспомню прошедшее! Он не скрывал от меня ничего, а что я был ему? Ему надо было <...> [открыться] кому-нибудь; ах для чего тебя не было при нас! Как он желал тебя видеть! Назвать тебя лично другом — название, которым гордился он. — Я помню когда слезы лились у него при чтении стихов твоих; он знал их наизусть! <...> О какое бедное, жалкое создание был он! — Чисто ангельская душа! И в эту тяжкую зиму он не забыл любви своей. <...> Наступила весна; она оживила его. — Воображение его начало создавать драмы, и какие драмы брат мой. Ты бы переменял мнение о них, ежели бы прочел им переделанную “Марию Симонову”. — Он переделывал ее всю зиму, старую же форму ее сам назвал уродливою. — А лирические стихотворенья его! О ежели бы ты знал те стихотворенья, которые написал он прошлою весною. Наприм<ер> стихотворенье, где он говорит о славе. Ежели бы ты прочел его, брат! <...> [После того как я вернулся] из лагеря мы

²³⁾ Гроссман Леонид. Творчество Достоевского. С. 44.

мало пробыли вместе. — В последнее свиданье мы гуляли в Екатерингофе. О как провели мы этот вечер! вспоминали нашу зимнюю жизнь, когда мы разговаривали о Гомере, Шекспире, Шиллере, Гофмане, о котором столько мы говорили, столько читали его. Мы говорили с ним [в Екатерингофе и] о нас самих, о прошлой жизни, о будущем, о тебе, мой милый. — Теперь он давно уже уехал, и вот ни слуху ни духу о нем! Жив ли он? Здоровье его тяжко страдало; о пиши к нему! <...> Знакомство с Шидловским подарило меня столькими часами лучшей жизни»²⁴⁾.

Припомним, что параллельно с этим у Достоевского развивались дружеские отношения с Бережецким, о чем он в том же письме говорит: «Послушай милый брат! Я верю: в жизни человека много, много печалей, горя и радостей. — В жизни поэта это и терн и розы. — Лирика — всегдашний спутник поэта; потому что он существо словесное. — Твои лирические стихотворения были прелестны: Прогулка, Утро, Видение матери, Роза (кажется так), Фебовы кони и много других прелестны. Какая живая повесть о тебе милый! И как близко она сказала мне. — Я мог тебя понимать тогда; потому что те месяцы были так памятны для меня, так памятны. — О сколько случилось тогда и странного и чудесного в моей жизни. — Это предолгая повесть, и я ее никому не расскажу»²⁵⁾.

Но хотя Достоевский здесь обещает, что он «никому не расскажет» о том «странном и чудесном», что случилось тогда в его жизни, он слишком полон впечатлениями и не может удержаться и через страницу пишет: «Прошлую зиму я был в каком-то восторженном состоянии <...> [не знакомство с Шидловским] было тогда причиною этого». И он продолжает: «Ты

²⁴⁾ Достоевский Ф. М. Письма. Т. I. С. 56–57.

²⁵⁾ Ib. С. 56.

может быть упрекал и упрекнешь меня, почему я не писал к тебе. Глупые ротные обстоятельства тому причиною. Но сказать ли тебе, милый; я никогда не был равнодушен к тебе. Я любил тебя за стихотворения твои, за поэзию твоей жизни, за твои несчастья — и не более; [настоящей] братской любви [настоящей] дружеской любви [к тебе у меня тогда] не было...»²⁶⁾ И потом он рассказывает все то, что нам уже известно о его дружбе с Бережецким.

Так вот, если мы вспомним, что у него в ту зиму были параллельно эти два столь похожие и в то же время столь различные чувства, дружба к Шидловскому, в которой он преклонялся перед Шидловским, восхищался им, обожал его, и дружба к Бережецкому, в которой, наоборот, Бережецкий перед ним преклонялся, а Достоевский хотел всецело, до конца подчинить его, — если мы вспомним это и затем перечтем только что цитированное письмо к брату, то мы получим понятие о том, как чрезвычайно много, незабываемо много должна была дать эта зима Достоевскому.

В училище среди несимпатичных ему в общем товарищей, будущих взяточников, казнокрадов, карьеристов, он уединяется с Бережецким, читает с ним Шиллера, восхищается, упивается пламенными возвышенными идеалами Шиллера, наблюдает в живой жизни, в сношениях с Бережецким, всю сладость нежной восторженной дружбы, наслаждается восхищением Бережецкого, его преданною, покорною, самоотверженною любовью, сам испытывает к нему нежное, горячее дружеское чувство и потом в предпраздничный вечер пробирается по петербургской сырой, туманной, гнилой погоде, по тускло освещенным редкими фонарями улицам далеко в бедную квартиру Шидловского, предвкушая всю дорогу, как он увидится с восхищающим

²⁶⁾ Иб. С. 57.

его старшим другом, услышит его полные гениальных идей и поэзии (как ему кажется) стихотворения и драмы, будет внимать откровенным, пленяющим его рассказам о безнадежной страстной любви к какой-то Марии и затем вместе будет упиваться Гомером, Шекспиром и всего более Гофманом, а затем глубокою ночью, когда Петербург спит, когда только кое-где мерцает одинокая сальная свеча какого-нибудь поздно сидящего поэта или ученого, снова пробирается обратно в училище, заранее радуясь встрече с другом, его восторженно смотрящим на него глазам и заранее наслаждаясь мыслью о том, как они вместе будут «глотать» красивые стихи Шиллера, восхищаться благородным словам Дон Карлоса, горячим дружеским излиянием Маркиза Позы и Мортимера, как он на своем друге будет поверять прекрасные идеалы Шиллера и найдет, что их дружба еще прекраснее, еще нежнее, еще слаще описанной немецким поэтом.

Такая зима, само собой разумеется, должна была оставить неизгладимые следы в жизни Достоевского, и так как он в конце концов испугал Бережецкого, оттолкнул его от себя слишком деспотическим отношением, предъявлением слишком больших требований, память его навсегда сосредоточилась на Шидловском. Он его идеализировал, видел в нем всегда еще больше, чем у того на самом деле было, и в последние годы своей жизни страстно влекся к нему своими воспоминаниями, видя его черты у всех тех симпатичных молодых людей, с которыми жизнь сталкивала, но в особенности у Владимира Соловьева, которого он полюбил больше всех других и изобразил в Алеше Карамазове.

19-я лекция, 12 апреля 1932 года

Андре Жид (André Gide), один из самых больших почитателей Достоевского во Франции, находящийся (в своих романах) под сильным его влиянием и с любовью его изучавший, посвятил первую статью своей книги о Достоевском его переписке. Там он развивает ряд положений об этой переписке, которые представляют большой интерес для изучающих личность Достоевского, и я поэтому с большим удовольствием рекомендую вам ознакомиться с этой книгой¹⁾. Но отмечая там наиболее характерные особенности писем Достоевского, Жид не упоминает одной, на которую я поэтому хочу обратить ваше внимание.

Почти у каждого из нас есть какой-нибудь корреспондент, с которым мы вполне откровенны и которому мы охотно сообщаем наиболее волнующие нас мысли. Нет поэтому ничего удивительного в том, что и Достоевский относится так к лучшему своему другу — старшему брату Михаилу, к будущей первой жене и в своих многочисленных письмах ко второй жене.

Неудивительна также искренность Достоевского к своим хорошим приятелям Апол. Ник. Майкову и Николаю Николаевичу Страхову или к любимой племяннице Софии Александровне Ивановой-Хмыровой, к которой, говоря словами Долинина в комментариях к письмам Достоевского²⁾, писатель «относился <...> с исключительною любовью, [и] безгранично уважал <...> за светлый ум и чистоту сердца [и которой он поэтому] доверял свои творческие тайны [и] рассказывал подробно о своих семейных и материальных обстоятельствах».

¹⁾ *Gide, André.* Dostojevsky: (Articles et causeries). Paris: Librairie Plons, 1893. P. 1–58.

²⁾ *Достоевский Ф. М.* Письма. Т. II. С. 395, 284.

Но для Достоевского характерно то, что он мог быть так же откровенным и так же доверять свои творческие тайны совершенно случайным корреспондентам, с которыми он обменивался всего одним-двумя письмами, если только ему казалось, что в их душе было что-то родственное его душе. Письма к подобным случайным, но казавшимся ему внутренне близкими, корреспондентам могут поэтому иногда представлять документы огромной ценности для нас.

Таким документом является, например, письмо Достоевского от 7 июня 1876 года к солисту оркестра Мариинского театра В. А. Алексееву (1828–14.VI.1884), с которым Достоевский перед этим встретился только раз в одном из философских кружков в Петербурге. В этом письме Достоевский очень подробно за три-четыре года до напечатания «Братьев Карамазовых» излагает одну из главных идей легенды о великом инквизиторе, раскрывая случайному корреспонденту «заветный уголок своей религиозной системы»³⁾.

Огромной важности также единственное дошедшее до нас письмо Достоевского к жене декабриста Наталье Дмитриевне фон Визиной, которую Достоевский видал всего лишь один раз и которой он во второй половине февраля 1854 года, тотчас после выхода из каторги, сообщает свои самые интимные религиозные верования и кается в тех чувствах ненависти, которые он иногда на каторге испытывал к окружающим. Из этого письма мне неоднократно приходилось цитировать вам символ веры Достоевского, согласно которому он не знает «ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа»⁴⁾.

³⁾ Письмо приведено на стр. 197–201 одного из весенних номеров журнала «Голос минувшего» за 1927 г. Слова в кавычках взяты из комментария к письму, данного Ф. Побединским (стр. 200), опубликовавшим письмо.

⁴⁾ *Достоевский Ф. М.* Письма. Т. I. С. 142.

Несколько раз цитировал я вам также выдержки из письма Достоевского от 18 августа 1880 года к такому же совершенно случайному корреспонденту Николаю Лукичу Озмидову о литературе, с которой следовало бы ознакомиться русскому ребенку⁵⁾. Другое письмо к тому же Озмидову от февраля 1878 года⁶⁾ мне не приходилось цитировать, но и оно полно интимными сообщениями Достоевского о его религиозном мировоззрении и о причинах убеждения в том, что есть и Бог и бессмертие души.

Не менее важно и значительно письмо Достоевского от 14 февраля 1877 года к незнакомому ему еврею Аврааму—Альберту Ковнеру⁷⁾, сидевшему тогда в московской тюрьме по обвинению в краже денег из Московского купеческого банка.

Упомяну еще письмо от 9 апреля 1876 года к Христине Даниловне Алчевской⁸⁾, с которой Достоевский до этого не встречался, или одно из последних писем Достоевского — письмо от 19 декабря 1880 г. к доктору Благодравову⁹⁾, или письмо его от 11 апреля того же года к Екатерине Федоровне Юнге¹⁰⁾, которой он прямо пишет, что ему хотелось бы ответить ей «что—нибудь искреннее и задушевное», хотя он никогда ее не видал.

Таких примеров я мог бы привести еще много, но и приведенных вполне достаточно, чтобы видеть, что Достоевский мог таким образом открывать свою душу и сообщать свои интимнейшие душевные переживания (как, например, в последнепомянутом письме, где он

⁵⁾ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 119—120 (третья пагинация).

⁶⁾ *Иб.* С. 117—118.

⁷⁾ *Иб.* С. 320—322 (вторая пагинация).

⁸⁾ *Иб.* С. 317—320.

⁹⁾ *Иб.* С. 351—352.

¹⁰⁾ *Иб.* С. 341—343.

рассказывает о своей двойственности) лицам, которых он никогда не видал и от которых порою получил лишь одно какое-нибудь письмо.

Искренность его, однако, совсем не откровенность экспансивного, общительного человека, который привык жить «нараспашку», сообщать первому встречному и поперечному все, что у него в данную минуту накопилось на душе. Достоевский, наоборот, был человек молчаливый и застенчивый и казался многим, знавшим его лишь поверхностно, угрюмым, замкнутым и в себя ушедшим, задумчивым человеком, даже каким-то недотрогой, как бы говорящим людям: «*poli me tangere*» (не трогай меня, оставь меня в покое).

Но в нем была черта, очень редко попадающаяся у взрослых, зато нередко свойственная детям, которых Достоевский очень любил и с которыми легко сблизился. Мы, взрослые, большей частью скрываем свое истинное внутреннее «я» за маскою, которая постепенно вырабатывается у нас условиями так называемого хорошего тона и светских приличий. Достоевский же принадлежал к тем редким людям, которые, подобно неиспорченным детям, большею частью живут без масок. Подобно таким детям, они порою застенчивы и держатся в стороне от других, но как только они почувствуют доверие к чужому человеку, они открывают ему всю свою душу, независимо от того, знают ли они его уже давно или только сейчас перед тем с ним познакомились. Они тогда так же детски искренни и откровенны по отношению к своим новым знакомым, как раньше к своим самым душевно близким людям.

Вот эта-то редкая черта и делает письма Достоевского столь важными источниками для знакомства с его душевной жизнью и для понимания его внутреннего «я». Если бы у нас сохранились все письма Достоевского, то нам было бы нетрудно восстановить

его внутренний облик, однако, к сожалению, много из его писем к нам не дошло. Но и из сохранившихся можно сделать немало выводов о характерных чертах юноши Достоевского.

Я вам приводил уже немало выписок из писем Достоевского, касающихся прочитанной им литературы, и не буду здесь повторять их. Знакомясь с ними, нельзя не поражаться массе прочитанного молодым Достоевским, если вспомнить, сколько времени уходило у него днем на учебные занятия, черчение и специальные военные упражнения. Невольно приходит на ум, что он уже тогда начал прибегать к ночи для своих занятий, как делал всю свою позднейшую жизнь. И это подтверждается воспоминаниями и письмами современников.

Дежурный офицер Главного инженерного училища А. И. Савельев рассказывает в своих воспоминаниях: «Любимым местом занятий [Достоевского] была [глухая] амбразура окна в <...> спальне роты, выходящей на Фонтанку. В этом изолированном от других <...> месте, сидел и занимался Ф. М. Достоевский <...> Бывало, в глубокую ночь, можно было заметить Ф<едора> М<ихайловича> [там] у столика <...> за работою. Набросив на себя одеяло сверх белья, он, казалось, не замечал, что от окна, где он сидел, сильно дуло <...> Нередко на замечания мои, что здоровее вставать ранее и заниматься в платье, Ф<едор> М<ихайлович> любезно соглашался, складывал свои тетради и, по-видимому, ложился спать; но проходило немного времени, [и] его можно было видеть опять в том же наряде, у того же столика, сидящим за его работою»¹¹⁾.

Но не только в училище, но и на первой своей частной квартире, куда он перебрался после того, как 5 августа 1841 г. получил первый офицерский чин прапорщика, Достоевский продолжал сидеть глубокою

¹¹⁾ Ib. С. 42–43 (первая пагинация).

ночью. Так, в письме от 22 декабря 1841 года Достоевский сообщает брату: «...пишу в 3 часа утра, а прошлую ночь и совсем не ложился спать»¹²⁾.

Письма к брату полны интереса ко всем его занятиям, сострадания к его огорчениям, радости ко всем его успехам и различных выражений нежной братской любви.

9 августа 1838 года он пишет брату: «Как мне жаль тебя, [что ты не можешь купить себе] прелестных ягод, до которых ты такой охотник»¹³⁾, и он прибавляет в конце письма: «Пиши же, сделай одолжение, утешь меня и пиши как можно чаще. — Отвечай немедленно на это письмо. — Я рассчитываю получить ответ через 12 дней. — Самый долгий срок! Пиши же или ты меня замучаешь».

31 октября того же года: «Ах брат как жаль мне что ты беден деньгами! — Слезы вырываются». И в том же письме высказывается о стихах брата: «Брат я прочел твоё стихотворение... Оно выжало несколько слез из души моей и убавляло на время душу приветным нашептом воспоминаний. Говоришь что у тебя есть мысль для драмы... Радуюсь... Пиши её <...> напиши мне главную мысль твоей драмы: уверен, что она прекрасна <...>

В твоём стихотворении: Видение матери, я не понимаю в какой странный абрис облек ты душу покойницы. — Этот замогильный характер не выполнен. — Но зато стихи хороши, хотя в одном месте есть промах. — Не сердись за разбор»¹⁴⁾.

Письмо от 1 января 1840 года начинается как письмо жениха к невесте. 18-летний Достоевский пишет здесь: «Благодарю тебя от души, добрый брат мой, за твоё милое письмо <...> ты не согласишься как сладост-

¹²⁾ Достоевский Ф. М. Письма. Т. I. С. 64.

¹³⁾ Ibid. С. 46.

¹⁴⁾ Ibid. С. 51.

ный трепет сердца ощущаю я, когда приносят мне письмо от тебя; и я изобрел для себя нового рода наслаждение — престранное — томить себя. —

Возьму твое письмо, перевертываю несколько минут в руках, щупаю его полновесно ли оно, и насмотревшись, налюбовавшись на запечатанный конверт, кладу его в карман... Ты не поверишь что за сладострастное состояние души, чувств и сердца! И таким образом жду иногда с 1/4 часа; наконец с жадностью нападаю на пакет, рву печать и пожираю твои строки, твои милые строки. О чего не перечувствует сердце читая их! Сколько ощущений толпятся в душе, и милых и неприятных и сладких, и горьких»¹⁵⁾.

Потом он подробно рассказывает о всех тех затруднениях («насилу достал»), с какими он наконец раздобыл для брата все необходимые книги и записки¹⁶⁾, и продолжает: «Поздравляю тебя с новым годом <...> — Что-то принесет он нам! Я читал твое прошлогоднее послание к новому году. — Мысль хорошая; [хотя] дух и выраженья стихов под сильным влияньем [французского поэта] Barbier; между прочим у тебя были в свежей памяти его слова о Наполеоне. —

Теперь о твоих стихах. <...> Твои лирические стихотворения были прелестны <...> Какая живая повесть о тебе милый! И как близко она сказалась мне»¹⁷⁾. И дальше: «Сюжет твоей драмы прелестен, видна верная мысль, и особенно то нравится мне, что твой Герой, как Фауст, ища беспредельного, необъятного, делается Сумасшедшим именно тогда когда он нашел это беспредельное и необъятное — когда он любим. Это прекрасно! Я рад что тебя чему-нибудь научил Шекспир»¹⁸⁾.

¹⁵⁾ Ib. С. 54.

¹⁶⁾ Ib. С. 55.

¹⁷⁾ Ib. С. 55–56.

¹⁸⁾ Ib. С. 58.

Следующее дошедшее до нас письмо написано полугодом позже — 19 июля 1840 года. Перед тем Достоевский чем-то рассердил брата, и письмо начинается слезными мольбами простить его: «Снова беру перо, милый, хотя и неумолимый, брат мой, и снова должен начинать письмо просьбою о незлопамятности, просьбою тем сильнейшею, чем ты будешь более упорствовать и сердиться. — Нет, мой милый, добрый брат! я от тебя не отстану пока ты не протянешь, по-прежнему, ко мне руки твоей. — И не знаю милый мой! ты всегда был справедлив ко мне (бывали хотя и исключения), всегда извинял меня в случае долгого молчания, а теперь, когда я представляю причину, причину неопровержимую, сам знаешь, ты как будто глух к словам моим; извини эти упреки, добрый друг мой; я не скрою от тебя что они вышли прямо из сердца; я [ведь] люблю тебя милый мой, и мне больно видеть твое равнодушие. — На твоём месте я бы давно забыл все чтобы только скорее извинить друга своего, чем заставить его еще долее выпрашивать извиненье! <...>

Ах милый брат! пиши мне ради Бога хоть что-нибудь. — Ежели бы ты только знал как я беспокоюсь о твоей участи, о твоих решениях, намерениях, о твоём экзамене, милый мой; потому что вот уже и он и на дворе».

И Достоевский в полном отчаянии продолжает: «...ах! ежели мы еще далее будем продолжать эти несогласия, это расстройство в нашей неразрывной [курсив Достоевского] дружбе, то я и не знаю, что за мученье испытаю я через твое молчание. — Ведь вот уже наступает эта глупая и между тем эта решительная развязка в судьбе твоей, развязка, которой я ожидал всегда с каким-то трепетом [Достоевский говорит здесь об офицерском экзамене брата]. В самом деле: что от этого зависит? вспомни-ка. Твоя жизнь, твой досуг, твое счастье <...>; потому что, ежели ты не переменял-

ся сам или не переменялась судьба твоя с тех пор, когда ты с таким восторгом писал мне о своих надеждах, о своей Эмилии [т. е. 18-летней девушке Эмилии Федоровне фон Дитмар¹⁹⁾, на которой Михаил Михайлович женился через полтора года в январе 1842 г.], то разумеется можешь сам рассудить, какую перемену может произвести удачный экзамен в судьбе твоей. Ну вот хоть и это обстоятельство в судьбе твоей, добрый брат мой! Неужели ты думаешь, что это было бы не слишком уж жестоко лишать доверенности брата своего, когда может быть я бы мог своею дружбою разделить с тобой или счастье или горе милый друг; ах! добрый мой! Бог тебе судья за то что ты оставляешь меня в такой неизвестности, такой тяжкой неизвестности. —

Да что-то случилось с тобою брат мой! <...> Но приезжай скорее милый друг мой; ради Бога приезжай. — Ежели бы знал ты как необходимо для нас быть вместе милый друг! Целые годы [2 года] протекли со времени нашей разлуки. Клочок бумаги, пересылаемый мною из месяца в месяц — вот была вся связь наша; между тем время текло, время наводило и тучи [горе] и ведро [радость] на нас и все это протекло для нас в тяжком грустном одиночестве; ах! ежели бы ты знал как я одичал здесь милый, добрый друг мой; любить тебя это для меня вполне потребность. Я совершенно свободен, не завишу ни от кого; но наша связь так крепка [друг] мой милый, что я кажется сросся с кем-то жизнью.

Сколько перемен в нашем возрасте, мечтах, надеждах, думах ускользнуло друг от друга меж нами незамеченными и которые мы сохранили у себя на сердце. О! когда я увижу тебя чувствую что мое существованье обновится; — я чувствую себя как-то

¹⁹⁾ Род. в 1822 г., ум. в 1879 г.

неспокойным теперь... <...> Приезжай ради Бога приезжай друг мой, милый брат мой. <...> Прощай, добрый, милый друг мой. Вот тебе несколько строк, писал такими урывками. <...>

Прощай же мой милый, мой добрый друг, брат. Пиши скорее непременно»²⁰⁾.

И он старается успокоить брата в отношении ожидающих его экзаменов: «Не знаю опасаться ли мне насчет твоего экзамена. Как-то ты приготовлен. Что касается до ваших экзаменаторов то я уверен в них. Вас экзаменуют у нас всегда так легко и просто, что ежели ты чем-нибудь да занимался, то [наверно] выдержишь; и не такие выдерживали. Примеров я видел кучу»²¹⁾.

После этого письма старший брат приехал в Петербург, держал там экзамен и выдержал.

В течение всего этого времени братья постоянно виделись; но вот экзамены прошли, и Михаил Михайлович назначен был на службу в Нарву, однако все время рвался к невесте в Ревель.

27 февраля 1841 года 19-летний Достоевский пишет своему 20-летнему брату: «Вот и опять письма милый друг мой! Давно ли думали мы почти на век не разлучаться и кое-как весело, беспечно проводили время, и вдруг в один миг [вновь] ты отнят от меня на долго, на долго. — Мне очень стало грустно одному милый мой. — Не с кем слово молвить, да и некогда. <...> Пишу <...> ночью урвав время. — Ну милый мой рад, очень рад хоть одним тебя порадовать — ежели ты доселе еще не обрадован, и если письмо мое еще застанет тебя в Нарве. В понедельник (в день твоего отъезда) приезжает ко мне Кривопишин [это был родственник Достоевских, генерал-лейтенант, занимавший крупную должность в Инспекторском де-

²⁰⁾ Достоевский Ф. М. Письма. Т. I. С. 60–62.

²¹⁾ *Иб.* С. 62.

партаменте Главного инженерного управления]; мы обедали тогда и я не видал его. Оставил записку — приглашение к ним. — В воскресенье я был у него вечером и он мне показывает донесение <...> о сделанном распоряжении на счет твоей командировки в Ревель. Вероятно (да и без сомнения) ты уже в Ревеле, целуешь свою Эмилию (не забудь и от меня); <...> дай Бог тебе счастья в мирном, прелестном кругу семейственном, в любви, в наслаждение — и свободе»²²⁾.

Между тем приближался день свадьбы 21-летнего Михаила Михайловича и его 19-летней Эмилии. Для свадьбы нужны были деньги, а опекун не давал, так как был против этого брака, и вот Достоевский пишет брату 22 декабря 1841 года: «Ты пишешь мне бесценный друг мой о горести, защемившей сердце твое, о твоём бедствии, пишешь что ты в отчаянии [бесценный] мой любезный, милый брат! Но посуди же сам о тоске моей, об *моей* [курсив Достоевского] горести, когда я узнал все это. — Мне стало грустно, очень грустно <...> невыносимо. — Ты приближаешься к той минуте жизни, когда расцветают все надежды и желания наши; когда счастье прививается к сердцу, и сердце полно блаженством; и что же? Минуты эти осквернены, потемнены горестию трудом и заботами. — Милый, милый мой! Если бы ты знал как я счастлив что могу хоть чем-нибудь помочь тебе. — С каким наслаждением посылаю я эту безделку, которая хоть сколько-нибудь может восстановить покой твой; этого мало — я знаю это. — Но что же делать если более — брат — клянусь не могу! <...> Итак посылаю эту безделицу. — Но Боже мой. — Как же несправедлив ты мой милый бесценный друг, когда пишешь подобные слова — *взаимы* — *заплачу* [курсив Достоевского]. — Не совестно ли, не грешно ли и между братьями!

²²⁾ Иб. С. 62–64.

Друг мой, друг мой, неужели ты не знаешь меня. — Не этим могу я для тебя пожертвовать!! <...>

Когда свадьба! Желаю тебе счастья и жду длинных писем <...>

Посылаю тебе 150 рублей [то есть 3000 наших марок] (Это для верности)²³⁾.

Свадьба одного из друзей нередко нарушает дружбу, но в этом случае дружба была слишком сильна, чтобы ее могло что-либо перервать. За следующие шесть лет, т. е. до того времени, когда Михаил Михайлович в 1847 году с семейством навсегда переехал в Петербург, до нас дошло лишь двадцать шесть писем, но и из этих писем ясно видно, что связь между братьями так же крепка, как раньше.

Михаил Михайлович своего старшего сына называет по брату Федору Федей. Дочь Достоевский советует назвать в честь их матери — Марией, и Михаил Михайлович так и делает.

Когда только может, Достоевский едет навещать брата и его семью в Ревель, знакомится с их знакомыми Бергманами и Рейнгардтами, старается все время доставать брату работу, так как тому недостаточно получаемого им небольшого жалованья, посылает, когда может, ему деньги и вообще и словом и делом доказывает ему свою дружбу, но на этом я не буду подробно останавливаться.

20-я лекция, 19 апреля 1932 года

Сегодня мне хотелось бы коснуться, может быть, самой трудной части курса — вопроса о том, как в юноше Достоевском постепенно нарастало желание посвятить всего себя художественной деятельности и как поэтому крепло намерение развязаться с военной

²³⁾ *Иб.* С. 64–65.

службой. Материалов для освещения этого в высшей степени важного вопроса у нас пока очень мало, и здесь возможны ошибки, но задача эта имеет слишком большое значение, чтобы не попытаться хотя несколько осветить ее.

Сказать, когда именно, в каком именно году Достоевский начал впервые мечтать о том, чтобы стать писателем, мы не можем. Но если вспомнить увлечение мальчиков Достоевских литературой, в частности поэзией и в особенности Пушкиным, мы легко можем себе представить, как во время разговоров об этом друзей-братьев у одного из них или у обоих сразу могла возникнуть мысль стать Пушкиным или каким-нибудь другим из любимых писателей, и перед сном у себя за перегородкой в передней они могли потом, как дети часто делают, предаваться этим мечтам.

Во всяком случае первое относящееся к данному вопросу известие, касающееся 15–16-летнего юноши Достоевского, рисует нам его с вполне установившимися в данном отношении не только мечтаниями, но уже и привычками. В своем «Дневнике писателя» за январь 1876 года Достоевский, рассказывая о случае с фельдшером, пишет между прочим: «Я и старший братъ мой ѣхали, съ покойнымъ отцомъ нашимъ, [из Москвы] въ Петербургъ, опредѣляясь въ Главное инженерное училище. Былъ май мѣсяцъ, было жарко. Мы ѣхали на долгихъ, почти шагомъ... Помню, какъ надоѣло намъ, подъ конецъ, это путешествіе, продолжавшееся почти недѣлю. Мы съ братомъ стремились тогда въ новую жизнь, мечтали объ чемъ-то ужасно, обо всемъ “прекрасномъ и высокомъ”... <...> Мы вѣрили чему-то страстно, и хоть мы оба отлично знали все, что требовалось къ экзамену изъ математики, но мечтали мы только о поэзіи и поэтахъ»¹⁾.

¹⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. X. С. 32.

И юноши не только мечтали. Характерно то, что уже в этом раннем возрасте каждый из них творил в той области, где впоследствии творил взрослым. Если вы возьмете из библиотеки два тома произведений Михаила Михайловича Достоевского, то вы найдете там лишь одну комедию и ряд повестей, но это собрание его сочинений вовсе не показательно для него. Большую часть своих литературных занятий старший брат посвящал созданию стихотворений и стихотворным переводам из Шиллера и Гете. Достоевский же, кроме нескольких небольших стихотворений, например в «Бесах», никогда не занимался стихотворчеством. И то же мы видим во время этой поездки.

Достоевский вспоминает: «Братъ писалъ стихи, каждый день стихотворенія по три, и даже дорогой, а я непрерывно въ умѣ сочинялъ романъ изъ Венеціанской жизни»²⁾.

Мечты такого рода не оставляли его и в Инженерном училище. С одной стороны, они прямо поддерживались постоянной перепиской о литературе с братом и литературной дружбой с Бережецким и Шидловским, и отчасти сношениями с будущими писателями Григоровичем и Бекетовым. С другой стороны, эти мечты отрицательным путем усиливались неблагоприятными впечатлениями от товарищей и занятий в училище.

Отрывочные свидетельства о том и другом мы находим в письмах Достоевского к отцу и брату. В октябре 1838 года 17-летний юноша Достоевский, хотя и выдержал хорошо все переходные экзамены, но происками нескольких недоброжелательно относившихся к нему преподавателей³⁾ оставлен был на второй год в том же классе. Перспективы лишний год остаться среди несимпатичных ему товарищей в занятиях не интересовавшими его науками усилили обыкновенно

²⁾ Иб.

³⁾ Достоевский Ф. М. Письма. Т. I. С. 48–49.

скрываемые им чувства, и в письме к брату от 31 октября 1838 года Достоевский исповедуется: «Брат, грустно жить без надежды... Смотрю вперед и будущее меня ужасает... Я ношусь в какой-то холодной, полярной атмосфере, куда не заползал луч солнечный... Я давно не испытывал порывов вдохновенья <...> Не залетит ко мне райская птичка поэзии, не согреет охладелой души <...> и прежние мечты мои меня оставили и мои чудные арабески⁴⁾, которые создавал некогда, сбросили позолоту свою. Те мысли, которые лучами своими зажигали душу и сердце, нынче лишились пламени и теплоты; или сердце мое очерствело или... дальше ужасаюсь говорить... Мне страшно сказать ежели все прошлое было один золотой сон, кудрявые грёзы...» И дальше: «Мне кажется что слава также содействует вдохновенью поэта. <...> одно помышление о том что некогда вслед за твоим былым восторгом вырвется из праха душа чистая, возвышенно-прекрасная, мысль, что вдохновенье как таинство небесное освятит страницы, над которыми плакал ты и будет плакать потомство, не думаю, чтобы эта мысль не закрадывалась в душу поэта и в самые минуты творчества»⁵⁾.

После ряда месяцев дружбы с Бережецким и Шидловским, когда мечты о литературной деятельности особенно сильно должны были охватывать его душу, его желание вырваться поскорее из Инженерного училища становится таким сильным, что слова об этом присутствуют даже в его письме к отцу (от 5–10 мая 1839 года), с которым был он далеко не так откровен-

⁴⁾ Слово «арабески» могло быть взято Достоевским из заглавия ряда рассказов и статей (в том числе «Портрет» и «Невский проспект»), изданных Гоголем еще в 1835 году, но, вероятно, незадолго перед тем попавшихся на глаза Достоевскому.

⁵⁾ *Достоевский Ф. М. Письма. Т. I. С. 50–51.*

нен, как с братом: «только бы вырваться из училища» и «когда-то я развяжусь со всем этим»⁶⁾.

В этом же письме у него проскальзывает мысль о младшем брате Андрее, которая, по-видимому, запала на благоприятную почву у старших родственников Достоевского, потому что принесла через два года плоды: «Что-то делает Андрюша; как-то он учится?» — спрашивает Достоевский. — «Не захотите ли Вы его отдать к нам в училище? Когда я выйду в офицеры, то берусь его приготовить для поступления к нам; ибо поступить к нам довольно легко. Костомаров обморочил Вас и только взял с Вас деньги за нас, тогда как мы бы могли и без приготовления поступить в училище».

После насильственной смерти отца Достоевский в письме к брату Михаилу от 16 августа 1839 г. между прочим говорит: «Давно я не говорил с тобой искренно. <...> Не знаю, но теперь гораздо чаще смотрю на меня окружающее с совершенным бесчувствием. Зато сильнее бывает со мною и пробуждение. Одна моя цель быть на свободе. Для нее я всем жертвую. Но часто, часто думаю я что доставит мне свобода... Что буду я один в толпе незнакомой? Я сумею развязать[ся] со всем этим; но признаюсь надо иметь сильную веру в будущее, крепкое сознание в себе, чтобы жить моими настоящими надеждами; но что же? все равно, сбудутся ли они или не сбудутся; я свое сделаю. <...> [и когда я] яснее сознаю свое положение <...> я уверен, что эти святые надежды сбудутся»⁷⁾.

Судя по всему, Достоевский здесь под святыми надеждами подразумевает надежды посвятить себя литературной деятельности.

Он продолжает: «...[ду]х не спокоен теперь; но в <...> [борьбе] духа созревают обыкновенно характеры силь-

⁶⁾ Достоевский А. М. Воспоминания. С. 381, 380.

⁷⁾ Достоевский Ф. М. Письма. Т. II. С. 551.

ные; туманный взор яснее, а вера в жизнь получает источник более чистый и возвышенный. Душа моя недоступна прежним бурным порывам. Все в ней тихо, как в сердце человека, затаившего глубокую тайну; учиться, “что значит человек и жизнь” — в этом довольно успеваю я; учить характеры могу из писателей, с которыми лучшая часть жизни моей протекает свободно и радостно; более ничего не скажу о себе».

И Достоевский добавляет глубоко знаменательные слова: «Я в себе уверен. Человек есть тайна. Ее надо разгадать; и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком».

В этих словах Достоевского, которому тогда еще не исполнилось восемнадцати лет, скрыта как бы вся программа его будущей литературной деятельности, ибо скрытая, глубокая цель всех его произведений именно состояла в том, чтобы разгадать тайну личности человеческой. Этому он посвятил свою жизнь. И хотя разгадать всю тайну человеческой личности, разгадать ее до конца ему не удалось, так как это недоступно людям, он все же не только не «потерял время», но сделал многие очень ценные открытия, которые без него долго бы еще оставались скрытыми (я имею при этом в виду хотя бы тайну протекания жизни человеческой в двух, а порой и в большем числе планов и тайну глубокого одиночества среди людей человека, изолировавшегося от Бога любви и сострадания⁸⁾).

Проходит год. Дружба с Бережецким оборвалась. Шидловский навсегда (?) оставил Петербург. С братом Достоевский давно не видался. Он чувствует себя одиноким.

Часть времени идет у него на попытки создать драмы «Мария Стюарт» и «Борис Годунов», отрывки из

⁸⁾ «Исповедь» Ипполита в «Идиоте».

которых он 16 февраля следующего 1841 года читает брату и другим⁹⁾, но все-таки у него остается досуг углубиться в самого себя и сравнить свою жизнь, какова она есть, с тем идеалом жизни, который у него с течением времени создался. И вот недели за три до производства в офицеры и поселения на частной квартире он 19 июля 1840 года пишет своему брату: «...только одно время <...> может определить <...> была ли <...> деятельность душевная и сердечная чиста и правильна, ясна и светла <...> или неправильная, бесцельная, тщетная деятельность, заблуждение <...> сердца одинокого, часто не понимающего себя <...> [но] невольно ищущего для себя пищи вокруг себя и истомляющего себя в неестественном стремлении “неблагородного мечтания” <...> как грустна бывает жизнь твоя и как тягостны <...> ее мгновения, когда человек чувствует свои заблуждения, сознавая в себе силы необъятные, видит что они истрачены в деятельности ложной <...> в деятельности недостойной для природы твоей; когда чувствуешь что пламень душевный задавлен, потушен Бог знает чем; когда сердце разорвано по клочкам, и отчего? От жизни достойной пигмея а не великана, ребенка а не человека»¹⁰⁾.

Через месяц — он офицер, живет на частной квартире, у него остановился приехавший держать экзамен брат, собираются друзья брата, идут литературные разговоры; Достоевский живет на время полною жизнью. Но 17 февраля брат уезжает, и Достоевский снова уходит с головою в свои занятия по Инженерной офицерской академии. Контраст с только что минувшими днями разителен, и вот Достоевский через десять дней после отъезда брата пишет ему: «Мне очень стало грустно одному милый мой. — Не с кем слова мол-

⁹⁾ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 41 (первая пагинация).

¹⁰⁾ Достоевский Ф. М. Письма. Т. I. С. 61.

вить, да и некогда. Такое зубрение что и Боже упаси, никогда такого не было. Из нас жилы тянут милый мой. Сижу и по праздникам <...>

Голова болит смертельно. Передо мною системы Марино и Жилломе и приглашают мое вниманье. Мочи нет мой милый. <...>

О брат! милый брат! Скорее к пристани, скорее на свободу! Свобода и призванье — дело великое. Мне снится и грезится оно опять, как не помню когда-то. — Как-то расширяется душа чтобы понять великость жизни»¹¹⁾.

Проходит полгода. Старший брат собирается жениться, но денег для женитьбы и устройства новоселья недостаточно. Он едет к родственникам в Москву, чтобы достать у них (что ему не удастся), посещает деревню отца, узнает там подробности жизни и убийства отца, вывозит оттуда часть оставшегося от отца имущества и берет с собою младшего брата Андрея в Петербург, чтобы поселить у Достоевского, который, как мы видели, взялся его приготовить в Главное инженерное училище.

Андрей этим очень недоволен, он хотел поступить в университет, и теперь этот план его расстроен.

К тому же ему шестнадцать с половиной лет, он чувствует себя взрослым и ожидает, что братья, из которых одному двадцать, а другому двадцать один год, отнесутся к нему как к вполне взрослому, а они смотрят на него как на ребенка, запираются от него, чтобы переговорить о всех подробностях жизни и смерти отца, о будущей свадьбе старшего брата, об их денежных делах, оставшемся наследстве и проч. Это жестоко оскорбляет болезненно самолюбивого юношу, и он невольно относится отрицательно к своим старшим братьям.

¹¹⁾ Ib. С. 62–63.

Сказанное надо иметь в виду, когда читаешь его воспоминания об этом времени. Они чрезвычайно для нас важны, ибо как раз этот период жизни Достоевского был очень мало известен. Приведу несколько отрывков из этих воспоминаний: «Переезд по видным улицам Петербурга — Большой Морской, Невскому проспекту и Караванной — в осенние петербургские сумерки не произвел на меня приятного впечатления, а водворение в мрачную и низенькую квартиру брата еще более разочаровало меня. Брат [Федор] в то время жил в Караванной улице близ самого манежа, так что ему близко было ходить в офицерские классы главного инженерного училища [потом Инженерная академия]. Он занимал квартиру в две комнаты с передней, при которой была и кухня; но квартиру эту он занимал не один, а у него был товарищ-сожитель Адольф Иванович Тотлебен [младший брат знаменитого впоследствии инженера графа Эдуарда Ивановича Тотлебена]. Тотлебен занимал первую комнату от передней, а брат — вторую, каждая комната была о двух окнах, но они были очень низенькие и мрачные, к тому же табачный дым от жукова табаку постоянно облаками поднимался к потолку, и делал верхние слои комнаты наполненными как бы постоянным туманом. <...> Брат [Федор] представил меня Адольфу Ивановичу Тотлебену, который был так добр, что занялся мною. Два же [старшие] брата заперлись в комнату брата Федора, оставив меня в комнате Тотлебена. На ночлег тоже два старшие брата уединились, а я ночевал на турецком диване в комнате Тотлебена. Это продолжалось во все пребывание брата Михаила в Петербурге. По отъезде же его в Ревель я переселился на ночлег к брату Федору <...>

Брат <...> Федор с раннего утра уходил в офицерские классы инженерного училища; то же делал и сожитель его Тотлебен; а я на все утро оставался дома

один. Я <...> записался в библиотеку для чтения, чтобы брать книги на дом. <...> С этих пор я постоянно занимался чтением журналов и книг. Из старых книг я, по совету брата, прочел всего Вальтер Скотта. К Адольфу Ивановичу Тотлебену довольно часто приезжал его родной брат Эдуард Иванович <...>

Сожительство брата с Адольфом Тотлебеном [после моего приезда] было очень недолгое. <...> в декабре месяце, когда я заболел, то мы жили уже с братом одни»¹²⁾.

Как раз в начале этой болезни Достоевский пишет старшему брату 22 декабря 1841 года: «...я к тебе пишу в 3 часа утра, а прошлую ночь и совсем не ложился спать. Экзамены и занятия страшные. — Все спрашивают — и репутации потерять не хочется, — вот и зубришь, “с отвращением” [курсив Достоевского] — а зубришь. <...>

Андрюша болен; я расстроен чрезвычайно. — Какие ужасные хлопоты с ним. — Вот еще беда. — Его приготовление [в Главное инженерное училище] и его житье у меня вольного, одинокого, независимого, это для меня нестерпимо. — Ничем нельзя ни заняться ни развлечься <...> я сильно раскаиваюсь в моем глупом плане, приютивши его»¹³⁾.

Судя по последним словам, Достоевский очень тяготился тем, что брат у него должен был жить целый год, но в поведении его по отношению к Андрею это не было заметно. Всего меньше, по-видимому, замечалось это во время болезни Андрея, хотя, судя по контексту, ему иногда приходилось просиживать с больным братом всю ночь. Андрей болен был тифозной горячкой, он долго лежал и наконец впал в беспамятное состояние.

¹²⁾ Достоевский А. М. Воспоминания. С. 123–124, 125–126.

¹³⁾ Достоевский Ф. М. Письма. Т. I. С. 64–65.

Сам он в своих воспоминаниях говорит об этом следующее: «Брат ухаживал за мною очень внимательно, он давал лекарства, предписываемые доктором, который ездил ежедневно. [При этом] <...> случился казус, сильно напугавший брата <...> Дело в том, что одновременно с моею болезнью брат лечился сам, употребляя какие-то наружные лекарства, в виде жидкостей. Раз как-то ночью, брат, проснувшись и вспомнив, что мне пора принимать микстуру, спросонья перемешал стклянки и налил мне столовую ложку своего наружного лекарства. Я мгновенно принял и проглотил его, но при этом сильно закричал, потому что мне страшно обожгло рот и начало жечь внутри!.. Брат взглянул на рецептурку и, убедившись в своей ошибке, начал рвать на себе волосы, и сейчас же, одевшись, поехал к пользовавшему меня доктору. Тот, приехав мгновенно, осмотрел стклянку наружного лекарства, которое мне было дано, прописал какое-то противоядие, и сказал, что это может замедлить мое выздоровление. — Слава Богу, что не произошло худшего, а что выздоровление действительно замедлилось, то в этом мы с братом убедились оба.

С начала моего выздоровления случился новый казус — заболел брат, и должен был лечь в лазарет при главном инженерном училище. Я же дома остался совершенно одиноким. Но как медленно было выздоровление мое вначале, так оно быстро восстанавливалось впоследствии <...> Скоро я начал выходить, и это, конечно, опять стало развлекать меня»¹⁴⁾.

В продолжение своих воспоминаний Андрей Михайлович рассказывает: по выздоровлении «брат начал подыскивать другую квартиру, находя прежнюю неудобною; после долгих розысков он остановился на квартире в Графском переулке, что близ Владимир-

¹⁴⁾ Достоевский А. М. Воспоминания. С. 126.

ской церкви, в доме Пряничникова, куда мы и переехали в феврале или марте месяце [1842 года]. Квартира эта была очень светленькая и веселенькая; она состояла из трех комнат, передней и кухни; первая комната была общей, вроде приемной, по одну сторону ее была комната брата, и по другую, — очень маленькая, но совершенно отдельная комнатка для меня.

В эту квартиру к брату довольно часто ходили <...> Трутовский, [потом художник в Академии художеств, и писатель] <...> Григорович <...>.

Упомяну также здесь о случившихся раза 3–4 вечеринках у брата <...> с целью игры в карты; в первое время своего офицерства брат очень увлекался игрою, причем преферанс или вист были только началом игры, а вечер постоянно кончался азартною игрою в банк или штосс. Помню, что в подобные вечера я занимался хозяйственной частью, наливая всем гостям чай и отправляя в комнату брата, где происходила игра, с лакеем Егором. После же чая всегда подавался пунш, по одному или по два стакана на человека»¹⁵⁾.

Я нарочно привел это место воспоминаний Андрея Михайловича, так как рассказанные здесь три–четыре вечера были первым началом азартной игры, которая потом сыграла такую большую роль в жизни Достоевского.

21-я лекция, 26 апреля 1932 года

Говоря прошлый раз о том, каким образом назревало желание Достоевского оставить военную службу, я несколько отклонился в сторону, коснувшись воспоминаний его младшего брата Андрея Михайловича.

Чтобы покончить с ними, скажу только, что у Достоевского уходило много времени на занятия с бра-

¹⁵⁾ Иб. С. 127, 128, 129.

том, но когда брат через год пребывания у Достоевского держал экзамен в Главное инженерное училище и прекрасно выдержал, он все же не был принят, так как принимались главным образом лица, подготовленные состоявшими в стачке с экзаменаторами лицами вроде Коронада Филипповича Костомарова, который готовил старших братьев. Неудача брата сильно расстроила Достоевского, но благодаря знакомству с влиятельным лицом, генералом Кривопишиным, и его содействию младшему брату удалось поступить в другое высшее учебное заведение, и он туда переселился¹⁾.

В течение того года, во время которого младший брат жил у него, Достоевский, по-видимому, так занят был им и собственной учебой, что почти вовсе не писал писем, а в тех письмах, которые сохранились, почти ничего не говорится о его желании оставить службу, он упоминает лишь один раз, «что с отвращением зубрит»²⁾.

За следующий учебный 1842–1843 год до нас не дошло ни одного письма.

12 августа 1843 года Достоевский кончил Военно-инженерную академию (тогдашние офицерские классы Главного военного инженерного училища) и поступил в чертежную инженерного департамента. Туда он ходит на службу осенью 1843 года, зимой, весной и летом 1844 года, но мысли его совсем не в чертежной.

Осенью 1843 года и около нового 1844 года 22-летний Достоевский переводит большой роман Бальзака «Евгения Гранде»³⁾, который был напечатан летом 1844 года⁴⁾.

Потом он начал переводить роман Жорж Занд «La dernière Aldini» («Последняя Альдини») и почти кон-

¹⁾ Достоевский А. М. Воспоминания. С. 129–135, 138–139, 141–142.

²⁾ Достоевский Ф. М. Письма. Т. I. С. 64.

³⁾ Ib. С. 69.

⁴⁾ Ib. С. 475.

чил работу, когда к ужасу своему узнал, что роман был переведен и напечатан уже в 1837 году и что все его труды пропали даром⁵⁾. В то же время он продолжает начатые в училище драматические работы, и в письме к брату от января 1844 года у него вырываются слова: «Клянусь Олимпом и моим жидом Янке-лем (оконченной драмой)»⁶⁾. Но он, вероятно, сам был недоволен своими опытами в этой области литературы, так как больше мы об этом ничего не слышим.

Между тем вопрос об оставлении службы становится для него окончательно решенным, и в апреле 1844 года он, уже окончив письмо к брату Михаилу и подписав свою фамилию, прибавляет: «Служба надоедает. Служба надоела как картофель. <...> приеду [к тебе в Ревель] <...> в сентябре, когда выйду в отставку»⁷⁾.

В середине августа он подает прошение об отставке, 19 октября получает ее и 17 декабря 1844 года исключается окончательно из списков чертежной инженерного департамента⁸⁾. Шагом этим Достоевский очень доволен и полон веры в себя и в счастливое будущее.

В письме к старшему брату от 30 сентября 1844 года он замечает: «Подал я в отставку оттого что подал, т. е. клянусь тебе не мог служить более. Жизни не рад, <...> [когда] отнимают лучшее время даром. Дело в том что я <...> никогда не хотел служить долго, след. зачем терять хорошие годы? На счет моей жизни не беспокойся. Кусок хлеба я найду скоро. Я буду адски работать. [Главное] теперь я свободен»⁹⁾.

Из слов «жизни не рад, [когда] отнимают лучшее время даром», мы видим, что Достоевский, когда пи-

⁵⁾ *Достоевский Ф. М.* Письма. Т. II. С. 555.

⁶⁾ *Достоевский Ф. М.* Письма. Т. I. С. 69.

⁷⁾ *Иб.* С. 71.

⁸⁾ *Чешихин-Ветринский Вас. Е.* Федор Михайлович Достоевский... Ч. 2. С. V.

⁹⁾ *Достоевский Ф. М.* Письма. Т. I. С. 72.

шет это, уже занят тем, что ему дороже всего, и боится потерять время, и действительно, в конце того же письма мы читаем: «Я кончаю *роман* [курсив Достоевского] в объеме Eugénie Grandet. Роман довольно оригинальный. Я его уже переписываю <...> (Я моей работой доволен)»¹⁰⁾.

Роман, о котором Достоевский говорит здесь в первый раз в своей переписке, это будущее «Бедные люди». Слово «кончаю» показывает, что Достоевский уже давно над ним работает, может быть, весь 1844 г., т. е. в то время, когда переводил Бальзака и Жорж Занд.

Невольно возникает вопрос, когда же именно и каким образом возникло у Достоевского желание начать писать этот роман, т. е. когда он окончательно повернул на тот путь, которым потом следовал всю свою жизнь. Ответы на эти вопросы отчасти даются Достоевским самим.

В самом конце своего напечатанного в 1848 г. рассказа «Слабое сердце» Достоевский, повествуя о переживаниях одного из действующих лиц — Аркадия Ивановича Нефедевича, пишет: «Были уже полныя сумерки, когда Аркадій возвращался домой. Подойдя къ Невѣ, онѣ остановился на минуту и бросилъ пронзительный взглядъ вдоль рѣки въ дымную, морозно-мутную даль, вдругъ заалѣвшую послѣднимъ пурпуромъ кровавой зари, догоравшей въ мгляномъ небосклонѣ. Ночь ложилась надъ городомъ, и вся необъятная, вспухшая отъ замерзшаго снѣга, поляна Невы, съ послѣднимъ отблескомъ солнца, осыпалась безконечными мириадами искръ иглистаго инея. Становился морозъ въ двадцать градусовъ. Мерзлый паръ валилъ съ загнанныхъ на-смерть лошадей, съ бѣгущихъ людей. Сжатый воздухъ дрожалъ отъ малѣйшаго звука и, словно великаны, со всѣхъ кровель обѣихъ набережныхъ подымались и неслись вверхъ по холодному небу столпы

¹⁰⁾ Ib. С. 73.

дыма, сплетаясь и расплетаясь въ дорогѣ, такъ-что, казалось, новыя зданія вставали надъ старыми, новый городъ складывался въ воздухѣ... Казалось, наконецъ, что весь этотъ міръ, со всѣми жильцами его, сильными и слабыми, со всѣми жилищами ихъ, пріютами нищихъ, или раззолоченными палатами — отрадой сильныхъ міра сего, въ этотъ сумеречный часъ походить на фантастическую, волшебную грёзу, на сонъ, который въ свою очередь тотчасъ исчезнетъ и искурится паромъ къ темно-синему небу. Какая-то странная дума постѣлила [его]. Онъ вздрогнулъ, и сердце его какъ-будто облилось въ это мгновеніе горячимъ ключомъ крови, вдругъ вскипѣвшей отъ прилива какого-то могучаго, но доселѣ незнакомаго ему ощущенія. Онъ какъ-будто только теперь понялъ [что-то] <...> Губы его задрожали, глаза вспыхнули, онъ поблѣднѣлъ и какъ-будто прозрѣлъ во что-то новое...»¹¹⁾

То, что Достоевский здесь влагает в уста одного из своих героев, он через тринадцать лет расскажет от своего собственного имени в журнале «Время» за 1861 год в фельетоне «Петербургские сновидения в стихах и прозе». Этот новый рассказ о том же происшествии, с одной стороны, повторяет часть предыдущего буква в букву, с другой — добавляет новые детали, а главное, представляет конкретные данные, показывающие нам, какое значение это событие имело в жизни Достоевского.

«...признаюсь вамъ, Петербургъ, не знаю почему, для меня всегда казался какою-то тайною [начинает Достоевский свой рассказ]. Еще съ дѣтства, почти затерянный, заброшенный въ Петербургъ, я какъ-то все боялся его. Помню одно происшествіе, въ которомъ почти не было ничего особеннаго, но которое ужасно поразило меня. <...>

¹¹⁾ *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. I. С. 461–462.

Помню, разъ, въ зимній январьскій вечеръ, я спѣшилъ съ Выборгской Стороны къ себѣ домой. Былъ я тогда еще очень молодъ. Подойдя къ Невѣ, я остановился на минутку и бросилъ пронзительный взглядъ вдоль рѣки въ дымную, морозно-мутную даль, вдругъ заалѣвшую послѣднимъ пурпуромъ зари, догоравшей въ мгlistомъ небосклонѣ. <...> Сжатый воздухъ дрожалъ отъ малѣйшаго звука, и словно великаны со всѣхъ кровель обѣихъ набережныхъ подымались и неслись вверхъ по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь въ дорогѣ, такъ что казалось новыя зданія вставали надъ старыми, новый городъ складывался въ воздухѣ... Казалось наконецъ, что весь этотъ міръ, со всѣми жильцами его, сильными и слабыми, со всѣми жилищами ихъ, пріютами нищихъ, или раззолоченными палатами, въ этотъ сумеречный часъ походить на фантастическую, волшебную грёзу, на сонъ, который въ свою очередь тотчасъ исчезнетъ и искупится паромъ къ темносинему небу. Какая-то странная мысль вдругъ зашевелилась во мнѣ. Я вздрогнулъ, и сердце мое какъ-будто облилось въ это мгновеніе горячимъ ключемъ крови, вдругъ вскипѣвшей отъ прилива могущественнаго, но доселѣ незнакомаго мнѣ ощущенія. Я какъ-будто что-то понялъ въ эту минуту, до сихъ поръ только шевелившееся во мнѣ, но еще неосмысленное; какъ-будто прозрѣлъ во что-то новое, совершенно въ новый міръ, мнѣ незнакомый и извѣстный только по какимъ-то темнымъ слухамъ, по какимъ-то таинственнымъ знакамъ. Я полагаю, что съ той именно минуты началось мое существованіе <...>

И вотъ съ тѣхъ поръ, съ того самаго видѣнія <...> со мной стали случаться все такія странныя вещи. Прежде въ юношеской фантазіи моей я любилъ воображать себя иногда, то Перикломъ, то Маріемъ, то христіаниномъ изъ временъ Нерона, то рыцаремъ на турнирѣ, то Эдуардомъ Глянденингомъ изъ романа

«Монастырь» Вальтеръ Скотта, и проч. и проч. И чего я не перемечталъ [тогда] въ моемъ юнoшeствѣ, чего не пережилъ всѣмъ сердцемъ, всей душою моею въ золотыхъ и воспаленныхъ грѣзахъ... Не было минутъ въ моей жизни полнѣе, святѣе и чище. <...> [Тогда] мнѣ пріятно было читать *Kabale und Liebe* [Шиллера] или повѣсти Гоффмана.

[Теперь] <...> мнѣ стали сниться какіе-то другіе сны <...> сталъ я разглядывать и вдругъ увидѣлъ какія-то странныя лица <...> вполнѣ прозаическія, вовсе не Донъ-Карлосы и Позы, а вполнѣ титулярные совѣтники и въ тоже время какъ будто какіе-то фантастическіе титулярные совѣтники. Кто-то [казалось мнѣ] гримасничалъ передо мною, спрятавшись за всю эту фантастическую толпу и передергивалъ какія-то нитки, пружинки, и куколки эти двигались, а онъ хохоталъ, и все хохоталъ! И замерещилась мнѣ тогда другая исторія, въ какихъ-то темныхъ углахъ, какое-то титулярное сердце, честное и чистое, нравственное и преданное начальству, а вмѣстѣ съ нимъ какая-то дѣвочка, оскорбленная и грустная, и глубоко разорвала мнѣ сердце вся ихъ исторія»¹²⁾.

Вот какими чертами Достоевский сам рисует нам — сперва несколькими словами в «Слабом сердце», потом конкретными и детальными фразами в позднейшем фельетоне — возникновение у него желанія описать жизнь бедного петербургскаго чиновника Макара Деушкина и его любовь к униженной и оскорбленной злыми людьми девушке Варваре Доброселовой.

Контраст между дымной, морозно-мутной далью над необъятной вспухшей от замерзшаго снега поляной Невы и заалевшей пурпуром кровавой зарею, полной бесконечных мириадов искрящегося иглистого инея,

¹²⁾ *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Пг.: Просвещение, 1911–1918. Т. 22. С. 179–184.

напомнил молодому Достоевскому контраст между столь многочисленными в Петербурге как раз вдоль Невы раззолоченными палатами сильных мира сего и вонючими грязными приютами нищих. И вдруг вместо наполнявших его фантазию ранее золотых снов о средневековых рыцарях, Дон Карлосах и маркизах Поза ему припомнились бесчисленные истории, слышанные им еще от пациентов больницы для бедных, где протекли его детские годы в Москве, и потом время от времени виденные здесь, в Петербурге, истории о нужде, страданиях, болезнях и оскорблениях.

Ему казалось, что перед ним в сплетавшихся и снова расплетавшихся столбах дыма клубились бесчисленные толпы униженных и оскорбленных жизнью и людьми лиц, и чудилось, под влиянием одного из рассказов Гофмана, что безжалостная судьба, как владелец театра марионеток, дергала их за нитки и заставляла страдать и плакать, а она — судьба эта, — спрятавшись за ними, хохотала и все хохотала. И вот, когда он видит, как дым и морозный пар как бы строят новый город над старым, ему приходит мысль над жизнью людей выстроить новый город описаний этой жизни, хочется дать картины из жизни обитающих и страдающих в многочисленных домах столицы людей.

Но недаром, описывая мечты своей юности, он упоминает, что любил, между прочим, воображать себя христианином из времен Нерона. Если бы этой христианской окраски его мечтаний не было, даваемые им картины были бы только тяжелыми и мрачными и его произведения действительно были бы тем, чем Михайловский любил изображать их в своих критических статьях, а Достоевский был бы маркизом де Садам, любящим лишь мучить себя и других изображениями самых тяжелых и невыносимых сторон жизни. Но христианская окраска мечтаний Достоевского вносит в описание людской жизни те светлые и радостные

черты, которые Михайловский намеренно не желает видеть и отрицает.

Когда Достоевский в холодный сумеречный час созерцает жизнь людей, его охватывает глубокая горячая жалость ко всем этим людям, он полон любви к ним и весь охвачен желанием и в нас пробудить такую же любовь. Он показывает нам, что они такие же люди, как мы, как бы низко они ни стояли на сословной лестнице. И давая нам картины нежной, полной внимания и участия любви какого-нибудь Макара Девушкина к Доброселовой, он проливает столько тихого счастья на жизнь этого человека, что нам становится понятным: хотя и важно богатство и положение в свете, но самый обездоленный все же может быть счастливым, если он весь проникнут той любовью к людям, какая когда-то охватывала бедного плотника из Назарета к его матери и его ученикам.

Теперь для Достоевского началось время, которое он семнадцать лет спустя в своем романе «Униженные и оскорбленные» называет счастливейшим временем своей жизни. В V главе первой части он пишет: «Если я былъ счастливъ когда-нибудь, то это [было] даже и не во время первыхъ упоительныхъ минутъ моего успѣха, а тогда, когда еще я не читалъ и не показывалъ никому моей рукописи: въ тѣ долгія ночи, среди восторженныхъ надеждъ и мечтаній и страстной любви къ труду; когда я сжился съ моей фантазіей, съ лицами, которыхъ самъ создалъ, какъ съ родными, какъ-будто съ дѣйствительно существующими; любилъ ихъ, радовался и печалился съ ними, а подѣ часъ даже и плакалъ самыми искренними слезами надъ незатѣйливымъ героемъ моимъ»¹³⁾.

Какова же была его внешняя жизнь в то время, когда он проводил ночи среди восторженных надежд и

¹³⁾ *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. IV. С. 26.

мечтаний? Об этом мы узнаем кое-что от жившего тогда с ним Григоровича, который в своих воспоминаниях рассказывает: «Около этого времени [1844–1845 гг.] я случайно встретился с Достоевским, <...> успевшим уже переменить военную форму на статское платье. <...> Я немедленно с воодушевлением рассказал ему о моих литературных знакомствах [Григорович тогда уже был знаком с Белинским и Некрасовым] и [о моих литературных] попытках и просил [Достоевского] сейчас же зайти ко мне, обещая прочесть ему теперешнюю мою работу [«Петербургские шарманщики»], на что он охотно согласился.

Он, по-видимому, остался доволен моим очерком, хотя и не распространялся в излишних похвалах; ему не понравилось только одно выражение в главе “Публика шарманщика”. У меня было написано так: когда шарманка перестает играть, чиновник из окна бросает пятак, который падает к ногам шарманщика. “Не то, не то, — раздраженно заговорил вдруг Достоевский, — совсем не то! У тебя выходит слишком *сухо*: пятак упал к ногам... Надо было сказать: пятак упал на мостовую, *звения и подпрыгивая*...” Замечание это — помню очень хорошо — было для меня *целым откровением*. Да, действительно: *звения и подпрыгивая* выходит *гораздо живописнее*, дорисовывает движение. Художественное чувство было в моей натуре; выражение: пятак упал не просто, а *звения и подпрыгивая*, — этих двух слов было для меня довольно, чтобы понять разницу между *сухим* выражением и живым, художественно-литературным приемом. <...>

В течение этого времени я чаще и чаще виделся с Достоевским. Кончилось тем, что мы согласились жить вместе, каждый на свой счет. Матушка посылала мне ежемесячно пятьдесят рублей; Достоевский получал от родных из Москвы почти столько же. [Если это было 50 рублей серебром, то это составляло на

наши теперешние деньги около 1000 марок, если же ассигнациями, то около 300 марок.] По тогдашнему времени, денег этих было бы за глаза для двух молодых людей; но деньги у нас не держались и расходились обыкновенно в первые две недели; остальные две недели часто приходилось продовольствоваться булками и ячменным кофеем, который тут же подле покупали мы в доме Фридерикса. Дом, где мы жили, находился на углу Владимирской и Графского переулка [то есть тот же дом, где Достоевский жил со своим младшим братом, но он переехал в другую квартиру после поступления брата в Строительный институт]; квартира состояла из кухни и двух комнат с тремя окнами, выходившими в Графский переулок; последнюю комнату занимал Достоевский, ближайшую к двери — я. Прислуги у нас не было, самовар ставили мы сами, за булками и другими припасами также отправлялись сами.

Когда я стал жить с Достоевским, он только что кончил перевод романа Бальзака “Евгения Гранде”. Бальзак был любимым нашим писателем <...> оба мы одинаково им зачитывались, считая его неизмеримо выше всех французских писателей <...>

Достоевский <...> [кончив перевод “Евгении Гранде”] просиживал целые дни и часть ночи за письменным столом. Он слова не говорил о том, что пишет <...> Я мог только видеть множество листов, исписанных тем почерком, который отличал Достоевского: буквы сыпались у него из-под пера точно бисер, точно нарисованные. <...> Как только Достоевский переставал писать, в его руках немедленно появлялась книга. Он одно время очень пристрастился к романам Ф. Сулье, особенно восхищали его “Записки демона”¹⁴⁾.

¹⁴⁾ *Чешихин-Ветринский* Вас. Е. Федор Михайлович Достоевский... Ч. 1. С. 36–37.

Мельхиор Фредерик Сулье (1800–1847) был современный Достоевскому французский писатель, который считался создателем французского фельетонного романа. Его роман «*Mémoires du diable*» вышел в 1837 году и сейчас же после этого печатался в русском переводе в журнале «Московский наблюдатель», где редакция, боясь цензуры, не смела называть роман его подлинным именем, а лишь переводила названия отдельных глав. Гроссман, упоминая в своей книге «Творчество Достоевского» о том, что писатель князь Одоевский также признавал «*Mémoires du diable*» замечательной книгой и что ею зачитывался и Гончаров, высказывает мнение, что отголоски этого чтения Достоевского можно уловить в «Братьях Карамазовых», где черт Ивана Карамазова, по словам Гроссмана, местами, несомненно, выдержан в стиле демона Сулье¹⁵⁾.

«Усиленная работа и упорное сиденье дома крайне вредно действовали на его [Достоевского] здоровье [продолжает Григорович], они усиливали его болезнь, проявлявшуюся несколько раз еще <...> в бытность его в училище. Несколько раз во время наших редких прогулок с ним случались припадки. Раз, проходя вместе с ним по Троицкому переулку, мы встретили похоронную процессию. Достоевский <...> [в это время] хотел вернуться назад, но, прежде чем успели мы отойти несколько шагов, с ним сделался припадок настолько сильный, что я с помощью прохожих принужден был перенести его в ближайшую мелочную лавку; насилию могли привести его в чувство. После таких припадков наступало обыкновенно угнетенное состояние духа, продолжавшееся дня два или три»¹⁶⁾.

¹⁵⁾ Гроссман Леонид. Творчество Достоевского. С. 37–40.

¹⁶⁾ Чешихин–Ветринский Вас. Е. Федор Михайлович Достоевский... Ч. 1. С. 37–38.

22-я лекция, 3 мая 1932 года

Прошлый раз, цитируя воспоминания Григоровича, я привел его слова о том, что денег он и Достоевский получали достаточно, но тратили их быстро¹⁾. Спрашивается, куда же уходили деньги Достоевского?

Если припомнить рассказ его младшего брата о том, что Достоевский играл в карты, и притом не только в вист и преферанс, но и в азартные игры²⁾, а также рассказы доктора Александра Егоровича Ризенкампа о проигрыше Достоевского в игре на бильярде и о таком же проигрыше в домино³⁾, то можно было бы вывести ложное заключение, что деньги Достоевского уходили на разного рода игры, в том числе и азартные. Портрет молодого Достоевского окажется в таком случае замаранным.

В действительности дело было не так. Младший брат Достоевского, живший более года у Достоевского, отмечает, что за весь этот год вечеринки у брата были не более трех-четырёх раз. Доктор Ризенкампф, тоже живший с Достоевским более полугода (сентябрь 1843—март 1844 г.⁴⁾), упоминает лишь о двух случаях игры (по разу в бильярд и в домино), и за остальное время знакомства (1838—1844 гг.)⁵⁾, когда он нередко бывал у Достоевского, не оставляет свидетельств о какой бы то ни было игре. Ничего об игре не пишет и Григорович, более года живший с Достоевским и до и после этого много раз его посещавший. Ничего об игре Достоевского не говорят в своих воспоминаниях Трутов-

¹⁾ *Чешихин—Ветринский* Вас. Е. Федор Михайлович Достоевский... Ч. 1. С. 37.

²⁾ *Достоевский* А. М. Воспоминания. С. 129.

³⁾ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 52—53 (первая пагинация).

⁴⁾ *Иб.* С. 51, 53.

⁵⁾ *Иб.* С. 34, 53.

ский, Савельев, Хлебников и Анненков, а Яновский, очень хорошо знавший Достоевского с 1846 года, рассказывает о 24-летнем тогда писателе: «В карты Федор Михайлович не <...> играл <...> и ненавидел игру. Вина и кутежа он был решительный враг»⁶⁾.

Мы можем поэтому определенно сказать, что у молодого Достоевского на игру уходило очень мало денег, ибо играл он так редко, лишь несколько раз, что большинство знавших его тогда людей и не подозревали об этой игре, так что тот же Яновский, в связи с упомянутыми только что словами, говорит: «В карты Федор Михайлович не только не играл, но не имел понятия ни об одной игре»⁷⁾.

Куда же в таком случае уходили деньги Достоевского, отчего он постоянно находился в нужде и почему так настойчиво весь 1844 год, то есть как раз тогда, когда начал сочинять свой первый роман, писал к мужу своей сестры Карепину, опекуну его младших сестер и братьев, о присылке денег⁸⁾. В своих воспоминаниях доктор Ризенкампф говорит, что Достоевский временами увлекался музыкой и драматическим театром, слушал дорогие концерты известных тогда Оле-Буля и Листа, знаменитого певца Рубини и кларнетиста Блаза, посещал оперу и т. д.⁹⁾ Яновский тоже отмечает, что Достоевский в 1846–1847 годах бывал в итальянской опере, отдавал предпочтение «Вильгельму Теллю», с наслаждением слушал «Дон Жуана» Моцарта, восхищался «Нормой» и был в восторге от «Гугенотов» Мейрбера¹⁰⁾. Однако Ризенкампф под-

⁶⁾ *Чешихин-Ветринский* Вас. Е. Федор Михайлович Достоевский... Ч. 1. С. 45.

⁷⁾ *Иб.*

⁸⁾ *Достоевский* А. М. Воспоминания. С. 384–396.

⁹⁾ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 49, 50 (первая пагинация).

¹⁰⁾ *Гроссман Леонид.* Достоевский на жизненном пути. С. 138.

черкивает, что Достоевский неоднократно в течение долгого времени совершенно отказывался от всяких удовольствий¹¹⁾.

И Ризенкампф и Яновский указывают совершенно иные причины частого безденежья Достоевского. С одной стороны, Достоевский, по свидетельству Ризенкампфа, отличался крайней непрактичностью и доверием к людям, часто обманывавшим и обкрадывавшим его¹²⁾, с другой стороны, он, по словам доктора Яновского, «наделен был сердцем до того добрым, сочувственным и щедрым, что <...> считал себя только тогда счастливым, когда мог помочь ближнему, причем о себе <...> решительно забывал»¹³⁾.

Приведу ряд относящихся сюда выписок.

Одна из первых квартир Достоевского была на Владимирской улице в доме почт-директора Пряничникова. Квартира была излишне велика, и отапливалась в ней всего лишь одна комната, в которой были только старый диван, рабочий стол и несколько стульев. Почему же, спрашивается, Достоевский взял такую большую квартиру, стоившую ему 1200 рублей ассигнациями, то есть около 7200 наших теперешних марок в год? «Все дело в том [пишет доктор Ризенкампф], что Федору Михайловичу очень понравился хозяин дома — известный любитель искусства, мягкий, обходительный, никогда не беспокоивший его насчет расплаты»¹⁴⁾.

В то же время у него был денщик, который, по мнению знакомых Достоевского, его все время обкрадывал, но «ему так нравилась благодушная физионо-

¹¹⁾ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 49, 50 (первая пагинация).

¹²⁾ *Иб.* С. 48, 51, 52.

¹³⁾ *Гроссман Леонид.* Достоевский на жизненном пути. С. 140.

¹⁴⁾ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 48 (первая пагинация).

мия его денщика Семена [говорит Ризенкампф], что на все предостережения от его долгих рук он преспокойно отвечал: “пусть себе ворует; не разорюсь я от этого”¹⁵⁾.

Старший брат его Михаил Михайлович, знавший непрактичность и расточительность брата, просил доктора Ризенкампфа «поселиться в Петербурге вместе с Федором Михайловичем и, по возможности, подействовать на него примером [своей] немецкой аккуратности. Вернувшись в Петербург в сентябре 1843 г., доктор Ризенкампф так и сделал. Застал он Федора Михайловича без копейки, кормящимся молоком и хлебом, да и то в долг, из лавочки. “Федор Михайлович <...> [пишет Ризенкампф] принадлежал к тем личностям, около которых живет все хорошо, но которые сами постоянно нуждаются. Его обкрадывали немилосердно, но, при своей доверчивости и доброте, он не хотел вникать в дело и обличать прислугу и ее приживалок, пользовавшихся его беспечностью”. Самое сожительство с доктором чуть было не обратилось для Федора Михайловича в постоянный источник новых расходов. Каждого бедняка, приходившего к доктору за советом, он готов был принять как дорогого гостя. “Принявшись за описание быта бедных людей, — говорил он, как бы в оправдание, — я рад случаю ближе познакомиться с пролетариатом столицы”. На поверку, однако же, оказалось, что громадные счета, подававшиеся в конце месяца даже одним булочником, зависят не столько от подобного гостеприимства Федора Михайловича, сколько от того, что его денщик Семен, находясь в интимных отношениях с прачкой, прокармливал не только ее, но и всю ее семью и целую компанию ее друзей — на счет своего барина. Мало того: вскоре раскрылась и подобная же причина быстрого таяния белья, ремонтировавшегося каждые

¹⁵⁾ Иб.

три месяца, т. е. при каждой получке денег из Москвы. Но точно так же, как в денщике, пришлось разочаровать Федора Михайловича в его портном, сапожнике, цирюльнике и т. д., а равным образом доводить его до сознания, что и в числе угощаемых им посетителей далеко не все заслуживали участия»¹⁶⁾.

Особенное внимание Достоевского «остановил на себе один молодой человек, более долгое время пользовавшийся советами г. Ризенкампа, — брат фортепьянного мастера Келлера. Это был, рассказывает доктор, вертлявый, угодливый, почти оборванный немчик, по профессии — комиссионер, а в сущности — приживалка. Заметив беззаветное гостеприимство Федора Михайловича, он сделался одно время ежедневным его посетителем — к чаю, обеду и ужину, и Федор Михайлович терпеливо выслушивал его рассказы о столичных пролетариях. Нередко <...> [Достоевский] записывал слышанное и г. Ризенкампф впоследствии убедился, что кое-что из келлеровского материала отразилось потом на романах “Бедные люди”, “Двойник”, “Неточка Незванова” и т. д.»¹⁷⁾

В марте месяце 1844 г. «Ризенкампу пришлось оставить Петербург, [так и] не успев приучить Федора Михайловича к немецкой аккуратности и практичности»¹⁸⁾.

Яновский в своих воспоминаниях пишет: Достоевский «все почти свои деньги раздавал тем, кто был хоть сколько-нибудь беднее его; иногда же и просто таким, которые были хотя и не беднее его, но умели выманить у него деньги как у добряка безграничного»¹⁹⁾. «Когда я припоминаю себе все, что воскресает во мне с именем Федора Михайловича [продолжает

¹⁶⁾ *Иб.* С. 51–52.

¹⁷⁾ *Иб.* С. 52.

¹⁸⁾ *Иб.* С. 53.

¹⁹⁾ *Чешихин–Ветринский Вас. Е.* Федор Михайлович Достоевский... Ч. 1. С. 45.

Яновский], т. е. его беспредельную гуманность, <...> когда я вспоминаю о том, как он любил ближнего и как постоянно стремился быть ему полезным <...> я представляю [всегда] себе его кроткий, со сжатыми вплотную губами образ, похожий на Сократа»²⁰⁾. «Федор Михайлович всегда был печальником, утешителем и защитником бедных»²¹⁾.

При этом он, подобно своему любимому французскому писателю Бальзаку, любил строить планы к быстрому обогащению, но в то время как Бальзак при этом главным образом думал лишь о собственном своем обогащении, Достоевский, по словам Яновского, «строил разные воздушные планы к обогащению», главным образом не себя, а для того чтобы иметь возможность «помогать бедным не гривенниками или билетами на даровой обед, а в грандиозных кушах и способах»²²⁾.

Эта последняя часть воспоминаний доктора Яновского для нас очень важна, потому что 1) она рассказывает одну из причин позднейшей игры Достоевского на рулетке в 60-х и 70-х годах — Достоевский желал во что бы то ни стало разбогатеть, чтобы расплатиться с долгами своего старшего брата и иметь возможность как следует помочь всей его семье, своему пасынку и младшему брату Николаю, и 2) она показывает нам, что Достоевский в сущности описывает себя самого, когда в «Житии великого грешника» и в «Подростке» влагает в уста своих героев мечты о богатстве как средстве грандиозной помощи бедным.

Из приводимых Яновским примеров помощи бедным упомяну здесь лишь один как весьма показательный. «Из всех записок, мною полученных от Федора Михайловича [вспоминает Яновский], в особенности инте-

²⁰⁾ *Иб.* С. 47.

²¹⁾ *Иб.* С. 49.

²²⁾ *Гроссман Леонид.* Достоевский на жизненном пути. С. 139.

ресна была одна, в которой он из Парголова уведомлял меня, проживавшего в Павловске, о том, что <...> он сильно занят сбором денег по подписке в пользу одного несчастного пропойцы, который, не имея на что выпить, а потом напиться и, наконец, опохмелиться, ходит по дачам и предлагает себя *посечься* за деньги. Рассказ Федора Михайловича был верх совершенства в художественном отношении; в нем было столько гуманности, столько участия к бедному пропойце, что невольно слеза прошибала, но было немало и того юмора и той преследующей зло беспощадности, которые были в таланте Федора Михайловича»²³⁾.

Говоря о той помощи, которую Достоевский оказывал другим, не следует, конечно, забывать все те деньги, которые уходили у него на братьев. Правда, опекун младших братьев Карепин посылал Достоевскому деньги на прожившего у него более года Андрея Михайловича, но, зная характер Достоевского, можно почти наверное сказать, что он на брата расходовал больше, чем получал, — не только во время болезни Андрея на доктора и лекарства и в остальное время те четвертаки (т. е. теперешние 5 марок) на театральные билеты, которые, по словам Андрея, Достоевский ему «презентовал»²⁴⁾, но и на многое другое.

Вы помните, конечно, письмо Достоевского к старшему брату Михаилу от 22 декабря 1841 года, в котором Достоевский много раз извиняется, что может послать брату к свадьбе лишь «безделицу»²⁵⁾, а между тем эта «безделка» была по теперешним нашим деньгам три тысячи марок. В ноябре 1842 г. получено было из Ревеля известие о рождении у брата Михаила Михайловича сына Федора. Федор Михайлович был

²³⁾ Чешихин—Ветринский Вас. Е. Федор Михайлович Достоевский... Ч. 1. С. 45.

²⁴⁾ Достоевский А. М. Воспоминания. С. 129.

²⁵⁾ Достоевский Ф. М. Письма. Т. I. С. 64—65.

крестным его отцом и, по замечанию доктора Ризенкампа, «проявил по этому случаю свою обычную щедрость»²⁶⁾. Эту «обычную щедрость» Достоевский, конечно, проявлял неоднократно по отношению к своим родственникам.

Мы знаем теперь внешнюю историю жизни молодого Достоевского до и во время написания им «Бедных людей»; нам остается лишь проследить по его письмам, как он создавал этот свой роман.

30 сентября 1844 года Достоевский, как вы помните, писал брату: «Я кончаю *роман* [курсив Достоевского] в объеме Eugénie Grandet. Роман довольно оригинальный. Я его уже переписываю, и к 14-му [октября] я наверно уже и ответ получу за него. Отдам в О<течественные> З<аписки>. (Я моей работой доволен). Получу может быть рублей 400 [теперь 8000 марок] вот и все надежды мои»²⁷⁾. А в конце письма прибавляет: «Я чрезвычайно доволен романом моим. Не нарадуюсь»²⁸⁾.

Это первые слова Достоевского о том романе, который через 8–9 месяцев должен был принести ему столько похвал и упоения ими. Но в течение этих 8–9 месяцев Достоевский много раз меняет свое мнение о своем труде; «почти готовый роман», о котором он думал уже через две недели получить ответ из «Отечественных записок», переделывается им несколько раз, и автор никак не может решиться признать его достаточно хорошим для того, чтобы отдать в печать.

В тех двух письмах, которые он в это время посылает брату Михаилу, отлично отражается это его колебание. 24 марта 1845 года, т. е. почти через полгода, он пишет брату о романе: «Кончил я его совершенно

²⁶⁾ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 50 (первая пагинация).

²⁷⁾ *Достоевский Ф. М.* Письма. Т. I. С. 73.

²⁸⁾ *Иб.* С. 74.

чуть ли еще не в ноябре месяце [значит, на окончательную отделку "почти готового" 30 сентября романа ушло два месяца], но в декабре вздумал его весь переделать [2-я редакция]; переделал и переписал, но в феврале начал опять снова обчищать, обглаживать, вставлять и выпускать [3-я редакция]. Около половины марта я был готов и доволен. Но тут другая история: цензора не берут менее чем на месяц. Раньше отцензировать нельзя. Они-де работой завадены. Я взял назад рукопись [и взял, надо полагать, с радостью, довольный тем, что вновь будет случай перечитать и переработать], не зная на что решиться. Ибо кроме четырехнедельного цензурования печать съест тоже недели три. Выйдет к маю месяцу. Поздно будет! Тут меня начали толкать и направо и налево чтобы отдать мое дело в Отечеств. Записки. Да пустяки. Отдашь, да не рад будешь. Во-первых и не прочтут, а если прочтут так через полгода.

Там рукописей довольно и без этой. Напечатают, денег не дадут. <...> Я решился на отчаянный скачок: ждать, войти пожалуй опять в долги и к 1-му сентября, когда все переселятся в Петербург и будут как гончие собаки искать носом чего-нибудь новенького, тиснуть на последние крохи, которых может быть и не достанет, мой роман. Отдавать вещи в журнал значит идти под ярем не только главного Maitre d'hôtel'я, но даже всех чумичек и поваренков, гнездящихся в гнездах, откуда распространяется просвещение. Диктаторов не один: их штук двадцать. Напечатать самому, значит пробиться вперед грудью, и если вещь хорошая то она не только не пропадет, но окупит меня от долговой кабалы и даст мне есть. <...> как бы то ни было, а я дал клятву, что коль и до зарезу будет доходить, — крепиться и не писать на заказ. Заказ задавит, загубит все»²⁹⁾.

²⁹⁾ Ib. С. 74–75.

И за этим следуют слова писателя, дорожащего прежде всего качеством своего труда, а затем славой и известностью. «Я хочу чтобы каждое произведение мое было отчетливо хорошо. Взгляни на Пушкина, на Гоголя. Написали не много, а оба ждут монументов. И теперь Гоголь берет за печатный лист 1000 рублей сереб<ром> [20.000 наших марок], а Пушкин как ты сам знаешь продавал 1 стих по червонцу [200 теперешних марок]. За то слава их, особенно Гоголя, была куплена годами нищеты и голода. Старые школы исчезают. Новые мажут, а не пишут. Весь талант уходит в один широкий размах, в котором видна чудовищная недоделанная идея и сила мышц размаха, а дела крошечку. Béganger сказал про нынешних фельетонистов французских что это бутылка Chambertin в ведре воды. У нас им тоже подражают. Рафаэль писал года, отделявал, отнизывал, и выходило чудо, боги создавались под его рукою. Vernet [теперь] пишет в месяц картину, для которой заказывают особенных размеров залы, перспектива богатая, наброски, размашисто, а дела нет ни гроша. Декораторы они!

Моим романом я серьезно доволен [одобряет он себя самого; но сейчас же прибавляет:] Есть впрочем ужасные недостатки»³⁰⁾.

Сомнения в своих силах, в своем даровании и возможности пробиться снова охватывают его, и он пишет: «Если мое дело не удастся я может быть повешусь». И в конце письма он прибавляет: «В Инвалиде, в фельетоне, только что прочел о немецких поэтах, умерших с голоду, холоду и в сумасшедшем доме. Их было штук 20, и какие имена! Мне до сих пор как-то страшно. Нужно быть шарлатаном...»³¹⁾ (чтобы иметь успех!)

³⁰⁾ Ib. С. 75.

³¹⁾ Ib. С. 76.

Через полтора месяца, 4 мая 1845 года, Достоевский начинает письмо объяснением того, отчего он все еще не решился отдать роман в печать: «Извини что так давно не писал к тебе. Я до сей самой поры был чертовски занят. Этот мой роман, от которого я никак не могу отвязаться, задал мне такой работы, что если бы знал, так не начинал бы его совсем. Я вздумал его еще раз переправлять [это уже 4-я редакция!] и ей-Богу к лучшему; он чуть ли не вдвое выиграл. Но уж теперь он кончен и эта переправка была последняя. Я слово дал до него не дотрогиваться [уверяет он себя и начинает защищать себя перед братом в том, что все еще не отдал своего произведения в печать:] Участь первых произведений всегда такова: их переправляешь до бесконечности. Я не знаю, была ли Atala Chateaubrian'a его первым произведением, но он, помнится, переправлял ее 17 раз. Пушкин делал такие переправки даже с мелкими стихотворениями. Гоголь лошит свои чудные создания по два года и если ты читал Voyage Sentimental [“Сентиментальное путешествие”] Stern'a, — крошечную книжечку, то ты помнишь что Valter Scott в своем Notice о Стерне говорит, ссылаясь на авторитет Ла-Флёра, слуги Стерна <...> что барин его исписал чуть ли не сотню дестей бумаги о своем путешествии во Францию. Ну спрашивается, куда это пошло? — Все-то это составило книжончку, которую хороший писака как Плюшкин напр. уместил бы на полудести. Не понимаю каким образом этот же самый Вальтер Скотт мог в несколько недель писать такие, вполне оконченные создания, как Маннеринг, например! Может быть оттого что ему было 40 лет»³²⁾. Затем Достоевский опять начинает колебаться, выпускать ли ему свой роман отдельным изданием или отдать в журнал. «Мне говорят толковые

³²⁾ *Иб.* С. 77.

люди, что я пропаду если напечатаю мой роман отдельно. Говорят положим книга будет хороша, очень хороша. Но вы не купец. — Как вы будете публиковать о нем. В газетах что ли? Нужно непременно иметь на своей руке книгопродавца; а книгопродавец себе на уме; он не станет себя компрометировать объявлениями о неизвестном писателе. Он потеряет кредит <...> Каждый из порядочных книгопродавцев хозяин нескольких журналов и газет. В журналах и газетах участвуют первейшие литераторы или претендующие на первенство. Объявляют о новой книге — в журнале скрепляют их подписью, а это много значит! След<овательно> книгопродавец поймет, когда ты придешь к нему с своим напечатанным товаром, что он может прижать тебя до нельзя. <...>

И так я решил обратиться к журналам и отдать мой роман за бесценок — разумеется в Отечеств. Записки. Дело в том что Отечеств. Записки расходятся в 2500 экземплярах, след. читают их по крайней мере 100.000 человек>. Напечатай я там — моя будущность литературная, жизнь — все обеспечено. Я [и] вышел [тогда] в люди. Мне в От<ечественные> Записки всегда [потом] доступ, я всегда с деньгами, а в добавок, пусть выйдет мой роман положим в августовском номере или в сентябре, [и] я в октябре перепечатаваю его на свой счет [отдельным изданием], уже в твердой уверенности, что роман раскупят, те которые покупают романы. К тому же, объявления мне не будут стоить ни гроша. Вот дело какое!»³³⁾

Потом Достоевского снова охватывают сомнения, и он кончает письмо словами: «А не пристрою романа, так может быть и в Неву. Что же делать? Я уж думал обо всем! Я не переживу смерти моей *idée fixe*!»³⁴⁾

³³⁾ Ib. С. 77–78.

³⁴⁾ Ib: С. 79.

Так проходит время в постоянных колебаниях в течение 8–9 месяцев с того самого момента, как Достоевский кончал свою первую редакцию. Достоевскому хотелось привести свой роман в лучший вид. Иногда он был им доволен.

Но потом его снова охватывали сомнения, он начинал вновь перечитывать текст и или совсем перерабатывал его заново, или подвергал тщательной отделке. В то же время он колебался, отдать ли свой труд в редакцию какого-нибудь журнала или напечатать собственным изданием.

И Бог знает, сколько времени продолжались бы его колебания и скольким переработкам подверг бы он еще свой роман, если бы сожигатель его Григорович почти насильно не вырвал из рук его рукопись и не отнес бы ее к Некрасову, но об этом в следующий раз.

23-я лекция, 10 мая 1932 года

К маю 1845 года роман «Бедные люди» был переписан в пятый раз.

В следующем 1846 году 28-летний врач Степан Дмитриевич Яновский, познакомившийся с Достоевским через пациента своего — будущего писателя Владимира Николаевича Майкова¹⁾, составил следующее описание наружности 24-летнего тогда Достоевского: «Вот буквально верное описание наружности того Федора Михайловича, каким он был в 1846 году: роста он был ниже среднего, кости имел широкие и в особенности широк был в плечах и в груди: голову имел пропорциональную, но лоб чрезвычайно развитой с особенно выдававшимися лобными возвышениями, глаза небольшие, светло-серые и чрезвычайно живые, гу-

¹⁾ Достоевский: Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долгина. Вып. II. С. 366. Влад. Ник. Майков — 1826–1885.

бы — тонкие и постоянно сжатые, придававшие всему лицу выражение какой-то сосредоточенной доброты и ласки; волосы у него были более чем светлые, почти беловатые и чрезвычайно тонкие и мягкие, кисти рук и ступни ног примечательно большие. <...> удары сердца [его] были не совершенно равномерны, а пульс был неровный и замечательно сжатый, как бывает у женщин и у людей нервного темперамента. <...> череп же Федора Михайловича сформирован был <...> великолепно. Его обширный, сравнительно с величиною всей головы, лоб, резко выделявшиеся лобные пазухи и далеко выдававшиеся окраины глазниц при совершенном отсутствии возвышений в нижней части затылочной кости делали голову Федора Михайловича похожую на Сократову. <...>

Во всех своих суждениях Федор Михайлович поражал меня, равно как и других в то время наших знакомых, особенною верностью своих взглядов, обширною, сравнительно с нами (хотя все мы были с университетской подготовкой и люди читавшие), начитанностью и до того глубоким анализом, что мы невольно верили его доказательствам, как чему-то конкретному, осязаемому. <...>

Федор Михайлович был [тогда] человек сосредоточенный, мыслитель глубокий <...> и в то же время патриот и верующий <...> призвание его было изучать болезнь души и помочь ей стать в здоровые условия; вернейшее лекарство у него всегда была молитва. Молился он не за одних невинных, но и за заведомых грешников.

Федор Михайлович никогда, даже в шутку, не позволял себе не только солгать, но обнаруживать чувство брезгливости ко лжи, нечаянно сказанной другим. Я помню, как-то раз весь кружок близких Федору Михайловичу людей собрался вечером у А<лексея>

Н<иколаевича> Плещеева²⁾ [1826–1897]. <...> Во время этого разговора кто-то в совершенно шуточном тоне, защищая <...> [известного в литературных кругах лгуна], сказал: “Ну, ему можно извинить, так как он хоть и прижимает нашего брата, сотрудника, но все-таки платит и не обсчитывает, а что иногда солжет, то это не беда, так как и в Евангелии сказано, что иногда и ложь бывает во спасение”. Услыхав эти слова, Ф. М. [много перед этим говоривший] тотчас замолчал, сильно сосредоточился и во все остальное время только и повторял нам, близко к нему находившимся: “Вот оно что, даже и на Евангелие сослался; а ведь это неправда, в Евангелии—то этого не сказано! Когда слышишь, что человек лжет, то делается гадко, но когда он лжет и клеветает на Христа, то это выходит и гадко и подло”»³⁾.

Приводя этот портрет молодого Достоевского, оставленный нам Яновским, бывшим одно время чуть ли не ежедневно вместе с Достоевским⁴⁾, хотя и не всегда точным в своих рассказах (достаточно вспомнить, как он говорит, что Достоевский «не только не играл, но не имел понятия ни об одной игре и ненавидел игру»), я хочу в этой связи обратить ваше внимание на то, что Достоевский, судя по этому портрету, уже до каторги был глубоко религиозный, любивший Христа и хорошо знавший Евангелие человек.

Как мы видели, Яновский познакомился с Достоевским в 1846 году. Между временем этого знакомства и временем окончания «Бедных людей» прошло всего

²⁾ Достоевский познакомился с ним, вероятно, в 1846 году (см.: *Достоевский Ф. М. Письма*. Т. I. С. 503).

³⁾ *Чешихин-Ветринский Вас. Е.* Федор Михайлович Достоевский... Ч. 1. С. 43, 44, 47, 49.

⁴⁾ См.: Достоевский: Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Вып. II. С. 381.

около года, но как много этот год значил в жизни Достоевского.

Из никому не известного инженерного поручика в отставке он стал общепризнанным первоклассным писателем, членом кружков Белинского и Майкова, приятелем лучших тогдашних литераторов, человеком, знакомства которого все искали и который за этот год прошел все упоение вполне заслуженной славы. То, что произошло в первые недели этого столь богатого в жизни Достоевского года, известно нам по воспоминаниям самого Достоевского, Григоровича и Анненкова. Рассказывает об этом и Некрасов в пародийной повести «Каменное сердце», не так давно изданной Чуковским.

Их рассказы нередко расходятся между собой, и точно восстановить историю этих нескольких недель теперь почти невозможно, трудно даже сказать, на кого мы можем более положиться при передаче относящихся сюда событий. При пародийности повести Некрасова нельзя, конечно, рассчитывать на ее точность. Григорович известен своими многочисленными ошибками, а Достоевский, при своей болезни, нередко вредно отражавшейся на его памяти, мог многое и позабыть, когда писал о том, что произошло более тридцати лет до его воспоминаний. При пользовании подобными материалами, без сомнения, трудно избежать ряда ошибок, но для нас в данном случае важна не столько внешняя канва событий, сколько передача внутренней значительности переживаний Достоевского, которую описывают довольно согласно все имеющиеся у нас источники.

«Раз утром (это было летом) [вспоминает Григорович⁵⁾] Достоевский зовет меня в свою комнату; войдя к нему, я застал его сидящим на диване, служившем

⁵⁾ По воспоминаниям Достоевского, это было в мае 1845 года (см.: Полн. собр. соч. Т. XI. С. 29).

ему также постелью; перед ним на небольшом письменном столе лежала довольно объемистая тетрадь почтовой бумаги большого формата, с загнутыми полями и мелко исписанная.

— Садись-ка, Григорович; вчера только что переписал; хочу прочесть тебе; садись и не перебивай, — сказал он с необычною живостью.

То, что он прочел мне, в один присест и почти не останавливаясь, явилось [вскоре] в печати под названием “Бедные люди”.

Я был всегда высокого мнения о Достоевском; его начитанность, знание литературы, его суждения, серьезность характера действовали на меня внушительно; мне часто приходило в голову, как могло случиться, что я успел уже написать кое-что, это кое-что было напечатано, [и] я считал уже себя некоторым образом литератором, тогда как Достоевский ничего еще не сделал по этой части? С первых страниц “Бедных людей” я [однако] понял, насколько то, что было написано Достоевским, было лучше того, что я сочинял до сих пор; такое убеждение усиливалось по мере того, как продолжалось чтение. Восхищенный донельзя, я несколько раз порывался броситься ему на шею; меня удерживала только его нелюбовь к шумным, выразительным излияниям; я не мог, однако ж, спокойно сидеть на месте и то и дело прерывал чтение восторженными восклицаниями. <...> я силой почти взял рукопись “Бедных людей” и отнес ее Некрасову»⁶⁾.

Впоследствии Григорович рассказал Достоевскому, что они с Некрасовым взяли вечером рукопись и «стали читать, на пробу: “С десяти страниц видно будет”. Но, прочтя десять страниц, решили прочесть еще десять, а затем, не отрываясь, просидели уже всю ночь до утра, читая вслух и чередуясь, когда один уставал.

⁶⁾ *Чешихин-Ветринский* Вас. Е. Федор Михайлович Достоевский... Ч. 1. С. 38.

Читает <...> [Некрасов] про смерть студента [Покровского] <...> и вдруг <...> в том месте, где отец за гробом бежит, у Некрасова голос прерывается, раз и другой, и вдруг не выдержал, стукнул ладонью по рукописи: «Ах, чтоб его!» <...> и этак <...> всю ночь»⁷⁾.

«На последней странице, когда старик Девушкин прощается с Варенькой, я не мог больше владеть собою и начал всхлипывать; я украдкой взглянул на Некрасова: по лицу у него также текли слезы»⁸⁾.

«Когда <...> кончили (семь печатных листов!)»⁹⁾, «я стал горячо убеждать <...> [Некрасова] в том, что хорошего дела никогда не надо откладывать, что следует сейчас же отправиться к Достоевскому, несмотря на позднее время (было около четырех часов утра), сообщить ему об успехе и сегодня же условиться с ним насчет печатания его романа»¹⁰⁾.

«Что ж такое, что спит, мы разбудим его, *это* [курсив подлинника] выше сна!»¹¹⁾

«Некрасов, изрядно также возбужденный, согласился, наскоро оделся, и мы отправились»¹²⁾.

Между тем Достоевский, расставшись с своею рукописью, находился в сильном возбуждении, думая о том, как отнесется к его роману сперва Некрасов, а потом Белинский. В своих воспоминаниях он пишет: «Я мало думалъ объ успехѣ <...> [и] боялся [той партии журнала “Отечественные записки”, к которой принадлежали Белинский и Некрасов]. Бѣлинскаго я чи-

⁷⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. XI. С. 30.

⁸⁾ Чешихин-Ветринский Вас. Е. Федор Михайлович Достоевский... Ч. 1. С. 38.

⁹⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. XI. С. 30.

¹⁰⁾ Чешихин-Ветринский Вас. Е. Федор Михайлович Достоевский... Ч. 1. С. 38.

¹¹⁾ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. XI. С. 30.

¹²⁾ Чешихин-Ветринский Вас. Е. Федор Михайлович Достоевский... Ч. 1. С. 38.

таль уже нѣсколько летъ съ увлеченіемъ, но онъ мнѣ казался грознымъ и страшнымъ и — “осмѣетъ онъ моихъ «Бѣдныхъ людей»”! — думалось мнѣ иногда. Но лишь иногда: писалъ я ихъ со страстью, почти со слезами — “неужто все это, всѣ эти минуты, которыя я пережилъ съ перомъ въ рукахъ надъ этой повѣстью, — [неужто] все это ложь, миражъ, невѣрное чувство?” Но думалъ я такъ, разумѣется, только минутами и мнительность немедленно возвращалась. Вечеромъ того же дня, какъ я отдалъ рукопись, я [не в состоянии перенести охватившее волнение] пошелъ куда-то далеко къ одному изъ прежнихъ товарищей; мы всю ночь проговорили съ нимъ о “Мертвыхъ душахъ” и читали ихъ, въ который разъ не помню. Тогда это бывало между молодежью: сойдутся двое или трое: “а не почитать ли намъ, господа, Гоголя!” — садятся и читаютъ, и, пожалуй, всю ночь. <...> Воротился я домой уже въ четыре часа, въ бѣлую, свѣтлую какъ днемъ петербургскую ночь. Стояло прекрасное теплое время, и, войдя къ себѣ въ квартиру, я спать не легъ, отворилъ окно и селъ у окна. Вдругъ звонокъ, чрезвычайно меня удивившій, и вотъ Григоровичъ и Некрасовъ бросаются обнимать меня, въ совершенномъ восторгѣ, и оба чуть сами не плачутъ»¹³⁾.

Не надо забывать, что Достоевскому тогда было всего 23 года 7 месяцев, а Некрасов был на несколько недель и Григорович на 5 месяцев моложе.

«Они побыли у меня тогда съ полчаса, въ полчаса мы Богъ знаетъ сколько переговорили, съ полслова понимая другъ друга, съ восклицаніями, торопясь; говорили и о поэзій, и о правдѣ, и о “тогдашнемъ [политическомъ] положеніи”, разумѣется, и о Гоголѣ, цитуя изъ “Ревизора” и изъ “Мертвыхъ душъ”, но главное, о Бѣлинскомъ. “Я ему сегодня же снесу вашу повѣсть

¹³⁾ *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. XI. С. 29–30.

и вы увидите, — да вѣдь человѣкъ-то, человѣкъ-то [он] какой! Вотъ вы познакомитесь, увидите, какая это душа!” — восторженно говорилъ Некрасовъ, тряся меня за плечи обѣими руками. “Ну, теперь спите, спите, мы уходимъ, а завтра къ намъ!” Точно я могъ заснуть послѣ нихъ! Какой восторгъ, какой успѣхъ, а главное — чувство было дорого, помню ясно: “У иного успѣхъ, ну хвалятъ, встрѣчаютъ, поздравляютъ, а вѣдь эти прибѣжали со слезами, въ четыре часа [утра], разбудить, потому что это выше сна... Ахъ, [как] хорошо!” Вотъ чтò я думалъ, какой тутъ сонъ!

Некрасовъ снесъ рукопись Бѣлинскому въ тотъ же день [надо помнить, что и Белинскому тогда было лишь 34 года]. Онъ благоговѣлъ передъ Бѣлинскимъ и, кажется, всѣхъ больше любилъ его всю свою жизнь. <...> Несмотря на всю тогдашнюю молодость Некрасова и на разницу [в 11] лѣтъ ихъ, между ними навѣрно ужъ и тогда бывали такія минуты и уже сказаны были такія слова, которыя вліяютъ навѣкъ и связываютъ неразрывно. “Новый Гоголь явился!” — закричалъ Некрасовъ, входя къ нему [Белинскому] съ “Бѣдными людьми”. — “У васъ Гоголи-то какъ грибы растутъ”, строго замѣтилъ ему Бѣлинскій, но рукопись взялъ¹⁴⁾.

Тогда же к Белинскому зашел друг Тургенева писатель Павел Васильевич Анненков (1813–1887) и так впоследствии передал в своих воспоминаниях «Замечательное десятилетие» свой разговор с критиком: «В одно из моих посещений Белинского, перед обедом, когда он отдыхал от утренних писательских работ, я со двора дома увидел его у окна гостиной с большой тетрадью в руках и со всеми признаками волнения на лице. Он тоже заметил меня и прокричал: “Идите скорее, сообщу новость...” “Вот от этой

¹⁴⁾ Иб. С. 30, 31.

самой рукописи, — продолжал он, поздоровавшись со мною, — которую вы видите, не могу оторваться второй день. Это — роман начинающего таланта: каков этот господин с виду и каков объем его мысли — еще не знаю, а роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не снились никому. Подумайте, это первая попытка у нас социального романа, и сделанная притом так, как делают обыкновенно художники, то есть не подозревая и сами, что у них выходит. Дело тут простое: нашлись добродушные чудачки, которые полагают, что любить весь мир есть необычайная приятность и обязанность для каждого человека. Они ничего и понять не могут, когда колесо жизни со всеми ее порядками, наехав на них, дробит им молча члены и кости. Вот и все, — а какая драма, какие типы! Да, я и забыл вам сказать, что художника зовут Достоевский, а образцы его мотивов представлю сейчас”. И Белинский принялся с необычайным пафосом читать места, наиболее поразившие его, сообщая им еще большую окраску своей интонацией и нервной передачей»¹⁵⁾.

Когда Некрасов опять зашел к нему, «то Бѣлинскій встрѣтилъ его “просто въ волненіи”: “Приведите, приведите его скорѣе!”

И вотъ [продолжаетъ Достоевскій свои воспомина- ния] (это, стало быть, уже на третій день) меня привели къ нему. Помню, что на первый взглядъ меня очень поразила его наружность, его носъ, его лобъ; я представлялъ его себѣ почему-то совсѣмъ другимъ — “этого ужаснаго, этого страшнаго критика”. Онъ встрѣтилъ меня чрезвычайно важно и сдержанно. “Что жъ, оно такъ и надо”, подумалъ я, но не прошло, кажется, и минуты, какъ все преобразилось: [да и самая] важ-

¹⁵⁾ *Чешихин-Ветринскій Вас. Е.* Федор Михайлович Достоевскій... Ч. 1. С. 41–42.

ность была не лица, не великаго критика, встрѣчающаго двадцати-двухъ-лѣтняго начинающаго писателя, а, такъ сказать, изъ уваженія его къ тѣмъ чувствамъ, которыя онъ хотѣлъ мнѣ излить какъ можно скорѣе, къ тѣмъ важнымъ словамъ, которыя чрезвычайно торопился мнѣ сказать. Онъ заговорилъ пламенно, съ горящими глазами: “Да вы понимаете ль сами-то, — повторилъ онъ мнѣ нѣсколько разъ... — что это вы такое написали!” Онъ вскрикивалъ всегда, когда говорилъ въ сильномъ чувствѣ. “Вы только непосредственнымъ чутьемъ, какъ художникъ, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы намъ указали? Не можетъ быть, чтобы вы въ ваши двадцать лѣтъ ужъ это понимали. Да вѣдь этотъ вашъ несчастный чиновникъ [Макар Девушкин] — вѣдь онъ до того заслужился и до того довелъ себя уже самъ, что даже и несчастнымъ-то себя не смѣетъ почестъ отъ приниженности и почти за вольнодумство считаетъ малѣйшую жалобу, даже права на несчастье за собой не смѣетъ признать, и, когда добрый человѣкъ, его генераль, даетъ ему эти сто рублей — онъ раздробленъ, уничтоженъ отъ изумленія, что такого какъ онъ могъ пожалѣть “Ихъ Превосходительство”, не его превосходительство, а “ихъ превосходительство”, какъ онъ у васъ выражается! А эта оторвавшаяся пуговица, эта минута цѣлованія генеральской ручки, — да вѣдь тутъ ужъ не сожалѣніе къ этому несчастному, а ужасъ, ужасъ! Въ этой благодарности-то его ужасъ! Это трагедія! Вы до самой сути дѣла дотронулись, самое главное разомъ указали. Мы публицисты и критики только разсуждаемъ, мы словами стараемся разяснить это, а вы, художникъ, одною чертой, разомъ въ образѣставляете самую суть, чтобъ ощупать можно было рукой, чтобъ самому неразсуждающему читателю стало вдругъ все понятно! Вотъ тайна художественности, вотъ правда

въ искусствѣ! Вотъ служеніе художника истинѣ! Вамъ правда открыта и возвѣщена какъ художнику, досталась какъ даръ, цѣните же вашъ даръ и оставайтесь вѣрнымъ [ему] и будете великимъ писателемъ!..”

Все это онъ тогда говорилъ мнѣ. <...> Я вышелъ отъ него въ упоеніи. Я остановился на углу его дома, смотрѣлъ на небо, на свѣтлый день, на проходившихъ людей и весь, всѣмъ существомъ своимъ ощущалъ, что въ жизни моей произошелъ торжественный моментъ, переломъ навѣки, что началось что-то совсѣмъ новое, но такое, чего я и не предполагалъ тогда даже въ самыхъ страстныхъ мечтахъ моихъ. (А я былъ тогда страшный мечтатель). “И неужели вправду я такъ великъ”, стыдливо думалъ я про себя въ какомъ-то робкомъ восторгѣ. О, не смѣйтесь, никогда потомъ я не думалъ, что я великъ, но тогда — развѣ можно было это вынести! “О, я буду достойнымъ этихъ похвалъ, и какіе люди, какіе люди! Вотъ гдѣ люди! Я заслужу, постараюсь стать такимъ же прекраснымъ, какъ они, пребуду “вѣренъ”! [своему дару] О, какъ я [на самомъ деле ничтожен и] легкомысленъ, и если бѣ Бѣлинскій только узналъ, какія во мнѣ есть дрянныя, постыдныя вещи! А все говорятъ, что эти литераторы горды, самолюбивы. Впрочемъ, этихъ людей только и есть въ Россіи, они “одни, но у нихъ однихъ истина, а истина, добро, правда всегда побѣждаютъ и торжествуютъ надъ порокомъ и зломъ, мы победимъ; о, къ нимъ, съ ними!”

Я это все думалъ, я припоминаю ту минуту въ самой полной ясности. И никогда потомъ я не могъ забыть ее. Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я въ каторгѣ, вспоминая ее, укрѣплялся духомъ. Теперь еще [через 30 лет] вспоминаю ее каждый разъ съ восторгомъ»¹⁶⁾.

На этомъ мы оставимъ молодого Достоевского.

¹⁶⁾ *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. XI. С. 31–33.

Эти минуты его жизни до некоторой степени напоминают те, которые пережил 15-летний лицеист Пушкин, когда общепризнанный ветеран поэзии Державин на празднике в Царском Селе благословил его в свои преемники.

Но для 23-летнего Достоевского, пережившего перед этим столько месяцев колебаний и сомнений в своих силах и успевшего стать гораздо более зрелым, чем мальчик Пушкин, эти минуты были полны еще более глубокого, более значительного, более важного содержания.

А для нас, желающих понять и осмыслить все источники светлых и жизнерадостных впечатлений Достоевского, минуты эти, пережитые так интенсивно, выпукло и ярко, еще более важны. Молодой человек, переживший это, должен был сохранить на всю жизнь сильную радостную память, которая не могла не отразиться и в более светлом, жизнерадостном тоне его позднейших произведений.

ХРИСТОС ДОСТОЕВСКОГО

В деятельности Достоевского две стороны.

С одной стороны, он в «Записках из подполья» и в лице Раскольникова в «Преступлении и наказании», Великого Инквизитора в «Братьях Карамазовых» и Шигалева в «Бесах» всеми силами своего гениального *ума*, своей едкой и жгучей *иронии* и своего глубочайшего *сердцеведения* беспощадно нападает на все то, что считает *злым, вредным, опасным* и что в теперешней нашей жизни олицетворяется *Гитлером*.

С другой стороны, он всем своим *любвеобильным* сердцем, всеми положительными силами своей из ряду вон выходящей гениальной души старается провести в своей собственной жизни и выразить во всех своих произведениях все *то*, что он боготворит в лице *Христа*.

Чтобы лучше понять Достоевского, нам следует поэтому ознакомиться и с принципами, олицетворяемыми Гитлером, и с *тем*, что мы *должны были бы знать* с раннего детства, но далеко не всегда знаем, с *теми* сторонами Христова *учения, апостолом которых является Достоевский*.

Темой моего доклада будет поэтому *Гитлер и Христос Достоевского*.

Гитлер и Христос Достоевского

26 марта 1827 года умер (род. 17 дек. 1770 г.) Бетховен. Умер он в возрасте немногим более 56 лет, из которых 28 или *пол его жизни* прошло в страданиях от глухоты, этого недостатка, *более чем трагичного* для *композитора*, который не в состоянии был *слышать* то, что сам создавал.

Последние 12 лет его жизни прошли сверх того в страданиях сперва **за** своего племянника и потом *от* него.

Всю свою богатую непочатую любовь он отдал этому сыну своего покойного брата и сперва долго боролся с матерью мальчика **за** него, а потом с самим племянником, совершенно не понимавшим своего гениального дядю и постоянно огорчавшим его своим невозможным поведением, а в конце концов совершенно покинувшим больного дядю и оставившим его умирать одного.

Умирал Бетховен *тяжело*, поедаемый паразитами, и в совершенном *одиночестве*.

Последние мгновения его жизни прошли в тяжелых раскатах грома среди необыкновенно сильной грозы.

Те, кто после его смерти вошли к нему, поражены были выражением его лица и тем жестом, в котором застыла его рука.

Лицо его выражало сильное *негодование*, а рука оцепенела в обращенном кверху кулаке, как бы *грозившем небу*.

Что происходило в последние минуты в сознании и подсознании Бетховена?

Чем объяснить тот жест, в котором застыла его рука, чем объяснить выражение его лица?

Сделаю две предпосылки.

1) Бетховен известен был своею *вспыльчивостью* и *несдержанностью*, и, когда такие минуты на него находили, он терял всякий контроль над собою.

2) Подобные минуты, однако, нисколько не выявляли **всего** Бетховена. Лишь *одна* сторона его личности проявилась и в минуты его умирания.

Другая сторона выявилась за год до смерти в одной из самых последних его композиций, торжественной мессе «Heiliger Dankgesang», святой песне о благодарности Богу, и за три года до смерти в его 9-й сим-

фонии с положенным на музыку гимном к радости Шиллера.

Создавая эти две композиции, Бетховен был, наоборот, полон *религиозной радости* и *восторга*, полон *благоговения* и *благодарности к Богу*.

Но *что же* все-таки выразилось в *последние* минуты его жизни?

Вызвали ли громовые раскаты грозы желание создать на эту тему новую мировую композицию?

Дирижировал ли умирающий гений мировым оркестром, в котором он как бы руководил раскатами грома?

Или **всеми** покинутый, умиравший в грязи, *обманувшийся* в своей любви к племяннику, композитор, пол жизни *мучившийся* от *глухоты*, *негодовал* на небо, **отнявшее** от него возможность слышать самые нежные, тихие звуки и мелодии и **подавлявшее** его **теперь** вместо того *громовыми раскатами*?

Все возможно.

Для нас во всяком случае жест Бетховена, кроме всего выше изложенного, имеет и глубоко *символическое значение*. *Человек*, всякий человек, негодует *теперь*, в данную минуту, как Бетховен в минуты умирания, на окружающую нас ужасную жизнь и ужасных людей, и многие негодуют и на Творца, создавшего эту жизнь!

Этот *символ* негодования на Бога *напрашивается* теперь у многих из нас в том или другом отношении.

Всем нам ведь *тяжело*, *все* борются с лишениями всякого рода. Все так или иначе страдают и мучаются и *все* ищут объяснения страданий человечества и выхода из них.

Одни винят во всем Антихриста и вычисляют сумму букв имени этого Антихриста.

Другие прямо во всем винят дьявола и демонические силы.

Третьи, напротив, считают все карой, наказанием Создателя, как во дни потопа, уничтожающего созданный им мир, *этот мир*, в котором *свободная воля* человека *слишком во зло* употребила данную ему свободу.

Меньшинство винит во всем *нас же самих, каждого из нас, без всяких исключений*.

Но самое главное для нас теперь все же не *источник* страданий, не то, *кто главный* виновник общего несчастья.

Самое главное, *как* нам — *человечеству* — из этого несчастья *выбраться* и есть ли вообще какая-либо возможность это сделать.

Какие для этого существуют главные *пути*?

Первый — *путь Антихриста: путь Наполеонов, Гитлеров, Сталиных*, которые путем насилия, обманами, *нарушением* всех договоров и обещаний, путем *зла* желают *сперва* объединить весь мир под своей властью, *для того* чтобы потом, как мечтал о том еще Наполеон, а теперь мечтает Гитлер, объединив весь мир, устроить его *так*, как Великий Инквизитор в «Братьях Карамазовых» и Шигалев в «Бесах» Достоевского устраивают мир, давая в нем своеобразное счастье всем тысячам миллионов людей.

Второй — *путь Христа*. Никогда еще в истории человечества не было более животрепещущего вопроса, или вернее вопрос этот, *старый, давнишний* вопрос, еще не стоял перед нами так ярко, так выпукло, никогда еще не требовал такого *настоятельного, немедленного, неотложного решения*.

В теперешней своей форме вопрос этот, конечно, назревал лишь постепенно, но во всяком случае — *на наших глазах*, на глазах всех, кто жил подольше.

Лично я встретился с ним, впервые, уже 38 лет тому назад.

В 1903 году мы с женой сдавали комнату внаем немецкому богослову, позднее пастору в Дессау в Германии — Ульриху.

Ульрих этот начитался Ницше и вышедшего 2-3 года перед тем труда «Der Grundlagen des XIX Jahrhunderts» («Основы 19-го века») Чэмберлена и полон был идеями и Ницше, и Чэмберлена.

Так как мне не раз придется о Чэмберлене говорить, я приведу здесь несколько данных о нем.

Houston Stewart Chamberlain (1855–1927) родился в Портсмуте в Англии, готовился там к карьере офицера, но решил продолжать свое образование за границей. Учился во Франции, Швейцарии, Германии и Австрии.

Женился на дочери Рихарда Вагнера и поселился в Бейруте в Германии, превратившись там в заядлого немца, ставившего немецкий язык и немцев самих во главу угла.

Чэмберлен был очень многосторонний, но в этой своей многосторонности упрямо односторонний человек. Любил музыку и много писал о Вагнере, интересовался литературой и написал большой труд о Боппе (860 стр.), интересовался философией и написал 1000 страниц о Канте. Интересовался религией и издал 160 слов Христа, Worte Christi.

«Основы 19-го века» вышли в 1899–1901 гг. и к 1919 году уже выдержали 13 изданий.

Чэмберлен в свою очередь начитался трудов Гобино (1816–1882) с его теорией благородной, избранной расы.

А Ницше (1844–1900) читал и Гобино, и Достоевского (1821–1881) и особенно восхищался Великим Инквизитором в «Братьях Карамазовых» и Шигалевым в «Бесах».

И вот от Ульриха — то я и наслышался всего того, что позднее стало евангелием Гитлера.

1) Единственно благородная раса — *германцы*, говорил Ульрих. Они **одни** достойны управлять всем миром. 2) Они лучше всех способны навести *порядок в мире*, поэтому весь мир и в частности вся Россия должны принадлежать Германии. 3) Все остальное и *без того* распадается как недостойное больше жить.

Можно было бы сказать, что **жестко** так говорить, но Ницше ведь сказал, продолжал Ульрих, в своем «Also sprach Zarathustra» («Так говорил Заратуштра») — Зороастр: «О братья, вы считаете меня **жестоким**? Но я говорю вам: **нужно ускорить падение** того, что и без того *падает*».

Творцы [всего нового всегда] **жестоки**. О, братья, даю вам **новую** заповедь: «**будьте жестоки**. Хорошая война — оправдывает **всякое** насилие, **всякое** злоупотребление власти. *Война* и *отвага* создали гораздо более великого в мире, чем *любовь к ближнему*. *Не милосердие* ваше, а ваша *храбрость*, ваше мужество, ваше насилие до сих пор *спасали* несчастных»».

Что в 1903 году вслед за Чэмберленом и Ницше повторял Ульрих — этот рядовой обыкновенный немец, *тому* однако уже в 1897 и 1898 годах следовали император немцев Вильгельм II и германское и австрийское правительства.

Когда Россия в 1897 году по инициативе Императора Николая II предложила державам созвать в Гааге конференцию для обсуждения вопроса о наиболее действительных средствах для обеспечения народам *истинного* и **прочного** мира и прежде всего для того, чтобы положить предел все увеличивающемуся развитию современных вооружений, то Вильгельм II встретил эту инициативу *явным глумлением*, и германское и австрийское правительства встретили ее враждебно.

Совершенно *открыто* тогда еще никто не говорил *того* в Германии, но *подразумевалось* уже и тогда, что Германия *сперва* должна была завоевать достаточную для себя часть мира и организовать ее по-своему, а *потом лишь* можно было рассуждать о разоружении!!

По окончании 1-й мировой войны *роли переменились*, все противники Германии, чтобы *на вечные времена* помешать осуществлению подразумеваемого Германией желания завоевать часть мира, всякими Версальскими, Трианонскими и Сент-Жерменскими мирами и допущенными в них массой несправедливостей решили навсегда ослабить Германию, *унизить* ее и по возможности *раздавить*.

Этим вызвана была, однако, обратная реакция: ослабленная, униженная и подавленная Германия в лице Гитлера и его партии нацистов не только стремится выбраться обратно на поверхность воды, но и пробуждает к жизни все идеи Гобино, Чэмберлена и Ницше.

Сам Гитлер выразил свои взгляды в своем автобиографическом и программном труде «Mein Kampf» («Моя борьба», 1925–1926), но для нас больший интерес представляет книга одного из его приближенных — Германа Раушнинга «Gespräche mit Hitler» («Разговоры с Гитлером»).

Раушнинг, председатель Данцигского сената, в течение двух лет стоял очень близко к Гитлеру и детально записывал то, что слышал от Гитлера и его приближенных.

Книга эта для нас интереснее, чем «Mein Kampf», уже потому, что Гитлер был в своих разговорах с Раушнингом и в его присутствии еще более откровенен, чем в «Mein Kampf». Там он совершенно нараспашку. Приведу несколько показательных отрывков из книги Раушнинга.

1) «В будущей Германии, к которой присоединены будут славяне — поляки, чехи, словаки, русины, укра-

инцы, *первая роль* должна, разумеется, принадлежать немцам, **они** должны быть, например, *богатыми мужиками*, а славяне — *сельскими рабочими, батраками*.

2) **Общему** образованию должен быть положен конец — сельским *рабочим* (батракам) незачем учиться в университетах.

[Помните *кухаркины дети* министра Делянова?]

3) Пусть фашизм заключает мир с католиками. Меня это не удержит от искоренения **христианства** с корнями.

4) *Жестокость* и *грубая сила* всегда импонируют!

5) **Да**, мы, нацисты, — *варвары*. Но только бы нам сделать Германию великой — это самое главное, а старые буржуазные понятия о чести и *приличии*, о *честности* и т. п. нам, вождям, излишни! Напротив, я ничего не имею против *мстительности*, примитивной *ненависти* и *властолюбия*. Мои помощники, слава Богу, тоже *не ангелы*.

6) Лично я готов хотя бы ежедневно и по шести раз *нарушать клятвы и обещания*. Я готов **на все**, что только поможет мне достигнуть моих целей. **Почему бы** мне, например, сегодня не заключить *bona fide* (вполне добросовестно) договор и завтра же хладнокровно нарушить его, раз от этого зависит благоприятная будущность Германии.

7) Мировая держава ведь строится *мечом* и основанным на превосходных силах **насилием**. Новая мировая держава может быть основана **лишь** *кровью* и *железом*, ничем не поколебимую *волею* и *грубой силою*.

8) Одной из важнейших задач немецкой политики является — воспрепятствовать всеми средствами дальнейшему увеличению славянского населения.

9) Уже естественный инстинкт внушает ведь всякому живому существу не только *побеждать*, но и *уничтожать* своего противника.

10) Промысл предназначил меня стать величайшим освободителем и *спасителем* человечества.

11) Прежде всего я **освобожу** человечество от *гнусного и унижительного самомучения и заблуждения*, которые называются *совестью и моралью*.

12) Я догола сдеру с *борьбы за власть* все *условные* ширмы и покровы, за которыми она обыкновенно скрывается.

13) Я совершенно *не понимаю*, что могло бы воспрепятствовать мне вести эту борьбу со всей *непреклонной жестокостью*.

14) Я совершенно не понимаю, почему бы мне не пользоваться всеми доступными мне средствами *хитрости, притворства и лицемерия!!*

15) Я никому не позволю *мешать мне* какими-либо *сентиментальными или педантичными* соображениями.

16) На практике я не признаю **никаких** *требований нравственности* в политике. Политика — игра, в которой **всякая** *уловка, всякое* плутовство и **всякий** *обман* *позволены*.

17) Моя задача пользоваться **всеми** *слабостями* человечества».

[Раушнинг в этой связи цитирует слова пророка Даниила об Антихристе:

«36 И будет поступать царь тот *по своему произволу*, и вознесется и возвеличится выше всякого божества и о Боге богов станет говорить хульное...

37 И о богах отцов своих **не помыслит**, и никаких других богов не *уважит*, ибо возвеличит **себя самого** *выше всех*.

38 Но богу *крепостей* [насилию] будет он воздавать почести, и **этого** бога, которого не знали отцы, он будет чествовать золотом и серебром и дорогими камнями и разными драгоценностями» (Дан. 11:36, 37 и 38)].

Любопытно, что в следующих за цитированными Раушнингом стихах, Даниил говорит:

«42 И прострет он руку свою на разные страны, не спасется от него и земля Египетская [и Ливийская — см. ст. 43].

44 Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтоб истреблять и губить многих,

45 ... но придет к своему концу и никто [тогда] не поможет ему» (Дан. 11:42-45).

Если вы по приходе домой раскроете роман Достоевского «Братья Карамазовы» и перечтете то, что Достоевский говорит там о Великом Инквизиторе, и затем «Бесы», там где Достоевский говорит о Шига-левщине, то вы увидите, что Гитлер в сущности лишь повторяет слова Великого Инквизитора и Шигалева. Приведу несколько тому доказательств.

1. У Достоевского Великий Инквизитор говорит: «...пройдутъ вѣка и человеѣчество провозгласить устами своей премудрости и науки что *преступленія нѣтъ*, а стало быть *нѣтъ и грѣха...*» — В Германии Гитлера в 1940 году официально издан *новый перевод библии*, где слово «грех» всюду поставлено в кавычках как нечто не существующее.

2. Великий Инквизитор говорит: нет ничего мучительнее для человека, чем *свобода его совести*. — Гитлер говорит: Промысл предназначил меня <...> освободить человечество от *самоуничтожения и заблуждения*, которое называется *совестью и моралью*.

3. Великий Инквизитор: «Никакая наука не дастъ имъ [людям] *хлѣба* пока они будутъ оставаться свободными», «*лучше поработите насъ*, но накормите насъ», (скажут сотни тысяч безработных). — Гитлер дал всем без исключения миллионам безработных в Германии работу по вооружению Германии на фаб-

риках для выделки подводных лодок, аэропланов, бомб и взрывчатых веществ.

4. Великий Инквизитор говорит: «...мы заставим их работать, но въ свободные отъ труда часы мы устроимъ имъ жизнь какъ дѣтскую игру, съ дѣтскими пѣснями, хоромъ, съ <...> плясками». — Гитлер заставляет **всех** работать на вооружение, но в свободное от работы время дает молодежи Hitlerjugend и взрослым и парады и песни в радио и пляски.

5. Великий Инквизитор говорит: «...мы разрѣшимъ имъ и грѣхъ, они слабы и безсильны, и они будутъ любить насъ какъ дѣти, за то что мы имъ позволимъ грѣшить. <...> Мы будемъ позволять <...> имъ жить съ ихъ женами и любовницами, имѣть или не имѣть дѣтей...» — Кто читал или слышал о Hitlerjugend, тот знает, как этот вопрос разрешен нацистами.

А Гитлер сам говорит: «Мои помощники, слава Богу, не *ангелы*, я ничего не имею против их *мстительности*, примитивной *ненависти* и *властолюбия*».

Да и раньше Гитлера немцы говорили по Ницше и Великому Инквизитору.

6. Великий Инквизитор: мы взяли от дьявола тот дар, который Ты с негодованием отверг, то есть «*всть царства земныя*». Дело наше «*лишь въ началъ*, но оно *началось*». Мы «будемъ кесарями, и *тогда уже* помыслимъ о *всемірномъ счастьи людей*».

Еще Ульрих говорил мне: как только Германия завоюет соседнюю ей часть мира и колонии, она **потом** введет в мире всемирное счастье людей.

7. Каким образом это всемирное счастье устроится, мы поймем, если дополним идеи Великого Инквизитора *Шигалевщиной* «Бесов». Там Шигалев предлагает деление человечества на две неравные части. Одна десятая доля *получает свободу личности* и безграничное право над остальными 9/10. — У Гитлера 1/10 —

это арийские германцы, в числе же 9/10 между прочими находятся славяне. Первая роль, говорит Гитлер, должна принадлежать немцам. *Немцы* должны быть, например, богатыми мужиками, а *славяне* — сельскими рабочими, батраками.

8. По *Шигалеву*, для 9/10 понижается уровень образования, наук и талантов. — Гитлер говорит: **общему образованию** должен быть положен конец. Сельским рабочим, батракам незачем учиться в университетах.

Итак, повторяю, Ницше и Гитлер вышли из Великого Инквизитора, дополненного Шигалевщиной, с тем *существенным отличием*, что **то**, что у Достоевского выставлено как апофеоз зла, всего *неправильного, неверного, отрицательного, то́ они* взяли как *единственно правильное, верное, положительное*.

Инквизитор и Шигалев готовы сделать человечество счастливым — и за ними Гитлер, **как только одна** великая держава, Германия, объединит всю Европу и Африку, а в пределе *весь мир*.

9. С нашей точки зрения, счастье 9/10 у Шигалева, конечно, чересчур своеобразное и сомнительное. Надо *обкорнать* им ум, *нравственность, мораль и отнять образование*. — Гитлер говорит, как мы видели: *зачем сельскому рабочему университету?*

Можно сказать, следовательно, во всяком случае, что вся программа Гитлера с его выходом из теперешнего положения вещей вышла из того, что Достоевским *отрицается*, — Достоевский как бы пророчески предвидел и предсказал ее. Но если Достоевский **отрицает** Великого Инквизитора и Шигалева, **то** спрашивается, что же для Достоевского является *положительным*?

Вот тут-то мы подходим к *тому*, что является наиболее показательным и характерным для Достоевского.

Говоря о Толстом, я назвал его *новозаветным* пророком — пророком, который подобно пророку Михею

зовет человечество оставить тот тупик, в который оно зашло, и вернуться к Богу.

Достоевский же — апостол *христианства*, апостол *Христа*. Цель всей его жизни — доказать, что, только следуя *Христу*, можно вывести человечество из того тупика, в который оно теперь попало.

Девизом всей его деятельности являются слова его **письма** к Наталье Дмитриевне фон Визиной, урожденной Апраксиной, написанного Достоевским в 20-х числах февраля 1854 года.

Фон Визина была жена декабриста Ивана Александровича фон Визина, прошедшая со своим мужем 25 лет в Сибири. Она была одна из тех жен декабристов (Муравьева, Анненкова и дочь последней Иванова), которые в январе (11–16 января) 1850 года в Тобольском пересыльном дворе устроили тайное свидание с Петрашевцами и передали им по 10 рублей денег, вложенных в переплет Евангелия.

Так вот в этом-то письме Достоевский пишет: «въ <...> минуты [несчастий и страдания] *жаждешь* какъ “*травѣ изсохшѣй*”, *вѣры*, и *находишь* ее, собственно потому, что *въ несчастіи яснѣетъ истина*. Я скажу вамъ про себя, что я — дитя *вѣка*, дитя *невѣрія* и *сомнѣнія* до сихъ поръ и даже (я знаю это) *до гробовой крышки*. Какихъ страшныхъ мученій стоила и стоитъ мнѣ теперь эта *жажда вѣрить*, которая тѣмъ сильнѣе въ душѣ моей, *чѣмъ болѣе во мнѣ доводовъ противныхъ*. И однако же Богъ посылаетъ мнѣ иногда такія минуты, *въ которыя я совершенно спокоенъ*; въ эти минуты *я люблю*, и нахожу что *другими любимъ*, и въ такія то минуты я сложилъ въ себѣ *символь вѣры*, въ которомъ *все* для мѣня *ясно и свято*. Этотъ символъ очень простъ, вотъ онъ: *вѣрить* что *нѣтъ ничего прекраснѣе, глубже, симпатичнѣе, разумнѣе, мужественнѣе и совершеннѣе Христа*, и не только *нѣтъ*, но съ *ревнивою любовью* говорю себѣ

что и не может быть. Мало того еслибъ кто мнѣ доказалъ, что Христосъ *внѣ* истины, и *дѣйствительно* [курсив Достоевского] было-бы что *истина* *внѣ* Христа, то мнѣ лучше хотѣлось бы оставаться со Христомъ, нежели съ истиной».

20 годами позже Достоевский в «Бесах» заставляет Шатова и Ставрогина повторить последние слова письма к фон Визиной: «...еслибы математически доказали вамъ что истина *внѣ* Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христомъ нежели съ истиной».

Повторю еще раз слова письма:

«...нѣтъ ничего прекраснѣе, глубже, симпатичнѣе, разумнѣе [я сказал бы *мудрее*], мужественнѣе и совершеннѣе *Христа*».

Сколько глубокой истины, правды в этих словах. Чем старше становишься, тем яснее это понимаешь.

Достоевскому исполнилось 32 года и 4 месяца, когда он записал этот, как он сам его называет, *символ* веры, и в течение остальных 27 лет его жизни этот символ стоит девизом над всей его деятельностью, но корни его заложены еще в детстве.

Родился и рос Достоевский до 15 с половиной лет в Москве — *этой*, как профессор Кенигсбергского университета Николай Сергеевич Арсеньев называет ее, *Святой* Москве с ее сорока сороками церквей. Дед его Андрей Михайлович был протоиерей города Брецлава Подольской губернии и *его* предки священники.

Родители, особенно мать, были люди *глубоко религиозные*, и отец до 15 лет воспитывался в Подольской духовной семинарии. Всякое воскресенье и большой праздник семья посещала больничную церковь, а летом до 10-летнего возраста писателя и потом перед отправлением в Петербург они ездили к Троице, где проводили несколько дней в посещении церквей и молитвах.

Ребенком Достоевский привык видеть в церкви что-то совершенно необходимое и на всю жизнь сохранил привычку селиться вблизи церквей и в адресах приводил всегда слова: близ такой-то церкви. Например, в феврале 1842 года в Графском переулке *близ Владимирской церкви*; в декабре 1845 года на углу Гребенцкой у *Владимирской церкви*; в сентябре 1846 года против *Казанского собора*; в ноябре 1846 года — 1-я линия против *Лютеранской церкви*; в 1875–1876 гг. — против Греческой церкви.

Косые лучи вечернего солнца, освещавшие во время всенощной церковь, недаром на всю жизнь запомнились Достоевскому и постоянно встречаются в его произведениях.

Читать мать научила его по книге «104 священные истории, выбранные из Ветхого и Нового Заветов».

К числу ярких детских, отроческих воспоминаний относятся *рассказы* о так называемом «святом докторе» Федоре Петровиче Гаазе (1780–1853), о котором Достоевский рассказывает в «*Идиоте*» и в заметках к «*Преступлению и наказанию*» и «*Житию великого грешника*».

Этот *святой* доктор, старший врач московских тюремных больниц в течение 24 лет (1829–1853), чрезвычайно много сделал для арестантов и ссыльных и вообще жил настоящей *евангельской жизнью по Христу*. Рассказы о нем, ходившие по всей Москве, не могли не волновать ребенка и отрока Достоевского.

Все такие впечатления детства запечатлелись в мозгу гениального ребенка и руководили потом его выбором чтения. *Недаром* ребенком он так восхищался Пушкиным, что всю жизнь цитировал и декламировал его и на публичных чтениях и дома.

Как билось сердце ребенка и юноши, когда он у любимого писателя встречал евангельские мысли или по-

ступки, как горело это самое сердце, когда он тринадцати, четырнадцати лет встретил у Бальзака в «*Père Goriot*» ту мысль, которая легла в основание всего его «Преступления и наказания» и «Пушкинской речи». Мысль о том, что счастье отдельного человека и даже целого народа *нельзя* строить на несчастье *хотя бы одного* человека, хотя бы дурного, жалкого, порочного человека. *Сопоставьте эту мысль с мыслями Гитлера!*

Мысль эту он в первой редакции «Пушкинской речи» передает так: «У Бальзака въ одномъ романѣ, одинъ молодой человекъ въ тоскѣ передъ нравственной задачей, которую не въ силахъ еще разрѣшить, обращается съ вопросомъ къ своему другу, товарищу, студенту и спрашиваетъ его: послушай представь себѣ, вотъ ты нищій у тебя ни гроша, и вдругъ гдѣ то тамъ, въ *Китаѣ*, есть дряхлый, больной мандаринъ, и тебѣ стоитъ только здѣсь, въ Парижѣ, не сходя съ мѣста, сказать про себя: умри, мандаринъ, и онъ умретъ, но за смерть мандарина тебѣ волшебникъ пришлетъ сейчасъ миллионъ, и никто этого не узнаетъ и главное онъ гдѣ то въ Китаѣ, онъ Мандаринъ все равно что на лунѣ или на Сириусѣ — ну что захотелъ бы ты сказать: умри мандаринъ чтобъ сейчасъ же получить этотъ миллионъ? [Вотъ вопросъ и вотъ отвѣтъ]: Est-il bien vieux ton Mandarin? — eh bien non, *je ne veux pas*. [А что, мандарин этотъ очень стар? — да нетъ, я не хочу]. Вотъ рѣшеніе французскаго студента. *Скажите могла ли рѣшить Татьяна иначе, чѣмъ этотъ бѣдный студентъ?* [Татьяна] съ ее высокой душой, съ ее *глубоко* страдающимъ сердцемъ. *Нѣтъ*, и русская душа рѣшаетъ также — пусть, *пусть* я лишюсь счастья, но не хочу быть счастлива, *загубивъ другого*».

Нет:

Я вас *люблю* (к чему лукавить?),
Но я *другому* отдана;
Я буду *век ему* верна.

С каким восторгом читал он позднее «Отверженные» Виктора Гюго и перечитывал их сперва через 4, а потом еще через 7 лет, *читал* этот полный евангельских мыслей и поступков роман.

Как горело его сердце, как тепло было на его душе, когда 22-летний милый, мягкосердечный деликатный Алей, этот Дагестанский татарин, с прекрасным лицом, с большими, *мягкими, ласковыми* глазами и *доверчивой, детски простодушной* улыбкой учился у него на каторге, в Мертвом Доме, читать и писать и когда он учил его читать по полученному от декабристов Евангелию и Алей при чтении Нагорной проповеди говорил: «...Иса святой пророкъ, Иса Божіи слова говорилъ. *Какъ хорошо!*» — и на вопрос Достоевского: «Чтожь тебѣ больше всего нравится?» — потом отвечал: «А гдѣ онъ говорить: *прощай, люби, не обижай, и враговъ люби*. Ахъ, какъ хорошо онъ говорить!» И когда тот же Алей, когда уходил из острога, отвел Достоевского за казарму и там бросился ему на шею, поцеловал и заплакал, чего никогда раньше не делал, и сказал: «Ты для меня столько сдѣлалъ, *столько сдѣлалъ*, <...> что отецъ мой, мать мнѣ бы столько не сдѣлали: ты меня человѣкомъ сдѣлалъ, Богъ заплатить тебѣ, а я тебя *никогда* не забуду...», — Достоевский на практике увидел, как огромна **сила** евангельских слов.

По выходе из каторги Достоевский и в своей собственной жизни и в своих произведениях начал проводить евангельское учение.

Несколько примеров тому, как проводил это учение в собственной жизни, мы уже видели раньше и еще увидим сегодня.

Напомню вам для начала отношение его к брату и первой жене.

Федор и Михаил были погодки, и Достоевский всегда считал своего старшего брата лучшим своим другом.

Вместе жили они детьми и отроками за перегородкой в передней. Вместе декламировали там Пушкина и восхищались им. Вместе учились в пансионе Чермака на Новой Басманной и ездили по субботам брать уроки математики у Ломовского.

Вместе с горем и волнением следили за болезнью и умиранием любимой матери.

Вместе по смерти ее поехали в Троице и всю дорогу декламировали Пушкина, вместе в Петербурге поступили в подготовительный пансион капитана Костомарова.

Когда Федор Достоевский принят был в Инженерное училище, а Михаил служил в Ревеле и Гельсингфорсе, Федор очень горевал, но когда только мог, посещал брата в Ревеле и был крестным отцом его детей.

Вместе посещали они потом сходки у Петрашевского, в которых Михаил принимал более деятельное участие.

Когда Федора Достоевского арестовали, по ошибке вместо Михаила арестовали третьего брата Андрея. Достоевский уговорил Андрея не открывать ошибки и сам в своих показаниях всячески выгораживал Михаила, чем спас его от каторги*.

* Далее следует отрывок, представляющий собой конспективные наброски:

«Трусость Михаила, не пишет на каторгу брату, не посылает денег.

Но Достоевский его совершенно простил.

Один на своих плечах нес совместный журнал. После смерти брата принял на себя долги Михаила (500.000–700.000 наших марок), детей законных и незаконных воспитывал, помогал законной и незаконной жене.

Первая жена. Хлопочет за учителя Николая Борисовича Вергунова, переносит письма к нему. Вергунов все время поддерживает сношения.

Когда Мария Дмитриевна по болезни (чахотке) теряет красоту, Вергунов ее оставляет. Мария Дмитриевна, когда Достоевский после того приходит домой, говорит, что никогда не любила его — каторжника, эпилептика, любила лишь Вергунова. Достоевский отвозит ее к ее родственникам (ее одну) во Владимир и уезжает к Сусловой. Ухудшение здоровья Марьи Дмитриевны. Оставляет

Перейду теперь прямо к тому, **как** учение Христа отразилось на произведениях Достоевского. Остановимся при этом лишь на нескольких пунктах учения Христа и отражении их у Достоевского.

Для того чтобы лучше понять, что **нового** внес Христос в мир, достаточно припомнить положение *слуг и рабов* до Христа и после него.

Для Платона и Аристотеля раб был лишь *получеловек*, предмет *купли и продажи*, то, что по-чешски называют живой «робот» (рабочий автомат).

Буддизм в течение двух с половиной тысяч лет не в состоянии был уничтожить каст, и к париям нельзя даже *дотронуться*, чтобы не замараться духовно.

Ганди только в последние десятилетия *пытается* добиться отмены каст, Христос же ставит одною из своих *главных* задач возвышение слуг и рабов и придание им небывалого раньше значения.

Говоря о Толстом, мы уже останавливались на тексте Евангелия от Марка, гл. 10:35–44.

Сыновья Зевдеевы Иаков и Иоанн просили Иисуса отвести им *первые* места по правую и левую руку его в будущем Царстве Божиим.

Ученики за это негодуют на братьев.

Иисус же *по исправленному* тексту говорит всем ученикам своим: «Вы знаете, что князья народов **величаются над ними**, а вельможи **гордо выступают** перед ними и притесняют их, но между вами да не будет так. Кто хочет между вами быть *большим*, да будет вам *служугою*, и кто хочет быть первым, да будет вам *рабом*».

Суслову, едет за женой во Владимир, привозит в Москву и ухаживает за ней полгода до ее смерти.

Помогает брату Андрею (тот живет у него год), помогает несчастному пьянице брату Николаю (1831–1883), пасынку Павлу Александровичу Исаеву (1848–1900) доставившему ему немало огорчений и забот».

И в последнюю вечерю он умывал пыльные и потные ноги учеников своих и утирал их полотенцем и сказал им после того:

«если Я, Господь и учитель, умыл ноги **вам**, то и **вы должны** умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали **то же**, что я сделал вам» (Иоанн 13:14–16).

Христос этим ставит продаваемых и покупаемых, всеми презираемых **«роботов»** на никогда ранее *не виданную* высоту.

Сам делает грязную работу «роботов» и учит учеников своих следовать своему примеру.

Недаром учение Христа в первые века христианства с таким восторгом принималось именно *рабами*.

Они *впервые* за всю историю человечества почувствовали, что **и они** — *люди*, **и они** достойны уважения.

То, **чему** Христос учит здесь своих учеников, то есть **служить** всем, **помогать** всем, **услуживать** всем, то Достоевский делал сам в Семипалатинске, где служил солдатом по окончании каторги.

Первые годы он, как и на каторге, спал на общих нарах с солдатами, и между ними были и многими презираемые евреи кантонисты. Один из них был ближайшим соседом Достоевского по нарам.

И вот Достоевский всячески им служил и помогал: писал им письма, перечитал им массу книг и проч.

В этом же Семипалатинске он всячески помогал и обслуживал родне своей будущей первой жены Марьи Дмитриевны Констант-Исаевой. Помогал еще ее мужу-пьянице, заботился о ее сыне — своем будущем пасынке Паше Исаеве, помогал, когда Исаев умер и Марья Дмитриевна полюбила Вергунова, помогал и этому Вергунову, пытаясь, как мы видим, получить для него лучшее место с большим *жалованием*, и т. п.

То, что Достоевский таким образом делал в собственной своей жизни, то всегда делали и герои его про-

изведений, начиная с самого первого «Бедные люди», где Макар Деушкин весь на побегушках у Варвары Доброселовой.

Так же служил мальчик герой в рассказе «Маленький герой» героине рассказа.

Особенно служил всем Ваня в «Униженных и оскорбленных», Соня в «Преступлении и наказании», князь Мышкин в «Идиоте», Алеша в «Братьях Карамазовых». Ваня в «Униженных и оскорбленных» весь был к услугам Наташи и ее родных, даже переносил письма любимой им девушки к ее любовнику князю Алеше, как потом Дмитрий Карамазов переносил письма любовнику Грушеньки в «Братьях Карамазовых», Алеша Карамазов переносил письма Лизы Хохлаковой.

Не менее самоотверженно служит *всем* и Соня Мармеладова: 1) и *пьяненькому* отцу, капитану, 2) и мачехе, бывшей причиной ее *несчастья*, 3) и детям мачехи, 4) и Раскольникову, 5) и боготворившим ее за ее христианство каторжникам в Сибири.

Никто, однако, *так* не служит другим, как князь Мышкин в «Идиоте». Служит он 1) и *несчастной швейцарке* Мари, которую односельчане закидали физически и душевно грязью, 2) и русской любовнице Тоцкого — несчастной Настасье Филипповне, на которой предлагает жениться, чтобы этим возвысить ее, сделать княгиней, служит 3) и любимой им Аглае, 4) и будущему убийце Настасьи Филипповны Рогожину, 5) и юноше Ипполиту. В своем служении князь Мышкин даже жертвует сознательно своей любовью к Аглае и бессознательно *своим* рассудком. И в то же время он *сознает* всю *силу* и огромное *значение* своего смиренного служения.

Недаром именно *он* говорит: «...смирение есть страшная сила». Это одно из «словечек» Достоевского, которые выражают *глубокие, сильные, огромные своим значением* идеи.

Ту же мысль говорит и старец Зосима, этот старец Амвросий Оптиной пúстыни в действительной жизни, своим ученикам в «Братьях Карамазовых»: «Предъ иною мыслью станешь въ недоумѣнїи, *особенно видя грѣхъ людей*, и спросишь себя: “взять ли *силой*, али *смиренною любовью*”? Всегда рѣшай: “возьму *смиренною любовью*”. Рѣшишься такъ разъ навсегда и *весь міръ* покорить можешь. Смирение любовное — страшная сила, *изо всѣхъ сильнѣйшая, подобной которой и нѣтъ ничего*». (Эти слова старца Зосимы прошу вас запомнить, они понадобятся нам, когда придется подводить итоги учению Достоевского).

Наиболее яркий представитель смиренной любви — *Алеша Карамазов* — его Достоевский списал с Владимира Соловьева, которого он знал 20–27-летним молодым человеком и которого очень любил. *Алеша Карамазов* обыкновенно считается очень слабо и бледно написанным не удавшимся Достоевскому Христосиком.

На вкус и цвет товарища нет, да и трудно вообще говорить о *незаконченном* писателем типе, а Достоевский собирался ведь написать еще столько же о Братьях Карамазовых, сколько успел напечатать. Его Алеша должен был там перенести сильно драму с Лизой Хохлаковой и Дмитрий возвратиться из каторги.

Мне лично, однако, Алеша Карамазов всегда нравился.

Но дело не в этом, а в том, что у *Достоевского* Алеша, следуя учению Христа, *любит и служит*:

1) и безобразному старику *отцу* Карамазову; и 2), 3) *братьям* Ивану и Дмитрию; 4) и обманывающей его *Лизе* Хохлаковой; 5) и *несчастной* любовнице Дмитрия *Грушеньке*; 6) и штабс-капитану *Снегиреву*; 7) и его семье; 8) и *невесте* брата Ивана Катерине Ивановне; 9) и, *конечно*, старцу Зосиме; 10) и *детям* — Коле Красоткину и его товарищам.

Говоря здесь о *детях*, перейду к следующей стороне учения Христа.

Своею молитвою «Отче Наш» Христос раз и навсегда установил наше отношение к Богу, как *детей* к *Отцу*. Но если Тот, к Кому мы обращаемся с молитвою, не только мой, но и *наш* Отец, Отец всего человечества, *всех*, без исключения, людей, то и мое отношение к людям неизбежно должно быть отношением сестры и брата к брату и сестре.

Прежде всего, конечно, это относится к тем, о которых Христос подчеркивал, что им, то есть *детям*, принадлежит Царство Божие, и о которых Он сказал по дошедшим к нам через Отцов Церкви словам: «Кто меня *ищет* найдет меня в *детях*, ибо там меня легко найти (там я постоянно являюсь)».

И *дети* в произведениях Достоевского играют огромную роль.

Достоевский их нисколько не идеализирует, но всегда находит в них *золотое ядро*, ядро *любви*, *жалости* и *сострадания*.

Те же сорок детей, которые в Швейцарии дразнили несчастную Марию и даже грязью кидали в несчастную, постепенно перестали бранить ее и вскоре стали *жалеть* и *заступаться* за нее. Сперва две девочки достали кушанья и снесли к ней, а потом все полюбили ее.

Детям запретили даже встречаться с нею, а они носили ей гостинцев или просто прибегали для того, чтобы обнять, поцеловать и сказать: «Je vous aime, Marie!» — и потом стремглав бежать назад.

Они достали ей и башмаки, и чулки, и белье, и даже какое-то платье.

Когда Мари, умиравшая от чахотки, не в состоянии была уже более выходить, дети почти все перебивали у нее в первый день, чтобы навестить ее, и потом два дня поочередно забегали к ней, чтобы ухаживать за нею, пока к ней не стали ходить и дежурить у нее старухи из деревни; но и тогда они подбегали на

минуту под окно, чтобы только сказать: «Bonjour, notre bonne Marie» — и по-прежнему приносили ей *гости́нцев*.

Когда она умерла, они убрали ей весь гроб цветами и надели ей венок на голову и все помогали нести ее гроб и плакали. С тех пор могилка Марии постоянно почиталась детьми: они убирали ее каждый год цветами и обсадили кругом розами.

Детям Достоевский отводит много места в своем романе «Неточка Незванова», в своих «Униженных и оскорбленных», где Нелли (помните ее?) отведена большая роль.

О детях говорится и в «Преступлении и наказании» (помните сводных сестер Сони Мармеладовой?), и в «Подростке», и в «Дневнике писателя», где Достоевский со всею своею силою ополчается на всех мучителей детей и где так волнующе пишет о смерти ребенка в сочельник.

Более всего Достоевский отвел места детям в «Братьях Карамазовых», где вся 10-я книга посвящена Илюше Снегиреву, Коле Красоткину и другим школьникам. Школьникам посвящена также и 3-я глава 4-й книги и одна из глав эпилога.

О детях учит и старец Зосима во время своих бесед: *«Дѣтокъ любите особенно, ибо они <...> живутъ для умиленія нашего, для очищенія сердець нашихъ и какъ нѣкое указаніе намъ. Горе оскорбившему младенца»*. И он прибавляет: «На всякъ день и часть, на всякую минуту ходи около себя и *смотри за собой* чтобъ *образъ твой* былъ благолѣпенъ. Вотъ ты прошелъ мимо малаго ребенка, прошелъ злобный со сквернымъ словомъ, съ *гнѣвливою* душой; ты и не примѣтилъ, можетъ, ребенка-то, а онъ видѣлъ тебя и образъ твой, *неприглядный* и *нечестивый*, можетъ, въ его беззащитномъ сердечкѣ остался. Ты и не зналъ сего, а можетъ быть ты уже *тѣмъ* въ него сѣмя бросилъ дурное, и

возростеть оно *пожалуй*, а все потому что ты *не убергся* предъ дитятей, потому что *любви осмотрительной, дѣятельной не воспиталь въ себя*».

Но если дети в произведениях Достоевского играют огромную роль, то отношение сестры к брату и брата к сестре, разумеется, не ограничивается одними детьми.

В «Униженных и оскорбленных» Достоевский прямо говорит: «...самый забытый, послѣдній челоѡкъъ есть тоже челоѡкъъ и называется *братъ мой!*»

И Достоевский недаром заставлял даже Мармеладова, в «Преступлении и наказании» пропившего свою дочь Соню и погубившего своим пьянством всю свою семью, говорить в трактире те слова, которые Достоевский сам любил читать на публичных чтеніях (помните?): «пожалѣть насъ [пьяненьких] **Тотъ** Кто *всѣхъ* пожалѣлъ, и Кто *всѣхъ* и вся понималъ, Онъ **Единый** <...> *всѣхъ разсудитъ и проститъ, и добрыхъ и злыхъ, и премудрыхъ и смирныхъ....* И когда уже кончить надъ всѣми, тогда возглаголетъ и намъ: “Выходите, скажетъ, **и вы!** Выходите *пьяненькіе, выходите слабенькіе, выходите соромники!*” <...> И скажетъ: “Свиньи вы! *образа звѣринаго и печати его; но приидите и вы!*” И возглаголятъ *премудрые*, возглаголятъ *разумные*: “**Господи!** почто сихъ пріемлеши?” И скажетъ: “Потому ихъ пріемлю, премудрые, потому пріемлю, разумные, *что ни единый изъ сихъ самъ не считалъ себя достойнымъ сего....*” И простретъ къ намъ руки свои, и мы припадемъ... и заплачемъ... и все поймемъ!»

Достоевский как бы хочет этим сказать: если Христос даже *пьяненьких, слабеньких, соромников, бесстыдников* простит и примет в Царствіи Своем, то и нам подавно нельзя быть истинными Его братьями, истинными сынами Отца Своего, если мы не простим и не пожалеем сестер и братьев своих, **каковы бы они ни были. Отсюда также** отношение Идиота 1) к швей-

царской блуднице и 2) к русской любовнице Тоцкого — Настасье Филипповне; или отношение Сони к *убийце* — Раскольникову; или отношение Алеши Карамазова 1) к *безобразному отцу* своему Карамазову и 2) к *убийце в мыслях* брату Дмитрию.

Дарвиновский закон борьбы всех против всех, особенно *сильного* против *слабого*, закон борьбы Гитлера и Муссолини против славян, греков, норвежцев, датчан и борьбы Сталина против маленьких народов, его окружающих, у Достоевского заменяется новым законом — законом борьбы сильных *за* слабым, *матери* за своего слабого, больного *ребенка*, *бабушки* за беззащитного *внука* и пр., законом борьбы Коли Красоткина за Илюшу, Алеши Карамазова за презираемую другими Грушеньку, Идиота за *всех* страдающих и т. п. Внешней *всем видной* силе *насилия* противопоставляется у Достоевского незаметная, но *все* подрывающая, все побеждающая сила *любви*.

Наполеоновской борьбе Раскольникова за *счастье многих за счет* *всем противной* ростовщицы противопоставляется, например, медленная, но *победоносная* борьба Сони за счастье меньшинства, за счастье *каторжников, убийц и грабителей*. А «Таинственный незнакомец», совершивший скрытое от всех убийство и живущий за счет убитой, *побеждается любовью* молодого Зосимы, признающего на дуэли свою ошибку и просящего у оскорбленного им человека прощения.

Говоря о христианстве Достоевского, преступно было бы забыть одну очень важную его сторону. Обыкновенно землю и живущее на ней человечество многими принято считать юдолью *печали, грусти и скорби*, и символический жест Бетховена является для многих единственно верным жестом человека по отношению к Творцу, создавшему такой ужасный мир.

Но и *среди* нас, так называемых христиан, *грусть* считается чуть ли не единственным *приличным* хрис-

тианину чувством. Один из величайших страдальцев сербов, епископ Николай Велимирович, создатель серии рассказов-статей о «Всечеловеке», говорит, что Христа самого нельзя себя представить иначе, чем грустным, печальным. А Василий Васильевич Розанов, этот «enfant terrible», ужасное дитя своего времени, открыто говоривший то, что большинством скрывалось, называл Христа *Черным Христом* и говорил, что христиане считают *лучшими* последователями Христа отказавшихся от всех земных радостей и благ черных, всегда серьезных монахов.

Для Достоевского Христос, наоборот, — *Светлый, Сияющий и Лучезарный Христос*.

Это тот Христос, Который в Нагорной проповеди (Мф 5:12, Лк 6:23) говорит ученикам: «*Радуйтесь и веселитесь*». Тот Христос, о Котором евангелист Лука (Лк 10:21) говорит: «В тот час *возрадовался* духом Иисус», и апостол Которого Павел пишет Фессалоникийцам (I Фесс 5:16): «*Всегда радуйтесь*» и Филиппийцам (Флп 4:4): «*Радуйтесь* всегда в Господе [и] *еще* говорю: *радуйтесь*».

Тот Христос, Который, сидя среди младенцев, ласкал их и слушал их детский лепет, *не мог* не радоваться. И Который в Евангелии разъяснил Назарянам, в каких только *исключительных случаях* нельзя христианину радоваться, сказав: «Никогда не радуйтесь, если вы не смотрите на братьев ваших *с любовью*» (то есть *кто* смотрит с деятельною, полною самопожертвования любовью на братьев и сестер своих, не может не радоваться (Альб. Гук, стр. 19), ибо он знает, что Отец Его небесный *любит их* и любит и *его самого*).

Достоевский, вероятно, читал 5-ю главу Послания апостола Павла к Ефессянам, где апостол говорит:

«Вы были некогда *тьма*, а теперь *свет* в Господе, поступайте [же] как чада света. Потому что плод

Духа [состоит] во **всякой благодати** [следовательно и радости и веселии!], праведности и истине.

Сказано [ведь]: “Встань, *спящий*, и *воскресни из мертвых и осветит* тебя Христос”»!!! (Ефес 5:8, 9, 14).

И в произведениях Достоевского, как это ни странно говорить вам, *знающим*, **сколько** у действующих лиц Достоевского *страданий, мучительств*, нравственных *терзаний* и истязаний, в *этих* произведениях, говорю я, много и *радости и веселья*.

Недаром старец Зосима учит: «Други мои, **просите** у Бога *веселья*. *Будьте веселы какъ дѣти, какъ птички небесныя*».

«Землю цалуй и неустанно, ненасытимо люби, *всѣхъ люби, все люби, ищи восторга и изступленія сего. Омочи землю слезами радости твоя* и люби сии слезы твои».

Произнося, может быть, эти самые слова, во всяком случае посреди беседы Зосима «вдругъ почувствовалъ какъ бы сильнѣйшую боль въ груди, поблѣднѣлъ, и крѣпко прижалъ руки къ сердцу. Всѣ тогда <...> устремились къ нему; но онъ, хоть и страдающій, но **все еще съ улыбкой** взирая на нихъ, тихо опустился съ кресель на полъ и сталъ на колѣни, затѣмъ склонился лицомъ ницъ къ землѣ, распростеръ свои руки и, какъ бы въ **радостномъ восторгѣ**, цалуя землю и молясь (какъ самъ училъ), тихо и *радостно* отдалъ душу Богу».

Но старец Зосима не только радостно **умирал**, он и жил радостно.

Обыкновенно говорят: монахи *уклоняются* от жизни, они *прячутся* от нее, прячутся и от *людей и природы*, но старец Зосима у Достоевского (и Оптинский старец Амвросий, с которого он списан) был более окружен чудною природою и *живою* жизнью, чем кто-либо другой. Самый скит, где он жил, утопал в благоухающих цветами садиках и примыкал к большому

красивому лесу, и к нему туда собирались, стекались люди со всей России, не исключая и Сибири, Туркестана и Кавказа, и выходили они от него, как говорил Достоевский, «выходили отъ него почти всегда *свѣтлыми и радостными*, и самое мрачное лицо обращалось въ счастливое».

В своем обхождении старец был *почти всегда весел*, он следовал в этом отношении лишь примеру апостолов: ведь о «Деяниях Апостольских» недаром говорится, что это книга *веселья и торжествующей любви*.

Уже при излиянии Св. Духа окружающие, видя веселые радостные лица первых христиан, говорили о них: «они *напились сладкого вина*» (Деян. 2:13), *так* сияли их глаза, *так* радостны были их голоса.

И эти *отказавшиеся от богатств* люди обладали большими духовными богатствами, которыми *радовали* людей, говоря, как апостол Петр, например: «*Серебра и золота нет у меня; но что имею, то даю тебе: Во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи*».

Так делали и Зосима, и Амвросий, и Тихон Задонский, и Сергей Радонежский, не говоря уже о Франциске Ассизском, они сами *сияли радостью* и доставляли радость другим между прочим и тем, что *исцеляли* приходивших к ним *больных*, больных и духовною и иною болезнью. Много было таких, которые приходили к Зосиме, рассказывает Достоевский, с больными детьми и взрослыми родственниками и потом приходили с радостью обратно, рассказывая, что их больные исцелили.

При виде этого в самом Алеше Карамазове, этом молодом Владимире Соловьеве, все сильнее и сильнее разгорался глубокий, пламенный внутренний *восторг*, и не смущало его, что старец стоит единицею — «Все равно, *онъ святъ*, въ *его* сердцѣ *тайна обновленія для всѣхъ*, та *мощь* которая установить наконецъ *правду* на землѣ и будутъ *всѣ* святы, и будутъ любить другъ

друга и не будетъ ни богатыхъ, ни бѣдныхъ, ни вышшающихся, ни униженныхъ, а будутъ всѣ какъ дѣти Божии и наступитъ настоящее Царство Христово».

Надо прочесть все, что пишет Достоевский о старце Зосиме и его брате, и вы лучше поймете *светлое радостное* христианство Достоевского и силу этого христианства.

Одно из самых сильных мест у Достоевского — контраст между полным *горем*, почти *отчаянием* Алеши после смерти Зосимы и его пробуждением к *ликующему* восторгу.

Старец умер и не только умер, но и издает «тлещный дух», *провонял*, как грубо говорили его враги в монастыре. Эти враги *глумились* теперь над ним и *злорадствовали*.

Изнуренный горем, измученный глумлением и злорадством, Алеша наконец забылся сном, но *сон* его был беспокойный, тревожный, прерываемый минутами прислушивания к чтению у гроба.

Не утративший веры в Зосиму отец Паисий читает как раз о браке в Кане Галилейской, и отрывки слов Евангелия времена доходят до сознания Алеши, *то* молящегося, *то* забывающегося дремотой, *то* слушающего о. Паисия, *то* думающего о читаемом: «...я это мѣсто люблю [думает Алеша]: Это *Кана Галилейская*, первое чудо <...> это *милое* чудо. Не *горе*, а *радость* людскую посѣтилъ Христосъ въ первый разъ сотворяя чудо, *радости людской помогъ...*» И Алеша вспоминает: «*Кто любитъ людей, тотъ и радость ихъ любитъ*»... Это повторялъ покойникъ поминутно, это одна изъ главнѣйшихъ мыслей его была...», — говорит себе Алеша. «*Без радости жить нельзя*», — приходят ему на ум слова брата Димитрия... «*Глагола Мати Его слугамъ: еже аще глаголетъ вамъ, сотворите*». Да: «*Сотворите... Радость, радость какихъ нибудь бѣдныхъ, очень бѣдныхъ людей...*» <...> доступно сердцу

Его и *простодушное* немудрое веселіе какихъ нибудь темныхъ, *темныхъ* и не хитрыхъ существъ, *ласково* позвавшихъ Его на *убогій* бракъ ихъ».

И вот посреди такихъ сменяемыхъ дремотою мыслей кажется Алеше, что стены монастырской кельи раздвигаются и что он на самом деле видит брак, свадьбу: *...вот* и *молодые* сидят, и веселая толпа гостей... и *опять* еще более раздвинулись стены. «Но кто это? Кто? <...> **Кто** встаетъ тамъ изъ-за большаго стола? Какъ... И *онъ* [Зосима] здѣсь? Да вѣдь онъ *во гробъ*...»

Но оказывается, что опозоренный тлетворнымъ духомъ, опозоренный глумлениемъ и злорадствомъ старецъ **воскрес**, какъ воскрес когда-то опозоренный, оплеванный, заушенный Христосъ.

«Лицо [его] все открытое, глаза *сияютъ*».

«*Веселимся*, [говоритъ онъ Алеше,] пьемъ вино *новое*, вино *радости новой, великой* <...> А видишь ли Солнце наше, видишь ли **Его**?» — спрашиваетъ Зосима.

«Боюсь... не смѣю глядѣть...» (шепчетъ Алеша).

«*Не бойся Его*. Страшенъ *величіемъ предъ нами*, ужасенъ *высотой* Своею, но *милостивъ безконечно, намъ изъ любви* уподобился и *веселится съ нами*, воду въ вино превращаетъ, *чтобы не пресъкалась* радость гостей, *новыхъ* гостей ждать, *новыхъ* непрерывно зоветь и уже *на вѣки вѣковъ*. <...> Что-то *горѣло* въ сердцѣ Алеши, что-то наполнило его вдругъ до боли, слезы восторга рвались изъ души его...» Онъ быстро вышел изъ кельи и сошелъ внизъ в сад. «Полная восторгомъ душа его **жаждала** свободы, *мъста, широты*. Надъ нимъ широко, *необозримо* опрокинулся небесный куполь *полный* тихихъ *сіяющихъ* звѣздъ. Съ зенита до горизонта двоился еще неясный Млечный Путь. Свѣжая и тихая до неподвижности ночь облегла землю. Бѣлыя башни и золотыя главы собора сверкали на яхонтовомъ небѣ. Осенніе роскошныя цвѣты въ клумбахъ около дома *заснули* до утра. *Тишина земная*

какъ бы сливалась съ *небесною, тайна земная* соприкасалась со звѣздною... Алеша стоялъ, смотрѣлъ, и вдругъ [какъ умиравшій Зосима и по его учению], *какъ подкошенный* повергся на землю. Онъ не зналъ для чего обнималъ ее <...> онъ цѣловалъ ее плача, рыдая и обливая своими слезами, и изступленно клялся любить ее, *любить во вѣки вѣковъ*. “Облей землю слезами радости твоя и люби сіи слезы твои”... *прозвѣнѣло* въ душѣ его [речение старца]. О чемъ плакалъ онъ? О, онъ плакалъ въ *восторгъ* своемъ даже и объ этихъ звѣздахъ, которыя сіяли ему изъ бездны и “не стыдился изступленія сего”. Какъ будто нити ото всѣхъ этихъ безчисленныхъ міровъ Божіихъ сошлись *разомъ* въ душѣ его и она вся трепетала “соприкасясь мірамъ инымъ”. *Простить* хотѣлось ему всѣхъ и за все, и *просить* прощенья, *о! не себя, а за всѣхъ, за все и за вся*, а “за меня и другіе просятъ”, *прозвѣнѣло* опять въ душѣ его. <...> “Кто-то *посѣтилъ* мою душу въ тотъ часъ”, говорилъ онъ потомъ съ твердою вѣрой въ слова свои...”

Этими *словами Алеши* задача моя в сущности закончена.

Я хотелъ в лице Гитлера дать Вамъ понятіе о представителе *насилия*, с одной стороны, и в лице *Достоевского* представление о христианствѣ *такомъ*, какимъ понималъ Достоевскій христианство, с другой стороны. «*Nomina sunt odiosa*» — «Имена намъ ненавистны».

Да и не в *именахъ* в сущности дело: вместо имени Гитлера мы можемъ с такимъ же правомъ подставить имя Сталина или, говоря в маломъ масштабѣ, Муссолини.

Мы можемъ подставить и имена «Великаго Инквизитора» и «Шигалева» изъ произведений Достоевскаго.

Дело не в томъ или иномъ *имени*, а в сравненіи двухъ принциповъ — принципа *христианства*, истины, всепрощенья, любви, милосердія и принципа ненависти, мести, *насилия, открытого насилия*, не стесняющагося

нарушением данных клятв, обманом, ложью, достижением своей цели *какими бы то ни было средствами*, только бы цель **была** достигнута!!!

При сравнении этих двух принципов для нас особенно показательны отзывы о них, встречающиеся в литературе и жизни.

Кто следит за русской литературой и отзывами о ней, тому памятливы статьи одного из духовных учителей Гитлера Чэмберлена (1855–1927) в одной из германских газет — статьи под названием «Jdiotenführer durch die russische Litteratur».

Германо-ариец Чэмберлен до глубины своей души возмущен был тем, что в Германии начался в его время *культ* каких-то «horribile dictu», страшно сказать *славянских*, к тому же еще *русских* писателей Толстого и Достоевского.

Чэмберлен собрал поэтому все наиболее *черные* краски, чтобы очернить, опозорить, предать сильнейшему *глумлению* произведения этих злосчастных славян:

«**Сами идиоты**, они пишут лишь об идиотах. Взять хотя бы князя Мышкина, разве это не идиот в квадрате? И такими идиотами арийцы-германцы восхищаются, сами таким образом переходя в идиотизм».

Что́ Чэмберлен пишет таким образом — *не удивительно*, но что нам сказать, когда соотечественник Достоевского свой же русский — Ермилов в юбилейной статье о Достоевском, в которой он в сущности **хочет** похвалить Достоевского, не в состоянии в то же время понять его.

9 февраля сего года в № 6 «Литературной газеты», выпущенной в Москве в день 60-летия кончины Достоевского, В. Ермилов написал статью «Тема Достоевского». И вот в этой-то статье мы встречаем такие положения:

1) «Достоевский *отрезал* для себя все **возможности прорваться** к догадке о том, *какие силы способны*

избавить десятки и сотни тысяч *Мармеладовых* от их особенно острых *мучений*».

2) «Достоевский выразил силу *отчаяния*, психологию *безвыходности* <...> *обреченности* всех поисков и метаний».

3) «Маленький человек городских низов, от имени которого говорил Достоевский <...> в перспективе <...> *не мог* видеть *ничего*, что давало *какую бы то ни было надежду*».

4) «Единственным спасением <...> оказывалась *утопическая* мечта <...> попытка спасти Россию, а с нею и все человечество <...> *православным народничеством*».

5) «*Безвыходность* делала <...> *страшным* мир Достоевского, мир его героев».

6) «*Хищничеству* Достоевский мог противопоставить *только* *покорность* и *смирение*».

7) «Герой Достоевского *сам не верит* в спасительность зосимовской “елейной тишины” <...>, но *не видит никаких других выходов*».

8) Достоевский не видел *путей* к освобождению.

9) *Мог ли* Достоевский *всерьез, до конца*, верить в *реальную* спасительность *религии*?

10) «Страдания всей нищей, мужицкой России выражены [у Достоевского] <...> в потрясающем образе детского плача» во сне, приснившемся Митеньке Карамазову, о том, что «*дитё плачет*».

(Но *как же* разрешается стремление Мити «сейчас же немедленно, со всем безудержем Карамазовским», сделать что-то, чтобы не плакало *дитё*?)

— *Пострадать* за «дитё»! *Отдать себя в жертву* за весь мир, за все человеческие страдания!)

11) Не *гнев*, а *умиление* рождает в Мите его тоска о «дитё».

12) [Но] «мы *знаем*, говорит Ермилов, что *нельзя* лечить мир средствами Достоевского. На 5/6 земного

шара обижено “дитё” и разносится *детский плач*. И не умиление, конечно, а **силу** должно противопоставить человечество всем унижающим и оскорбляющим».

Сравните Чэмберлена и Ермилова и вы увидите, что разница между ними не велика. Германия открыто *глумится* над идиотами русскими и их идиотскими произведениями. Большевик русский считает, что Достоевский даже не может **догадаться**, как помочь несчастному страдающему миру, он только *подчеркнул* всю *безвыходность*, *обреченность* этих страданий и всю *невозможность* спасти людей от них.

Этот большевик недоуменно спрашивает: **неужели** Достоевский всерьез, *до конца может* сам верить в реальную спасительность **религии**, *православного на-родничества*, этой *утопической мечте*, содержание которой для него, Ермилова, сводится лишь к *покорности*, *смирению*, *умилению* да *беспомощному самопожертвованию*.

Для обоих христианство, представителем которого является Достоевский, что-то бессильное, *немоющее*, а для Чэмберлена *смеху подобное*, идиотское. Ермилов подчеркивает, что *дитё* можно спасти не христианством, а лишь действительною, реальною *силою*, он таким образом отрицает **силу** в христианстве.

Но **Все** в мире повторяется.

И **то**, что говорят Чэмберлен и Ермилов в двадцатом веке, сказано было уже давным давно, в первом христианском веке.

Во дворце римских императоров, в комнате пажей, при раскопках, на стене найдены нацарапанными слова: «Алекса́менос покланяется своему богу».

Кто был этот Алекса́менос, один ли из пажей или, как показывает его греческое имя, *грек*, заведывавший обучением этих пажей, нам неизвестно, но, во всяком случае, *над* этими нацарапанными словами на стене

нацарапана фигура человека, коленопреклоненная перед крестом, на котором висит распятый с ослиною головою Христос.

Эти нацарапанные на стене *фигуры* и *буквы* еще гораздо сильнее и ярче, чем Чэмберлен и Ермилов, говорят то, что в течение девятнадцати веков представлялось верхом *безумия* очень и очень многим людям *задолго* до германца-арийца и *большевика*-русского. Ведь смысл нацарапанного на стене, грубо говоря, таков: «*Осел и идиот тот жид*, который умер на кресте в Иерусалиме и, умирая, еще надеялся на воскресение, и еще *бóльшие ослы и идиоты те*, которые, как Алексамéнос, *поклоняются ему как богу* и считают, что *Его* учение — это *беспомощное, бессильное* христианство — *может* будто бы помочь человечеству».

«На пяти шестых земного шара обижено “дитё” и разносится детский плач», и *силу (настоящую* силу, *насилие)* надо «противопоставить... всем унижающим и оскорбляющим, а не какую-то *утопическую мечту — религию, православное народничество*», эту веру в распятого на римском кресте идиота — Христа. Но *Вся* ошибка Ермиловых и Чэмберленов заключается в том, что для них, по-видимому, существует лишь *физическая сила — насилие* — «красная армия» или «армия Гитлера», *Чека* или *Гестапо*.

Та *духовная сила*, которую дает христианство, для них не существует, а сила эта на самом деле между тем *огромна*.

Взять хотя бы тех же детей, о которых говорит Дмитрий Карамазов: «дитё плачет». Ведь *один* *единственный* христианин, англичанин *Barnardo* (1845–1905), спас в своих 156 приютах 88.000 детей в Англии и Канаде — в том числе увечных и калек — и отдельные, частные, никому не ведомые христиане своими *добровольными взносами* собирают те 400.000 фунтов стерлингов — 75.000.000 марок, которые нужны *еже-*

годно на продолжение работы Барнардо. Что же сделали для детей Чэмберлены и Ермиловы?

Не буду касаться здесь вопроса о русских *беспризорных* детях.

Согласимся с тем, что это была *детская болезнь* совершенно еще не установившегося большевизма.

Но согласимся также и с тем, что если «дитё» не «плачет» в теперешней советской России и если в гитлеровской Германии существуют 30.000 детских приютов, чтобы предупредить плач *дитё*, то это не заслуга какой-то особой большевистской или гитлеровской *силы*, а результаты *остатков того же идиотского* христианства в России Сталина и Германии Гитлера.

То, что сделано для спасения 600 *прокаженных* на одном из гавайских островов — острове Молокай, тоже результат не какой-то особой гитлеровской или большевистской *силы*, а как раз результат того самого *самопожертвования*, над которым так глумится Ермилов.

Бельгийский миссионер Père Damien (1840–1889) ведь по собственному желанию послан был на Молокай, чтобы помогать прокаженным, заразился там проказою и таким образом пожертвовал *своею жизнью*, чтобы *спасти* многие сотни прокаженных при своей жизни и многие тысячи после своей смерти.

Уничтожение рабства в мире — результат самопожертвования квакера Вульмана (1720–1776) и других христиан, равно как такие же квакеры, как Вульман, в лице Хувера и других после 1-й мировой войны спасли сотни тысяч германских и между прочим и *финских* детей от *голодной* смерти.

Улучшение положения заключенных в тюрьмах мира опять-таки — результат трудов христиан Джона Говарда (1726–1790), Елизаветы Фрей (1780–1845), святого доктора Гааза (1780–1853), Матильды Вреде (1864–1928) и княжны Марии Дондуковой–Корсаковой.

Даже те смирение и покорность, над которыми глумится Ермилов, заключают в себе гораздо больше действительной *силы*, чем это кажется на первый взгляд.

Своею смиренною любовью Соня Мармеладова победила не только по-Наполеоновски и Гитлеровски рассуждающего Раскольникова, но и закоренелых в своих преступлениях каторжников.

Вспомните еще раз дуэли молодого Зосимы и Ставрогина. Молодой Зосима на поединке сознается в своей ошибке и просит прощения у своего противника, но это его *смирение* именно и воспринимается всеми как *сила*, *огромная сила* и влечет за собою обращение таинственного посетителя.

Но *смиренная любовь*, о которой, как мы видели, Зосима говорит как об огромной силе, выражается не только в поступках, подобных поступкам Сони, Ставрогина и молодого Зосимы.

Как бы люди ни относились к религии, символом которой является *виселица*—крест, *как бы* в лице Чэмберленов и Ермиловых ни *глумились* над нею, *все* всё же *должны* признать, что *со дня смерти* на виселице Христа *новая любовь* и *новая надежда* как два *сильных потока* изливаются из лобного места на Голгофе в наш мир *эгоизма* и *смерти* и всюду, где эти потоки протекают, там расцветают благоухающие цветы иного высшего мира.

Ведь как блестяща была, казалось, та победа *сильного* мира Ермиловых и Чэмберленов над Христом.

Все тогда соединились вместе: *и* представители мировой Римской державы, *и* первосвященники, *и* солдаты, *и* цари—четверовластники иудейские, *и* уличная толпа, *и* распятые на кресте разбойники, *и* отпавшие от Христа ученики Его.

Всю свою мудрость, знания, всю свою *силу ненависти*, *презрения* объединили они против *одного* своего врага.

Они оплевали, заушили и надругались над Ним, побили Его терниями и *глумились* над Ним, предали позорной казни — и дождались Его смерти, запечатали потом гроб Его и поставили у гроба стражу.

Казалось, они одержали *полную и неоспоримую* над Ним победу, но в одно *мгновение* все изменилось, стража разбросана, камень отвалился и убитый, замученный *воскрес!* А *оскорбленные и униженные* всего мира, *порабощенные и презренные*, всеми *покинутые и оставленные дети, рабы, арестанты, прокаженные, слабые и больные*, не получившие никакого образования люди и *навшие* — *нашли* себе *защитников и покровителей*, открылись для них больницы и приюты, учебные заведения и музеи, явились сестры милосердия и врачи, появились лекарства и прививки, *бесправным* даны права, *больным* здоровье, *глухим* — слух, *немым* — речь, *слепым* — зрение.

Не нам увидеть *конец* этого победоносного процесса, но имеющие уши *уже* многое слышат, имеющие очи *уже* многое видят и истекающие из лобного места потоки *любви и надежды* разливаются все *шире* и *глубже*, захватывают все новые области и все новых людей.

Такова огромная, ни перед чем не останавливающаяся *сила* изливающейся с лобного места *смиренной любви и надежды*.

И *поруганные, оплеванные и осмеянные* Христос с учениками и позднейший апостол Его *Достоевский* несмотря ни на что побеждают и стремятся «*Excelsior*» все выше и выше, все ближе к Богу Любви, Правды и Милосердия.

1941

Оскар фон Шульц — светлая, жизнеутверждающая личность

Не сразу разглядишь в обстоятельном послужном списке лектора Гельсингфорсского университета Оскара фон Шульца (Oskar von Schoultz, 1872–1947) за деловыми столбиками библиографических данных ту лучезарную личность глубокого и гуманного мыслителя, которая открывается при чтении его работ, лекций и выступлений, хранящихся в архиве рукописей Хельсинкской университетской библиотеки.

Судя по внешним данным, это строгий государственный чиновник — чопорный, с бородкой и в очках выходец из шведской аристократии, знаток нескольких языков, в том числе шведского, финского, русского и немецкого, преподаватель при университете и политехникуме, переводчик при Финляндском Сенате и Таможенном ведомстве и прочее и прочее. Творческое же наследие фон Шульца показывает образ иной, резко отличающийся от внешнего. Внутренний облик его — это личность зажигающая, горящая идеей человечности и любви ко всему живому. Фон Шульц — автор ряда книг и статей по русской литературе и культуре, а также незаурядных, поражающих гражданским мужеством полемических выступлений по актуальным общественным проблемам, это редкий для своего времени борец за свободу совести и право человека на отказ от оружия.

Оскар фон Шульц, финляндский старожил, родился 25 октября 1872 г. в Гельсингфорсе в семье генерал-майора Карла фон Шульца, уполномоченного по финляндским делам при российском министре военных дел.

В его послужном списке указывается учеба в Киевском кадетском корпусе с 1883 по 1889 гг., в Первом

кадетском корпусе в Санкт-Петербурге. С 1890 по 1892 гг. фон Шульц учится в Павловском военном училище. В 1892 г. он возведен в чин подпоручика, в 1896 г. — в чин поручика, а с 1898 года переводится в запасные части военных инженеров. В 1893–1895 гг. он преподает электротехнику в офицерских классах. В 1906 году фон Шульц уходит в отставку в звании штабс-капитана.

Во второй половине девяностых годов фон Шульц поступает в Киевский университет на гуманитарный факультет, где изучает литературу и языкознание; далее, с 1910 года, специализируется по русской юридической терминологии, а уже после революции, в 1920 г., изучает славянскую семасиологию в Мюнхенском университете.

С 1899 г. он работает сверхштатным помощником переводчика русского языка при Финляндском Сенате, а в 1901–1903 гг. работает переводчиком при Таможенном ведомстве. В 1903 году фон Шульц становится вторым переводчиком русского языка при Сенате, а с 1910 по 1914 гг. работает там же первым переводчиком. Одновременно он преподает русский язык в Шведском реальном лицее и в некоторых других средних учебных заведениях столицы. В то же время с 4 июня 1903 года Оскара фон Шульца назначают лектором русского языка при Гельсингфорсском университете; в этом звании он проработает до самого выхода на пенсию в 1937 году — без малого 35 лет.

С началом войны в 1914 году фон Шульц призван к оружию, от которого отказывается «по причине религиозного убеждения», после чего в 1915 году он приговорен к трехлетнему тюремному заключению, к лишению родового дворянского звания и всех почестей, а также всех чиновничьих льгот и прав, о чем с нескрываемой гордостью объявляет в каждом очередном послужном списке. Освобожден после фев-

ральской революции 12 марта 1917 г. В 1917–1918 гг. при прокуратуре канцелярии генерал-губернатора принимает участие в переговорах об освобождении и выдаче финляндских заключенных.

Научно-литературная деятельность Оскара фон Шульца весьма разнообразна, как и его жизненный путь. К началу научной деятельности относятся работы по прикладной механике. Еще в 1894 г. в Санкт-Петербурге выходит его «Краткий курс сопротивления материалов», прочитанный автором в офицерских электротехнических классах.

Прологом ко всему творческому пути фон Шульца является его статья, напечатанная 20.4.1910 в шведской газете «Hufvudstadsbladet». Она озаглавлена «Leo Tolstoi om den finska krisen» («Лев Толстой о финляндском кризисе»), и в ней анализируется беседа Толстого с корреспондентом газеты на тему государственных прав, данных стране некогда, при водворении Российской власти: «Давать права...? Лишать прав...? Может ли кто-либо дать мне права? Права не дают и прав не лишают. Говорить вообще, что права и государственные законы управляют жизнью людей, — великое заблуждение. Дается закон, выше всех других законов, и он руководит всеми нашими поступками. Это закон веры, который заставляет каждого человека поступать в своих действиях по закону чистой совести».

Первые литературные опыты фон Шульца, судя по доступным нам данным, относятся к 1915 году. Это краткие очерки из офицерской жизни. В рассказе «Muschka» («Мушка»), вышедшем на шведском языке в журнале «Finsk Tidskrift», раненый офицер, лежащий в военном госпитале, рассказывает историю своего верного коня, который подчиняется воле хозяйина, но одновременно проявляет и свою собственную, стихийную свободную волю. В рассказе «I krig» («На войне» (Finsk Tidskrift, 1916)) рассказчик передает

письмо с родины солдату, который тут же погибает. Рассказчик задумывается: есть ли смысл оповещать о смерти солдата тех, кто послал письмо? Ведь главное, это то чувство радости на сердце, с которым пал солдат.

В 1917 г. в «Сборнике Финляндской литературы» выходит русский перевод рассказа финского классика-реалиста Теуво Паккала о маленькой девочке, в которой пробуждается совесть после того, как она поступила нечестно («*Mari varkaissa*»). Фон Шульц переводит также произведения русских классиков на шведский язык, сотрудничает в составлении русско-шведского и шведско-русского словарей.

В 1918 году выходит статья на злободневную тему «*I frågan om fångarnas bestraffning*» («О вопросе наказания заключенных»), а в 1922–1923 гг. в Дании на шведском языке выходит полемическая статья, изданная «Северным Братством», «*Det kommer en dag, då kriget försvinner*» («Наступит день, когда исчезнет война»).

После этого фон Шульц переходит к иному типу повествования, хотя и не отходит от своей главной темы жизнеутверждающего оптимизма. Под псевдонимом «Дядя Оскар» он выпускает в 1923 году очаровательную детскую повесть, полную деталей из быта провинциального шведского городка на южном побережье Финляндии — «*Det blir nog bra. Sagan om Hans, silversmeden från Ekenäs*» («Все обойдется. Сказка о Гансе из Екенеса, мастере-кузнеце по серебру»). Это повесть о мальчике, который, несмотря на неудачи, верит твердо в свою добрую долю и в то, что «все, под конец, обойдется», и тем самым оказывается кузнецом своего счастья.

Главный, напечатанный при жизни автора научный труд о Достоевском, выходит в 1924 году в серии публикаций Финляндской Академии наук «*Ein Dos-*

tojewskij-Fund». В нем фон Шульц, опираясь на подробный фактографический и стилистико-аналитический материал, приписывает Достоевскому 16 из почти 120 статей, вышедших без подписи автора в журналах «Время» и «Эпоха».

В том же году выходит отдельной брошюрой воззвание, полное гражданского пафоса, — «Kriget och klasskampen» («Война и классовая борьба»), содержащее в сущности две отдельные части. В первой автор исходя из идеалистических предпосылок рассуждает о бедствиях войны и верит, что в утопическом недалеком наступит день, «когда война, подобно другим институтам, созданным человеком, исчезнет с лица Земли и будет заменена другими, менее грубыми формами соперничества». Во второй части автор рисует будущее как христианский интернационал, объединяющий всех людей в вере и любви к ближнему.

Красной нитью проходит сквозь всю деятельность фон Шульца и связывает воедино неравные ее составные мысль именно о силе любви как исконно христианском начале. Этой мыслью автор органически связан как с евангельским текстом в наследии русских классиков, так и с этическим максимализмом религиозных исканий начала XX века. А еще — со своим личным максимализмом: убеждением и верой в силу заповеди «не убий».

Так, в величайшем из символов любви — облике страдающего Христа — фон Шульц усматривает не столько черты страдальца, сколько сострадальца. Эти восточные черты Христа *милосердного*, именуемого «русским», фон Шульц ведет от Оригена и Григория Нисского к русской народной вере, к поучениям Владимира Мономаха и далее, к русским классикам, из коих в центре такого толкования становится Достоевский, призывающий на путь Христов всех «пьяненьких, слабеньких, соромничков».

В своем понимании Достоевского фон Шульц предельно близок к Бердяеву, усматривающему в христианстве Достоевского религиозное народничество. Бердяев подчеркивает в развитии мысли Достоевского не мрачное христианство, а белое, Иоанново начало «света во тьме» и говорит, что «творчество Достоевского менее всего оставляет впечатление мрачного и безысходного пессимизма. Сама тьма у него светоносна».

В конце 1920-х — начале 1930-х годов фон Шульц читает университетский курс лекций о Достоевском, где развивает облик именно «светлого, жизнерадостного» Достоевского. Примечательно здесь то, что курс читается в межвоенном промежутке, когда ужасы первого мирового пожара еще не стерлись, а второй уже назревает. В недатированной, но относящейся к 1941 году рукописи «Гитлер и Христос Достоевского» фон Шульц представляет со свойственной ему аналитической проницательностью, четкостью и последовательностью диалектику актуального мирового добра и зла. Здесь уместно будет напомнить, что эта «народническая» концепция фон Шульца, тщательно разрабатываемая им в диаспоре в течение двадцати с лишним лет, предвосхищает и опережает почти на 80 лет современную концепцию воздействия на литературу — в частности на Достоевского — харизмы христианства как религии милосердия, любви и жалости к человеку¹.

*Наталья Башмакова
(Йоэнсуу)*

¹ *Балашов Н. И.* От Оригена к Достоевскому (Надежда на возможность конечного спасения и ее проявление в литературе и живописи) // Русское подвижничество. М., 1996. С. 512–523.

Источники оптимизма Достоевского по О. фон Шульцу

Мое знакомство с работами Оскара фон Шульца стало возможным благодаря В. Н. Захарову. Ему принадлежит честь открытия этого явления зарубежной русской культуры — забытого в Финляндии и неизвестного в России. Летом 1997 года я читал рукописные курсы лекций фон Шульца в Славянской библиотеке Хельсинкского университета.

Говорят, что стиль — это сам человек. Стиль работ Оскара фон Шульца позволяет составить о нем вполне определенное представление. Думаю, не ошибусь, если скажу, что он был очень скромным и порядочным человеком. Не имевший ученых степеней и званий фон Шульц занимал невысокую должность лектора, но готовился к лекциям с необыкновенной (немецкой!) добросовестностью и читал их, насколько я могу судить опять же по стилю, с увлечением. Видно, что он очень любил старую Россию, ее культуру, литературу. В своих лекциях фон Шульц не демонстрировал себя, не стремился выказать какое-то особое глубокомыслие. С любовью и благородной простотой он демонстрировал русскую литературу, обильно ее цитируя — иногда целыми страницами, конечно же, с необходимыми комментариями. И это почтительное отношение к классическим текстам (вместе с его умом, жизненным опытом, душевными качествами) позволило фон Шульцу, по-моему, правильно понимать и истолковывать те вещи, о которых он рассказывал своим студентам. В частности, фон Шульцу удалось выработать верный взгляд на столь сложное явление мировой культуры, как творчество Достоевского, предложить оригинальную концепцию «светлого, жизнерадостного Достоевского».

Курс из 23 лекций с таким названием Оскар фон Шульц заявил в 1931/32 учебном году. Предложенное им прочтение мне очень близко, о чем свидетельствуют некоторые мои работы, написанные, правда, на 50–60 лет позже. До этого сходные идеи (вернее, сходное ощущение Достоевского) я встречал очень редко, — например, у Н. Н. Вильмонта в книге «Достоевский и Шиллер», написанной в 1964 г. и опубликованной в 1966 г. Интересно отметить, что в данном случае мы также имеем дело не с профессиональным достоевсковедом и человеком, связанным с зарубежной культурой. Как говорится, со стороны виднее.

Оскар фон Шульц начинает свой курс характеристикой переживаемого им и его слушателями времени. Экономический спад, финансовый кризис, рост безработицы, распространение жестокости — знакомая нам сейчас картина. «Все болит у древа жизни людского...» — сказал Константин Леонтьев, — и болит всегда. И фон Шульц говорит студентам: сейчас «...более обыкновенного хочется отдохнуть душою по крайней мере здесь, в аудитории, хочется убедиться, что высшие духовные ценности сохранили еще всю свою силу». В частности поэтому он выбирает именно такую тему для годового спецкурса — «Светлый, жизнерадостный Достоевский». О. фон Шульц прекрасно понимал, что предлагаемое им истолкование писателя, которого принято было считать «жестоким талантом», создателем «романа-трагедии» и т. д., не может не вызвать вопросов, недоумения, возражений. Лектор указывает на две причины, обусловившие выработку традиционного взгляда на Достоевского: «...представление о Достоевском как о мрачном, жизнь отрицающем мучителе, с одной стороны, объясняется ошеломляющей жизненной силой его реального психоанализа, <...> с другой стороны, мрачное представление о писателе сознательно усилено и преувеличено политическими врагами Достоевского».

Здесь главный удар по Достоевскому нанес Н. К. Михайловский — властитель дум русской интеллигенции 80–90-х годов прошлого столетия. Недовольный политическими взглядами Достоевского Михайловский стремится опорочить его как человека и писателя, обвиняя в склонности к садизму, нежелании менять существовавший тогда общественный строй, который, как полагал радикал Михайловский, был главной причиной людских страданий. Своей статьей «Жестокий талант» (1882) Михайловский повлиял на отношение к Достоевскому не одного поколения русской интеллигенции, особенно либеральной и западнической ориентации (в том числе М. Горького, Ленина и т. д.). Поэтому Оскар фон Шульц уделяет этой статье особое внимание в начале курса и аргументированно опровергает утверждения прославленного оппонента. Подводя итог этой полемике, фон Шульц совершенно справедливо отмечает: «...Достоевский никогда не верил, чтобы чисто внешнее изменение существующего порядка повело бы к чему-либо. Для него было самое главное, чтобы изменились люди, чтобы они стали в лучшем смысле этого слова *христианами*. В перемену одних учреждений он никогда не верил. <...> Но из того <...> вовсе не следовало, чтобы он противился всякому изменению существовавшего при нем государственного порядка. <...> Поэтому со стороны Михайловского является грубой подтасовкой то, что он в этом отношении говорит о политических взглядах Достоевского».

Оскар фон Шульц прослеживает, как влияние Михайловского распространялось не только на его современников (Тургенева и даже бывшего друга Достоевского Страхова), но и на интерпретаторов Достоевского в XX веке. И здесь фон Шульц обращается к двум авторам (и его выбор очень логичен и обоснован). Это Дмитрий Мережковский, который своей знаменитой книгой «Толстой и Достоевский» во многом опре-

делил отношение к Достоевскому в предреволюционной России и на Западе на протяжении всего XX столетия, и Леонид Гроссман — наиболее известный и авторитетный советский достоевсковед в 20–60-е гг.

О. фон Шульц пишет: «...большой труд Мережковского о Достоевском и Толстом во многих местах свидетельствует о том, что Мережковский не совсем еще избавился от <...> влияния [Михайловского]. В особенности это заметно там, где Мережковский говорит о религиозных верованиях Достоевского и где ему представляется, что Достоевский никогда не победил до конца своих сомнений и вряд ли когда-либо вполне уверовал в Бога и Христа.

Теперь, тридцать лет спустя после выхода в свет сочинения Мережковского, все эти места его книги <...> опровергнуты и мы знаем положительно и бесспорно, что Достоевский, хотя его осанна <...> и через большое горнило сомнений прошла, все же в конце концов стал и до самой последней минуты своей жизни был глубоко и горячо верующим человеком!» Этот ясный взгляд на Достоевского объединяет Шульца с митрополитом Антонием (Храповицким), главой Русской Православной Церкви за рубежом после революции, автором замечательных работ о Достоевском¹.

От влияния Михайловского, по Шульцу, не освободился и Леонид Гроссман. «...Гроссману так важно сделать самое жизнеописание Достоевского мрачным...», чтобы лишить его светлых переживаний в детстве — основы жизнерадостного мироощущения для взрослого человека. И далее фон Шульц переходит к формули-

¹ *Антоний*, преосвященный митрополит Киевский и Галицкий. 1) Словарь к творениям Достоевского (Не должно отчаиваться). София, 1921; 2) Ф. М. Достоевский как проповедник возрождения. Нью-Йорк, 1965. См. также написанные под его влиянием работы Преподобного Иустина (Поповича), собранные в посмертно изданной книге «Достоевский о Европе и славянстве» (СПб., 1998).

рованию и обоснованию своей концепции. Он говорит: для того чтобы радоваться жизни, продолжать любить ее в любых — самых неблагоприятных — обстоятельствах, необходимы два чрезвычайно важных условия.

«Во-первых, нужна особенная религиозная настроенность, глубокая вера в то, что, говоря словами Лукерьи [из рассказа Тургенева “Живые мощи”], Бог “лучше [нас] знает, [что нам] надобно”. <...>

Во-вторых, для примиренного, даже радостного отношения к жизни, несмотря на всю боль, все муки и страдания, необходимо, чтобы среди ноющего страдания было что вспомнить, было о чем видеть радостные, веселые сны, то есть, иными словами, нужно счастливое радостное прошлое».

По мнению фон Шульца, Мережковский отнимает у Достоевского первое — веру в премудрость и любовь Божии, а Гроссман — второе, т. е. положительный эмоциональный опыт². Полемика с Мережковским и Гроссманом и утверждение собственного взгляда на Достоевского становится, так сказать, энергетическим источником курса лекций фон Шульца.

Начинает он с Гроссмана, с нарисованной им мрачной картины детства Достоевского, эмоциональная атмосфера которого определялась отцом — якобы жестоким и вообще плохим человеком. Фон Шульц уличает Гроссмана в недобросовестности: он предвзято и неверно толкует эпизоды жизни Достоевского, замалчивает свидетельства о веселых играх детей в этой семье. Автор курса лекций подробно пишет о положительных переживаниях Достоевского в детстве — о слушании сказок, о поездках в деревню, общении с народом и природой: «Но этих впечатлений далеко не достаточно для будущего мирового гения, для че-

² Напомню, что работы Л. Гроссмана до сих пор остаются одним из самых популярных источников изучения жизни и творчества Достоевского (см.: *Гроссман Л. П. Достоевский*. М., 1962).

ловека, обладавшего, как он сам неоднократно о том говорил и писал, “бездной тягучести и жизненности”, такой “жизненностью”, что ее “и не вычерпаешь”, “кошачь[ей] живучесть[ю]”, для человека, остававшегося всегда надеющимся на будущее *жизнерадостным оптимистом*, несмотря на невозможные, просто сатанинские условия жизни. Ему необходимо было уже в детстве обрести из ряду вон выходящие неисчерпаемые источники силы и свежести».

Одним из таких источников фон Шульц считает чтение и особенно — чтение «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Описание Смутного времени и того, как русский народ нашел в себе силы преодолеть страшное испытание, имело огромное воспитательное значение для Достоевского. «Отрок, читающий, перечитывающий и передумывающий все это, не может не уверовать в духовную мощь своего народа, способную справиться даже с таким безнадежным, безвыходным положением, и когда он затем читал, какую великую роль играли в восстановлении России монастыри, патриарх и воспитанный в монастыре молодой царь, он не мог не получить и высокого представления о воодушевляющих его народ высоких идеалах и о той вере, которую его народ исповедовал, то есть о всем том, что потом отразилось в последующем мирозерцании Достоевского и его представлении о высокой духовной миссии русского народа».

Красота природы, тепло семейной жизни, величие русской истории — все это способствовало выработке религиозного умонстроения у Достоевского. Сказалось здесь и влияние эпохи, на которую пришлось детство будущего писателя. Лектор указывает на сходство 20-х годов в девятнадцатом и двадцатом столетиях. Это время после революций и войн, время экономического кризиса, которое заставило «серьезнее отнестись к вопросам жизни и смерти. Безверие, рационализм

и вольтерьянство предшествовавшей эпохи утратили свое прежнее обаяние, и все более широкие круги населения охватывались религиозным чувством. Религия делалась постепенно потребностью людей, стала чем-то естественным в их жизни. Этим она была и в жизни родителей Достоевского». Они сумели воспитать сына таким образом, что душа его была подготовлена к восприятию истины, добра и красоты, и здесь они были, если так можно выразиться, добрыми слугами, заботившимися о доме в ожидании его Хозяина. «Когда-то, давным-давно <...> в отдаленном детстве <...> [Достоевский] вынес чрезвычайно сильное, до глубины души всколыхнувшее его, незабываемое впечатление.

Правда небесная наполнила его душу.

Правда эта в том, что Бог любит нас такой глубокой и сильной любовью, что нам при ограниченности нашей не понять всей силы и глубины этой любви».

Итак, впечатления детства и религия — вот две основы «светлого, жизнерадостного Достоевского», укреплявшие его во всех жизненных испытаниях. К этому присоединились впоследствии радость юношеской дружбы, упоение искусством, мечты о писательстве, так счастливо сбывшиеся. Перечисленные обстоятельства не могли не сообщить творчеству Достоевского вполне определенной заряженности, характер которой обозначен в названии лекционного курса О. фон Шульца.

Написанная в период между двумя страшными войнами работа Оскара фон Шульца о Достоевском представляет собой примечательное явление мировой культуры. Посвященная великому писателю XIX века, созданная в веке двадцатом, публикуемая накануне нового — двадцать первого — столетия, она заключает в себе то слово, которое может способствовать объединению разных эпох и народов.

А. Кунильский

Комментарии

Тексты лекций Оскара фон Шульца печатаются по рукописям, хранящимся в библиотеке Хельсинкского университета. Они хорошо отредактированы лектором и снабжены необходимым справочно-библиографическим аппаратом, поскольку предназначались не только для прочтения студентам Хельсинкского университета, но и отправлялись для чтения слушателям русских культурно-просветительских и научных обществ Финляндии, Общества Достоевского в Праге. Для настоящего издания рукопись была подготовлена в соответствии с современными эдичионными требованиями: произведена сверка цитат, исправлены описки и случайные фактические неточности. Ввиду отсутствия аутентичных критических изданий произведений Достоевского (наше издание Полного собрания сочинений не завершено), мы не стали переводить цитаты Достоевского из лекций О. фон Шульца в современную орфографию — оставили сноски на «марксовское» Полное собрание сочинений, но исправили опечатки и пунктуацию по прижизненным изданиям писателя. Вместе с тем следует иметь в виду, что цитата в лекции существенно отличается от цитаты в критическом эссе или в исследовании. В декламационных целях О. фон Шульц зачастую редактировал цитаты: менял род, падежи, окончания, сокращал, делал вставки. Свое вмешательство в чужой текст Шульц всегда обозначал прямоугольными скобками []. Угловыми скобками <> отмечены редакционные сокращения и добавления. Курсив и полужирное выделение в текстах лекций везде, кроме оговоренных случаев, принадлежат Оскару фон Шульцу.

Научная подготовка издания осуществлена профессорами Н. В. Башмаковой (университет Йёэнсуу, Финляндия) и В. Н. Захаровым (Петрозаводский университет), доцентом А. Е. Кунильским (Петрозаводский университет), сотрудниками кафедры русской литературы и издательства Петрозаводского университета.

С. 15. ...*Фурье стал социалистом...* — Фурье (Fourier) Шарль (1772–1837) — французский публицист, один из теоретиков утопического социализма.

С. 21. ...*в письме к Страхову...* — Страхов Николай Николаевич (1828–1896) — русский публицист и литературный критик, ближайший сотрудник журналов братьев Достоевских «Время» и «Эпоха» (1861–1864), газеты-журнала «Гражданин» (1873–1874). В течение ряда лет один из доверенных корреспондентов Достоевского. С середины семидесятых годов дружеские отношения Страхова и Достоевского заметно охладели из-за публикации романа «Подросток» в некрасовском «Современнике» и стали во многом формальными. Оставил ценные воспоминания о времени своего сотрудничества с Достоевским. Вместе с тем искренность пафоса мемуариста ставит под сомнение его известное письмо Л. Н. Толстому от 28 ноября 1883 г., в котором недавний «друг» проявил себя грязным сплетником. Опровержение клеветы Страхова см.: *Захаров В. Н.* Проблемы изучения Достоевского. Петрозаводск, 1978. С. 75–109 (Глава «Факты против легенды»).

С. 22. ...*Тургенев и Некрасов в 40-х годах написали о нем шуточные стихи «Рыцарь горестной фигуры» <...>, а Некрасов написал о нем шуточный роман «Каменное сердце».* — «Витязь горестной фигуры» — «Послание Белинского к Достоевскому» (1846); авторы — Тургенев, Панаев и Некрасов, впервые опубликовано в «Заметках Нового поэта [И. И. Панаева] о петербургской жизни» // Современник. 1855. № 12. Смесь. С. 240. См.: *Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1981. Т. 1. С. 423–424. «Каменное сердце» — в Полн. собр. соч. и писем Некрасова (Л., 1984. Т. 8. С. 411–438) это произведение озаглавлено «В тот же день в одиннадцать часов утра...» и датировано 1855–1856 гг.; впервые опубликовано под заглавием «Каменное сердце»: Нива. 1917. № 34–37. Подробный анализ этой литературной сплетни см.: *Захаров В.* По поводу одного мифа о Достоевском // Север. 1985. № 11. С. 113–120.

С. 23. ...*русский критик <...> Михайловский...* — Михайловский Николай Константинович (1842–1904) — литера-

турный критик и публицист–народник. Несмотря на сильное влияние его взглядов на современников, его критическое наследие имеет лишь историко–литературный интерес.

С. 25. ...*маркиза de Cada (de Sade)*... — Сад, маркиз де (1740–1814) — французский писатель, имевший скандальную репутацию порнографического беллетриста, описывавшего различные формы сексуальных извращений. Большинство его произведений написаны в тюрьмах, в которых он провел около тридцати лет по обвинениям за убийства на сексуальной почве. *Садизм* — производное понятие от его фамилии.

С. 27. ...*Достоевский* <...> в своей статье о «Крокодиле»... — В «Дневнике писателя» за 1873 г. (IV. Нечто личное).

С. 27. ...*Goethe* в своем «*Dichtung und Wahrheit*» *передает* словами: «*Immer bleibt etwas hängen*»... — «Всегда что–то остается» (Гете в «Поэзии и правде»).

С. 28. ...*биограф его Леонид Гроссман*. — Гроссман Леонид Петрович (1888–1965) — исследователь русской литературы, автор многочисленных работ по биографии, творчеству и атрибуции произведений Достоевского.

С. 29. ...*такими лицами, как Шелгунов, Лавров, Елисеев, Тургенев, критик Скабичевский*... — Шелгунов Николай Васильевич (1824–1891) — критик и публицист–народник. Лавров Петр Лаврович (1823–1900) — русский публицист, идеолог народничества, с 1870 года в эмиграции. Елисеев Григорий Захарович (1821–1891) — русский журналист и публицист, один из ведущих сотрудников некрасовских изданий «Современник» и «Отечественные записки». Скабичевский Александр Михайлович (1838–1910) — русский критик и публицист либерально–народнического толка.

С. 29. ...«*Quantite négligeable*»... — Величина, которой можно пренебречь (фр.).

С. 39. ...*Вл. Соловьев прочел свои три речи о Достоевском*... — Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) — русский философ, поэт, публицист; в семидесятые годы был дружен с Достоевским; значительным событием стала его поездка вместе с Достоевским в июне 1878 года в Оптину пустынь.

С. 40. В то время как Вл. Соловьев, Орест Миллер и Ап. Майков... — Миллер Орест Федорович (1833–1889) — историк русской литературы, фольклорист, сблизился с Достоевским в 70-е годы. Майков Аполлон Николаевич (1821–1897) — русский поэт, друг Достоевского.

С. 40. ...Катков [даже] не <...> [напечатал]... — Катков Михаил Никифорович (1818–1887) — известный русский общественный деятель, редактор газеты «Московские ведомости» (с 1851 г.) и издатель журнала «Русский вестник» (с 1856 г.).

С. 41. ...профессор Арабажин... — Арабажин Константин Иванович (1866–1929). Критик, историк литературы. Двоюродный брат Андрея Белого. В 1913 г. избран профессором кафедры русской литературы Гельсингфорсского университета, с 1918 г. постоянно жил в Хельсинки.

С. 41. Только Волынский и Мережковский <...> освободились из-под его влияния. — Имеются в виду книги А. Волынского (А. Л. Флексера, 1863–1926) «Достоевский» (2-е изд. СПб., 1909) и Д. С. Мережковского (1866–1941) «Толстой и Достоевский» (Ч. 1–2. СПб., 1901–1902).

С. 42. ...в труде академика Перетца... — Перетц В. Н. (1870–1935). Слово о полку Игоревім. Київ, 1926.

С. 54. «Есть дети <...> родового предания». — О. фон Шульц заимствует эту цитату из работы Гроссмана. Ср.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 17. С. 142–143.

С. 55. ...Пушкин хотел изобразить в намеченном им будущем романе «Предания русского семейства»... — Очевидно, имеются в виду слова из романа «Евгений Онегин» (глава третья, XIII):

Унижусь до смиренной прозы;
Тогда роман на старый лад
Займет веселый мой закат.
Не муки тайные злодейства
Я грозно в нем изображу,
Но просто вам перескажу
Преданья русского семейства...

С. 72. ...в деревне, где дети Достоевские провели шесть лет, а именно в 1832, 1833, 1834, 1835 и 1836 годах. — Достоевский мальчиком провел в деревне пять летних сезонов, в отличие от брата Андрея, который действительно побывал там шесть раз (в дополнение к перечисленным — в 1838 г.).

С. 80. ...известного профессора истории Каченовского (1775–1842)... — Каченовский Михаил Трофимович, историк, критик, в 1805–1830-е гг. главный редактор журнала «Вестник Европы», с 1837 г. ректор Московского университета.

С. 85. ...братьев Винцента и Теодора ван Хог (van Gogh)... — Винсент ван Гог (1853–1890) — известный голландский живописец.

С. 90. ...на письма <...> Озмидова... — Озмидов Николай Лукич (1844–1908) — хозяин фермы в Химках близ Москвы, поклонник Достоевского, позже последователь Л. Толстого.

С. 93. ...повестям Пушкина, из которых «Пиковая дама» напечатана во II томе «Библиотеки для чтения» за 1834 год, а «Капитанская дочка» и «Дубровский» несколько позже. — «Капитанская дочка» и «Дубровский» не публиковались в журнале «Библиотека для чтения».

С. 93. ...уже тогда познакомился со стихами Пушкина <...> «Дон Жуан»... — Имеется в виду трагедия Пушкина «Каменный гость» (1830).

С. 95. ...на напечатанные уже тогда «Сцены из рыцарской жизни»... — Имеются в виду «Сцены из рыцарских времен» — пьеса, написанная Пушкиным 15 августа 1835 г. и опубликованная в «Современнике» в 1837 г. после смерти автора, заглавие придумано редакцией журнала.

С. 97. ...Полевой, о произведениях которого «История» и «Уголино»... — Полевой Николай Алексеевич (1796–1846) — русский писатель, историк, журналист, издатель журнала «Московский телеграф» (1825–1834).

С. 99. ...Долинин все же прав... — Долинин Аркадий Семенович (наст. фамилия Искоз, 1880–1968) — исследователь русской литературы, автор ряда книг и составитель

сборников статей о Достоевском, редактор первого собрания писем и публикатор рукописного наследия Достоевского.

С. 99. *...защита его против известного французского критика Низара...* — Низар (Nisard) (1806–1888) — французский критик; в данном случае Достоевский перепутал статью Низара о Ламартине со статьей другого критика Г. Планша о Гюго, напечатанной в том же номере журнала «Сын отечества» за март–апрель 1838 года.

С. 100. *...в 1861 году Достоевский в предисловии к введению романа Гюго «Собор Парижской Богоматери»...* — Опубликовано в № 9 журнала «Время» за 1862 год.

С. 100. *...Виктор Виноградов в прекрасной статье показал...* — Виноградов Виктор Владимирович (1895–1969) — академик, автор фундаментальных исследований по русскому языку и литературе, поэтике, текстологии и атрибуции произведений Достоевского.

С. 102. *...указание Б. Томашевского...* — Томашевский Борис Викторович (1890–1957) — исследователь русской литературы, текстолог, профессор Ленинградского университета, один из редакторов (совместно с К. И. Халабаевым) «Полного собрания художественных произведений» Достоевского (Т. 1–13. М.; Л., 1926–1930).

С. 107. *...соч[инения] Ксенофонта Полевого...* — Полевой Ксенофонт Алексеевич (1801–1867) — русский критик и журналист. Кроме биографии М. Ломоносова, Достоевского интересовала его книга «Полные избранные анекдоты о придворном шуте Балакиреве, любимце Петра I» (1836).

С. 107. *...сентиментальный роман «Семейство Холмских» [Бегичева].* — Бегичев Д. Н. (1786–1855). Семейство Холмских. Некоторые черты нравов и образа жизни, семейной и одинокой, русских дворян (1832).

С. 115–116. *«В 1834 году я поступил <...> относился ко мне очень мило и по-дружески».* — Передача воспоминаний Каченовского не отличается буквальная точностью. Ср.: Каченовский В. М. Мои воспоминания о Ф. М. Достоевском // Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. СПб., 1993. С. 31.

С. 146. *...кроме Соловьева <...> Андреевского...* — Имеются в виду «Три речи в память Достоевского» (1881–1883) В. С. Соловьева и этюд о «Братьях Карамазовых» (1889) С. А. Андреевского (1847–1919).

С. 154. *...книгою псевдонима Юрия Галича «Звериада».* — Галич Ю. Звериада. Записки Черкесова. Рига, 1931. 364 с. «Юрий Галич» — псевдоним генерала Георгия Ивановича Гончаренко (1877–1940). См.: Russian literature in the Baltic between the World Wars / Temira Pachmuss. Columbus, Ohio: Slavica Publishers, 1988. P. 334–335.

С. 154. *...русский писатель Григорович...* — Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1899) — писатель и товарищ Достоевского по Инженерному училищу и первым шагам на литературном поприще, свидетель дебюта Достоевского, с которым он жил во время создания романа «Бедные люди» на одной квартире. Впрочем его поздние воспоминания не отличаются фактической достоверностью.

С. 157. *...говорит в своих воспоминаниях <...> Савельев...* — Савельев Андрей Иванович (1816–1907) — ротный воспитатель Достоевского в Инженерном училище.

С. 159. *...Трутовский, годом позже поступивший в училище...* — Трутовский Константин Александрович (1826–1893) — младший товарищ Достоевского по Инженерному училищу, автор первого портрета писателя (1847), позже академик живописи.

С. 159. *...даже не ходили слушать рассказы баллад Жуковского домашнего гудочника писаря Игумнова...* — Ср.: «Игумнов в зимние вечера, по приглашению чаще всего Ф. М. Достоевского, приходил в рекреационную залу и становился посреди ее. <...> Игумнов, обладая хорошою памятью, изустно передавал целые баллады Жуковского и поэмы Пушкина, повести Гоголя и др.» (Савельев А. И. Воспоминания о Ф. М. Достоевском // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 1. С. 102).

С. 163. *...профессор Плаксин...* — Плаксин Василий Тимофеевич (1796–1869) — известный педагог, учитель русской словесности в Инженерном училище во время учебы

Достоевского. Отрицательный отзыв Трутовского не следует распространять на общую оценку деятельности Плаксины и его влияния на Достоевского и других выпускников Инженерного училища.

С. 168. ...*Брянчанинов...* — Брянчанинов Дмитрий Александрович (1807–1867), в монашестве епископ Игнатий. Канонизирован Церковью в 1988 г., память о нем совершается 30 апреля.

С. 175. ...*он устами Дмитрия Карамазова страстно декламирует «Гимн радости» Шиллера.* — Имеется в виду стихотворение Ф. Шиллера «К радости» (1785). Ср. у Достоевского в «Братьях Карамазовых»: «Я хотел бы начать... мою исповедь... гимном к радости Шиллера. An die Freude!» (*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 14. С. 198).

С. 176. ...*будущему автору исторических романов Всеволоду Соловьеву <...> для статьи о Шидловском...* — Соловьев Всеволод Сергеевич (1849–1912) — русский писатель и критик, автор воспоминаний о Достоевском, брат философа Вл. Соловьева. В действительности Вс. Соловьев собирался писать статью о самом Достоевском (см.: Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 191).

С. 186. ...«*Дух христианства*» <...> в котором Шатобриан... — Более распространенный перевод заглавия «Гений христианства» («Génie du Christianisme») (1802).

С. 199. ...*наблюдение Бодлера на стр. 57 его «Дневника»...* — Бодлер (Baudelaire) Шарль (1821–1867) — французский поэт, автор сборника стихов «Цветы зла» (1857).

С. 200. ...*приведу слова Слонимского.* — Слонимский Александр Леонидович (1881–1964) — литературный критик, писатель, исследователь творчества Пушкина и Гоголя.

С. 201. ...*психоаналитическая школа Шимона Фрейда...* — Имеется в виду Зигмунд Фрейд (1856–1939).

С. 202. ...*П. Бицилли в напечатанной им в журнале «Современные записки» за 1926 год (6-я книга, стр. 597) заметке...* — См.: Бицилли П. М. Леонид Гроссман: Поэтика Достоевского. Москва, 1925 г. // Современные записки. Париж, 1927. Т. XXX. С. 597, 598.

С. 206. По воспоминаниям Ризенкампа... — Ризенкампф Александр Егорович (1821–1895) — врач, друг юности братьев Достоевских (с 1838 г.).

С. 207–208. Достоевский одно время увлекался женой Панаева, на которой потом женился Некрасов, и дочь русского крестьянина Полиной Суловой, но обручен был с сестрой профессора математики в Стокгольме Софьи Ковалевской Анной Корвин–Круковской, литовского происхождения. Первая жена его была дочерью француза Constant'a и русской (?), вторая была дочерью русского и шведки Мильтопеус из Финляндии. — Панаева (урожд. Брянская, во втором браке Головачева) Авдотья Яковлевна (1819–1893), в 40–50–е гг. была гражданской женой Н. А. Некрасова. Сулова (в замужестве Розанова) Аполлинария Прокофьевна (1840–1918), автор книги «Годы близости с Достоевским. Дневник. Повесть. Письма» (М., 1928). Ковалевская (урожд. Корвин–Круковская) Софья Васильевна (1850–1891) — русский ученый, писательница, общественный деятель, автор воспоминаний «Мое знакомство с Федором Михайловичем Достоевским». Корвин–Круковская (в замужестве Жаклар) Анна Васильевна (1843–1887). О ее отношениях с Достоевским см.: Ковалевская С. В. Воспоминания. Повести. М., 1986. С. 112–134; Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971. С. 89–90. Первая жена Достоевского — Мария Дмитриевна (урожд. Констант, в первом браке Исаева) (1825–1864). Ее отец Дмитрий Степанович Констант — сын французского эмигранта, в 1863 г. вышел в отставку в чине действительного статского советника, мать Софья Александровна — русская, из состоятельной дворянской семьи. Вторая жена Достоевского — Анна Григорьевна (урожд. Сниткина, 1846–1918), дочь Григория Ивановича Сниткина (1799–1866) (его род происходил из Малороссии и раньше носил фамилию Снитко) и Анны Николаевны (урожд. Мильтопеус, 1812–1893).

С. 208. ...Достоевский жил со своей второй женой <...> в той же Украине (в 1877 г.). — Лето 1877 г. Достоевский с женой провел в Курской губ., близ г. Мирополье, в имении шурина И. Г. Сниткина.

С. 208. ...шестнадцатилетняя переписка Достоевского с его второй женой. — Достоевский прожил со второй женой 14 лет, известны их письма друг другу за 1866–1880 гг.

С. 213. ...вроде англичанина Барнардо... — *Barnardo, Thomas* (1845–1905) — английский врач. С 1866 г. посвятил свою жизнь улучшению участи брошенных и беспризорных детей, устроитель домов-приютов.

С. 216. ...«Проклятым сыном» («*L'enfant maudit*»)... — Более распространенный перевод — «Проклятое дитя».

С. 218. ...почему Татьяна <...> не согласилась для него оставить своего старого мужа князя Грешина... — В романе Пушкина «Евгений Онегин» не указаны возраст мужа Татьяны (напомним, что Онегин с ним на «ты») и его фамилия. Она появилась в либретто одноименной оперы (1879 г.) П. И. Чайковского. Авторы либретто (сам композитор и К. С. Шиловский) использовали популярную в произведениях русской литературы первой половины XIX в. фамилию, которая соответствовала определенному «амплуа». Ср. у Гоголя в «Мертвых душах» (гл. 8): «Герой наш поворотился в ту ж минуту к губернаторше и уже готов был отпустить ей ответ, вероятно ничем не хуже тех, какие отпускают в модных повестях Звонские, Линские, Лидины, Грешины и всякие ловкие военные люди...» Гоголь мог иметь в виду, в частности, повесть А. Бестужева-Марлинского «Испытание», где «одного из любимых эскадронных командиров» зовут князь Николай Петрович Грешин.

С. 243. ...Андре Жид (*André Gide*), один из самых больших почитателей Достоевского во Франции... — Жид Андре (1869–1951) — французский писатель, нобелевский лауреат (1947), автор критических эссе о Достоевском (1923).

С. 244. ...письмо Достоевского к <...> фон Визин... — Фон Визина — Фонвизина Наталия Дмитриевна (1805–1869) — жена декабриста М. А. Фонвизина (1788–1854), последовавшая за мужем в Сибирь, одна из дарительниц Достоевскому «Нового Завета» 1823 года — книги, с которой писатель не расставался в течение всей жизни. В на-

чале пятидесятих годов пережила тяжелую семейную драму, вызванную смертью двух взрослых сыновей.

С. 245. ...*письмо Достоевского <...> к незнакомому ему еврею Аврааму-Альберту Ковнеру*... — Ковнер Аркадий Григорьевич (другие имена: Авраам-Урия, Альберт; 1842–1909) — в шестидесятые–семидесятые годы литературный критик и публицист; будучи служащим Ссудного банка, в 1876 г. похитил 168 тысяч рублей, чтобы бежать в Америку; осужден за это преступление; после отбытия наказания служил на разных должностях в Сибири и Польше.

С. 245. ...*письмо <...> к <...> Алчевской*... — Алчевская Христина Даниловна (1841–1920) — харьковская подвижница и энтузиастка народного просвещения, автор воспоминаний о Достоевском.

С. 256. ...*с будущими писателями Григоровичем и Бекетовым*. — Имеется в виду окончивший Инженерное училище в 1844 г. Алексей Николаевич Бекетов (брат деда Александра Блока), впоследствии земский деятель.

С. 271. ...*Kabale und Liebe [Шиллера]*... — Пьеса «Коварство и любовь» (1784).

С. 278. ...*слушал дорогие концерты известных тогда Оле-Буля и Листа, знаменитого певца Рубини и кларнетиста Блаза*... — Буль Уле Борнеман (Ole Bull) (1810–1880) — норвежский скрипач, гастролировал в России в 1838, 1841, 1866, 1867 годах. Лист Ференц (1811–1886) — венгерский композитор, пианист, дирижер, трижды (в 1842, 1843 и 1847 гг.) концертировал в России. Рубини Джованни Батиста (1795–1854) — итальянский певец, выступал в концертах и оперных спектаклях в России (пел в составе итальянской оперной труппы в 1843–1845 и 1847 гг.). Кларнетист Блас дебютировал в Петербурге в 1842 году.

С. 278. ...*восхищался «Нормой»*... — «Норма» (1831) — опера Винченцо Беллини (1801–1835).

С. 285. ...*Maitre d'hôtel'*я... — метрдотеля.

С. 286. *Béranger* сказал про нынешних фельетонистов французских что это бутылка *Chambertin* в ведре воды. — Беранже Пьер Жан (1780–1857) — французский поэт. Шамбертен — сорт французского красного вина.

С. 286. *Vernet* <...> *пишет в месяц картину*... — Верне Орас (1789–1863) — французский парадный исторический живописец.

С. 287. *...Atala Chateaubrian'a*... — Повесть «Атала, или Любовь двух дикарей» (1801) французского писателя Франсуа Рене де Шатобриана (1768–1848) не была первым его произведением.

С. 287. *...Voyage Sentimental* <...> *Stern'a*... — «Сентиментальное путешествие» Стерна. Стерн (Stern) Лоренс (1713–1768) — английский писатель, его роман «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (1768) стал значительным событием в мировой литературе.

С. 287. *...Valter Scott в своем Notice о Стерне*... — Вальтер Скотт (1771–1832) в «Заметке о жизни и произведениях Стерна». Достоевский читал ее во французском переводе.

С. 290–291. *...у* <...> *Плещеева*... — Плещеев Алексей Николаевич (1825–1893) — поэт, прозаик, литературный критик и фельетонист; друг юности и сотрудник во всех журналистских предприятиях Достоевского.

С. 292. *...стал* <...> *членом кружков Белинского и Майкова*... — С кружком Белинского, который Достоевский начал посещать в мае 1845 г., он разошелся осенью 1846 г. (см. его письмо М. М. Достоевскому от 26 ноября 1846 г.), с самим Белинским — в начале 1847 г. В 1846 г. Достоевский сближается с критиком Валерианом Николаевичем Майковым (1823–1847) и людьми из его окружения (его братом Аполлоном, братьями Бекетовыми, Плещеевым, Ханыковым, Яновским).

С. 305. *...Гобино*... — Gobineau, Joseph Arthur (1816–1882) — французский публицист и дипломат, создатель теории о неравенстве человеческих рас, идеолог расизма.

С. 307. *...книга одного из его приближенных — Германа Раушинга*... — Rauschning, Hermann (1887–1982) — немецкий политик и публицист, активный деятель нацистского движения, с 1932 года председатель Данцингского сената, занимал видные посты в нацистской Германии, в 1936 году эмигрировал в Швейцарию, где написал книгу «Gespräche mit Hitler» (1940). С 1948 года проживал в США.

С. 329. ...и Амвросий... — Амвросий Оптинский (1812–1891) — Преподобный оптинский старец, собеседник Достоевского во время его поездки в Оптину пустынь 1878 г.; канонизирован Русской Православной церковью в 1988 году; память о нем празднуется 10 октября.

С. 329. ...Тихон Задонский... — Тихон Задонский (1724–1783) — Святитель Тихон, епископ Воронежский и Елецкий, канонизирован в 1861 году; память о нем празднуется 13 августа; Достоевский считал Тихона Задонского идеалом русского инокa.

С. 329. ...Сергий Радонежский... — Сергий Радонежский (1315–1392) — Преподобный Сергий, основатель Троице-Сергиевой Лавры; величайший подвижник русской земли, вдохновитель Куликовской битвы; память о нем совершается дважды — 25 сентября и 5 июля. Достоевский писал о нем как об «историческом идеале» русского народа.

С. 329. ...не говоря уже о Франциске Ассизском... — Франциск Ассизский (1182–1226) — католический святой, учредитель нищенствующего монашеского ордена, христианский подвижник, взявший идеалом служения аскетическое следование примеру Христа и миссионерскую проповедь христианства.

С. 333. ...В. Ермилов написал статью «Тема Достоевского». — Здесь и далее автор ссылается на статью: Ермилов В. Тема Достоевского // Литературная газета. 1941. 9 февраля. Ермилов Владимир Владимирович (1904–1965) — известный советский критик и литературовед, один из воинствующих идеологов «социалистического реализма».

С. 337. ...результат самопожертвования квакера Вульмана... — Woolman, John (1720–1772) — американский квакер, публицист, противник рабства и защитник чернокожих американцев.

С. 337. ...такие же квакеры, как Вульман, в лице Хувера... — Hoover, Herbert Clark (1874–1964) — 31-й президент США (1929–1933). С 1.07.1919 года после окончания первой мировой войны возглавил по поручению президента Вильсона компанию по распределению продовольственной и иной помощи в Европе, оказывал гуманитарную

помощь пострадавшим от гражданской войны в России, в 1921 году помогал миллионам голодающих Поволжья. В СССР благотворительная деятельность Х. Гувера оценивалась с политической и «классовой» точки зрения отрицательно.

С. 337. ...Джона Говарда... — Howard, John (1726–1790) — английский филантроп и подвижник. Вступив в 1773 году в должность шерифа в Бедфорде, посвятил свою жизнь изучению пенициарной системы в разных странах Европы, улучшению тюремного быта и религиозному перевоспитанию преступников в честных людей. Умер в России, заразившись при оказании помощи больным во время эпидемии тифа, и похоронен в Херсоне.

С. 337. ...Елизаветы Фрей... — Fry, Elizabeth (1780–1845) — английская филантропка, посвятившая жизнь улучшению состояния тюрем и облегчению участи осужденных.

С. 337. ...Матильды Вреде... — Wrede, Mathilda Augusta (1864–1928) — известная общественная деятельница Финляндии, много сделавшая для облегчения положения заключенных.

С. 337. ...княжны Марии Дондуковой–Корсаковой... — Дондукова–Корсакова Мария Михайловна (1827–1909) — русская общественная деятельница. Следуя примеру матери, с детства занималась благотворительностью; в 1849 г. основала общину сестер милосердия Св. Марии Магдалины, открывала ясли и приюты для детей–сирот, занималась устройством больниц, школ, ухаживала за венерическими больными, помогала заключенным в тюрьмах, в том числе в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях, оказывала им религиозную, моральную и материальную поддержку.

С. 339. ...«Excelsior»... — «Вперед и выше!» (англ.). Название баллады американского поэта Г. Лонгфелло (1807–1882) «Excelsior», которое повторяется как рефрен, получило широкую известность, стало девизом жизни, прогресса, девизом Нью-Йорка, лозунгом и проч.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. Захаров.</i> Пасхальный Достоевский	5
<i>Оскар фон Шульц</i>	
СВЕТЛЫЙ, ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ ДОСТОЕВСКИЙ	15
ХРИСТОС ДОСТОЕВСКОГО	301
<i>Н. Башмакова.</i> Оскар фон Шульц — светлая, жизне- утверждающая личность	340
<i>А. Кунильский.</i> Источники оптимизма Достоевского по О. фон Шульцу	346
Комментарии	353

Оскар фон Шульц

СВЕТЛЫЙ, ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ ДОСТОЕВСКИЙ

Редактор

А. А. Кемпти

Компьютерная верстка

А. А. Кемпти, Г. В. Борисова

ЛР № 040110 от 10.11.96. Подписано в печать 21.07.99.

Формат 84х108 1/32. Бумага офсетная. Офсетная печать.

Усл. печ. л. 19,3. Уч.-изд. л. 17,2. Изд. № 159.

Тираж 3000 экз. Заказ 2174. "С".

Издательство Петрозаводского государственного университета
185640, Петрозаводск, пр. Ленина, 33

Отпечатано с позитивов, подготовленных в Издательстве
Петрозаводского государственного университета

Государственное предприятие Республиканская
ордена "Знак Почета" типография им. П. Ф. Анохина
185630, Петрозаводск, ул. "Правды", 4

